

ЗВЕЗДА ВОСТОКА

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



ГОД ИЗДАНИЯ 49-й

1981

7

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

В номере:

Труд писателя — партии и народу	5
САРВАР АЗИМОВ. Воспеть подвиг народа — высокий долг литератора	7
XI ПЯТИЛЕТКА В ДЕЙСТВИИ	
ЮРИЙ ЮДИН. Скатерть-самобранка на хлопковом поле	11
ПРОЗА	
СЕРГЕЙ ТАТУР. Пахарь. Роман	22
САЙЯР. Если ты человек... Повесть	72
САИД АХМАД. На перекрестке поэзии	139
ПОЭЗИЯ	
АЛО ХОДЖАЕВ. Из Афганской тетради. «На площади главной Кабула...» Митинг в политехническом. Пер- вые ласточки. Кабул весенний. Вечер узбекской поэзии Афганистана. Язык дружбы. «Мужчины — а как же иначе?...»	65
АМИРКУЛ ПУЛЖАНОВ. Боец. «Если грезы разум зату- манят...»	69
САБИТ МАДАЛИЕВ. «И заново ты вместе с ним с пе- ленок...» Цветы	71
ПУБЛИЦИСТИКА	
АНАТОЛИЙ ЕСИН. Отравители душ	156
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
П. ТАРТАКОВСКИЙ. «Поэты — все единой крови...»	176
Т. НАЗИРОВ. Пейзаж в романах Шарафа Рашидова	184
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
Е. ИСАЕВА. Зрелость поэта	188
Л. УСМАНОВ. Современное прочтение Хайяма	189
Э. АМАШКЕВИЧ. О кино, о времени, о себе	190
ИСКУССТВО	
АБДУМАННОН УБАЙДУЛЛАЕВ. Что такое «табассум»?	192
БОЕВОЙ ПУТЬ ТУРКЕСТАНЦЕВ	
ВАЛИ ГАФУРОВ. Далекie и близкие. Тетя Соня	196

ПИСАТЕЛИ ЗАРУБЕЖНОГО ВОСТОКА

- ЛЭСЛИ СИБАНДА. Памяти павших героев. Стихи 202 —
СКАРЛЭТ УИТМЭН. Все было прекрасно тогда, в двад-
цать первом. Стихи 203
АНК КУМАЛО. Босоногий африканец. Стихи 204

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

- ЖОРЖ СИМЕНОН. Коновод с баржи «Провидение». Роман 205

30 ДНЕЙ

- Хроника культурной жизни 223
Литературные журналы Узбекистана в июле 224

Главный редактор Г. П. ВЛАДИМИРОВ.
Редакционная коллегия: В. А. АЛЕКСАНДРОВ,
Ш. С. АЛЯДИНОВ, А. Р. БЕНДЕР (заместитель
главного редактора), А. М. ИВАНОВ, М. М. МИР-
ЗАМУХАМЕДОВ, Ю. М. МУКИМОВ, Х. Н. НА-
ЗИРОВ, М. К. НУРМУХАМЕДОВ, Г. НУРУЛ-
ЛАЕВА, Б. С. ПАРМУЗИН, А. А. УДАЛОВ,
Р. Х. ФАРХАДИ, М. И. ШЕВЕРДИН.

Ответственный секретарь А. Ф. БАУЭР.

Художественный редактор В. Г. Будаев.
Технический редактор Ф. Я. Викнянская.
Корректоры Т. И. Секша, З. Г. Байбазарова.

Адрес редакции: 700000, Ташкент, ГСП, Пушкина, 1.
Телефоны: главного редактора и его заместителя —33-42-68,
отв. секретаря —33-40-43, отделов: прозы, искусства —
33-77-64, литературной критики, публицистики, поэзии —
33-07-78

Рукописи объемом менее печатного листа
не возвращаются

Сдано в набор 25.04.81 г. Подписано к печати 15.06.81 г.
Бумага 70×108¹/₁₆. Высокая печать.
Условных печ. л. 20,55. Уч.-изд. л. 21,3. Тираж 116300.
Р-03829. Заказ 593. Цена 60 коп.

Ташкент. Ордена Трудового Красного Знамени
типография Издательства ЦК Компартии Узбекистана

С. «Звезда Востока», 1981 г.

Труд писателя — партии и народу

Полет творческой мысли, гражданский пафос и жар своего пламенного сердца отдают сегодня писатели Узбекистана нашему великому и сложному времени. В своих произведениях они ведут нескончаемый поиск характерных примет нашей эпохи, рассказывают о расцвете своей социалистической республики, равной среди равных в братской семье советских народов, анализируют и воссоздают художественным словом важнейшие явления действительности, рисуют впечатляющие образы современников — героев наших дней.

К новым свершениям литераторов республики призвали предначертания самого представительного форума коммунистов — XXVI съезда КПСС.

9 апреля 1981 года в Доме литераторов имени Хамида Алимджана состоялся II пленум правления Союза писателей Узбекистана.

С докладом «О задачах писательской организации республики в свете решений XXVI съезда КПСС» выступил первый секретарь правления Союза писателей Узбекистана **Сарвар Азимов**, рассказавший о большой и плодотворной деятельности литераторов республики, о проблемах, волнующих писателей, о грандиозных перспективах, встающих перед страной в XI пятилетке. (Доклад публикуется в журнале в сокращенном виде).

Выступившие в прениях литераторы единодушно одобрили внешнюю и внутреннюю политику партии и заверили Центральный Комитет, что все свои силы, знания и опыт приложат для претворения в жизнь величественных планов, намеченных XXVI съездом КПСС.

Старейший писатель республики, Герой Социалистического Труда, академик **Камиль Яшен** говорил о больших достижениях прозаиков республики, создавших значительные произведения, в которых запечатлены важнейшие этапы в жизни нашего современника. «Буржуазные идеологи развернули фронтальное наступление против нас, — сказал оратор. — Любой ценой, любыми средствами стремятся они оказать влияние на сознание трудящихся

всех стран, увести их с пути борьбы за справедливое устройство общества. Но к каким бы изощренным пропагандистским приемам и методам они ни прибегали, им никогда не удастся достичь своей цели. Мы всегда будем решительно противостоять вражеской пропаганде своим оружием — пламенным писательским словом».

Народный писатель Узбекистана **Александр Удалов** рассказал о творческих успехах русских писателей республики, вносящих свой вклад в развитие советской многонациональной литературы. «Всем нам радостно и приятно наблюдать за творческим содружеством таких писателей, как Назир Сафаров и Юрий Ковалев, Хамид Гулям и Владимир Тюриков. Их совместные поездки по республике дали ряд интересных проблемных очерков. Такое содружество надо приветствовать и поощрять. Оно особенно полезно и необходимо сейчас, когда все литераторы нашей республики, коммунисты и беспартийные, как и писатели всей страны, едины в своем стремлении нести слово партии, идеи партии в массы, всемерно помогать партии и народу в осуществлении решений XXVI съезда КПСС».

Главный редактор журнала «Гулистан» писатель **Мирмухсин** подчеркнул, что литература — очень трудный цех, требующий от писателя непрерывной работы, экспериментов, поисков, многократных переделок написанного, глубокого знания жизни, психологии людей. Труд писателя кропотлив и почетен. Этому всегда нас учили наши аксакалы. Об этом должны постоянно помнить все — и маститые, и начинающие.

Народный писатель Узбекистана **Аскад Мухтар** посвятил свое выступление проблемам перевода и предложил ряд организационно-творческих мероприятий по улучшению переводческого дела в республике, «ибо в наше время художественный перевод это уже не только жанр литературной работы, а целая отрасль, почти половина всей творческой продукции нашего Союза писателей, наших издательств».

Заместитель главного редактора журнала «Юность» поэт **Андрей Дементьев** сказал: «Узбекистан я узнал по тем книгам, которые были переведены на русский язык. Они родили во мне чувство благодарности, уважения и любви к этой древней земле. Мне трудно перечислить всех писателей, произведения которых сыграли огромную роль в нашей духовной жизни, но я не могу не назвать книги Ш. Р. Рашидова и поэтические сборники Зульфий. XXVI съезд КПСС, на котором много говорилось о дружбе народов, призывает нас к тому, чтобы мы обогащали друг друга культурой, завоеванной нашим народом, искусством, литературой, которую мы создаем сегодня, которую создавали наши отцы и деды. Узбекская литература, поднявшаяся за последнее время на прекрасные высоты художественности и гуманизма, проникая в глубины нравственных богатств современников, идет по тому пути, который даст еще много замечательных книг о стремительных преобразованиях в Узбекистане».

Лауреат Государственной премии СССР поэт **Рамз Бабаджан** рассказал о работе творческих советов Союза писателей республики. «Письменный стол — основное рабочее место писателя. Но к нему он должен подходить только тогда, когда его ум и сердце будут наполнены страстным желанием служить своим пером высокому и благородному делу ленинской партии и великому труженнику — советскому народу. «Труд писателя — партии и народу» — под таким девизом мы должны работать всегда и везде».

Председатель правления Союза писателей Каракалпакии прозаик **Тулелберген Каипбергенов** говорил о новых произведениях литераторов автономной республики, горячо откликнувшихся на исторические решения XXVI съезда КПСС. «Писателей Каракалпакии всегда волновала и продолжает волновать судьба нашего края, его экономическое развитие. А это значит — и судьба нашего моря — Арала. Будет Арал — будет крепнуть и развиваться весь край. Но уже сегодня мы те-

ряем не только морскую здравницу Узбекистана, обширный рыбный промысел республики. Мы теряем нашего верного климатического стража на стыке двух великих и злых пустынь и безводного плато Устюрт. Проблемы охраны окружающей среды, так остро касающиеся Каракалпакии, естественно, не могут не волновать писателей».

Различные аспекты творческой деятельности литераторов, издательств и Союза писателей затронули в своих выступлениях на пленуме лауреат премии Ленинского комсомола Узбекистана поэт **Эркин Вахидов**, секретарь бюро Самаркандской писательской организации **Самаритдин Сиражиддинов**, писатель **Рахмат Файзи**, доктор филологических наук **Г. П. Владимиров**, директор бюро пропаганды художественной литературы **Тураб Тула**.

По обсуждаемому вопросу пленум правления Союза писателей Узбекистана принял соответствующее постановление.

На пленуме рассмотрены организационные вопросы.

В связи с преобразованием газеты «Узбекистон маданияти» в еженедельник «Узбекистон адабиёти ва санъати» от обязанности главного редактора газеты «Узбекистон маданияти» освобожден **Л. Каюмов**. Главным редактором газеты «Узбекистон адабиёти ва санъати» утвержден **А. Мухтаров (Аскад Мухтар)**.

В состав секретариата правления Союза писателей Узбекистана пленум ввел народного поэта республики **Тураба Тулу** и **Хакима Назира**.

В работе пленума принимали участие: заведующий Отделом культуры ЦК КП Узбекистана **А. А. Тураев**, ответственные работники ЦК КП Узбекистана **Б. Т. Байкабулов**, **У. И. Усманов**, председатель Гостелерадио УзССР **У. Я. Ибрагимов**, председатель Госкомиздата УзССР **З. И. Есенбаев**, первые секретари Союза кинематографистов и Союза композиторов республики **М. Каюмов** и **Э. Салихов**, председатель Узбекского театрального общества **С. Ишантураева**, представители министерств и ведомств Узбекской ССР.

Воспеть подвиг народа — высокий долг литератора

Надеждам всемирной семьи человеческой на прочный мир, на победное и все расширяющееся движение сил социализма, на новые взлеты экономики, науки и культуры, на сближение и взаимообогащение всех наций и народностей Советского Союза придал могучий импульс Отчетный доклад ЦК XXVI съезду КПСС, с которым выступил выдающийся продолжатель дела великого Ленина Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев.

Высокая оценка в докладе дана деятелям литературы и искусства: «...в том, что духовная жизнь советского общества становится все более многообразной и богатой, — бесспорная заслуга наших деятелей культуры, нашей литературы и искусства».

И далее: «...все читатели, зрители, слушатели чувствуют: в советском искусстве поднимается новая приливная волна. В последние годы — причем во всех республиках — появилось немало талантливых произведений. Это относится к литературе и театру, кино и музыке, живописи и скульптуре».

Литераторы Узбекистана, как и все писатели страны, много сделали, чтобы поднять в своих книгах важнейшие проблемы, которыми живет наша республика, вся многонациональная Родина.

Положения и выводы, высказанные в докладе товарища Леонида Ильича Брежнева, документы и материалы съезда заставляют еще раз глубже, внимательнее разобраться в происходящих событиях в мире, стране. Эти события должны найти яркое отображение в новых произведениях писателей Узбекистана.

Когда знакомишься с разделом доклада товарища Леонида Ильича Брежнева «О международной политике КПСС», то невольно вспоминаешь о рождении именно в узбекской столице международного литературного движения стран Азии и Африки.

Давно известно крылатое выражение: «Дух Ташкента». Это дух мира, дружбы и братства. Во время международных встреч литераторов, на традиционных кинофестивалях стран Азии, Африки, Латинской Америки, в беседах с группами и отдельными писателями рождается немало вопросов, которые, к сожалению, не всегда находят освещение на страницах периодической печати и в наших книгах. Горячее слово публициста должно веско, доказательно поддерживать миролюбивую политику КПСС, успехи социалистического содружества, развитие дружеских отношений с освободившимися от колониальной зависимости странами.

Писатели не имеют права молчать, слушая нападки идеологических противников, быть спокойными наблюдателями действий агрессоров, в каком уголке планеты они бы ни стремились навязать свою волю народам.

Наша держава крепка, дружба братских народов нерушима. И мастера слова должны талантливо, ярко рассказать об этой дружбе, о становлении советского человека, о молодежи, вступающей в жизнь, готовой всегда встать на защиту завоеваний Великого Октября.

Пафосом дружбы, интернационализма, патриотизма должны быть проникнуты произведения, призванные воспитывать лучшие качества советского человека.

Немало новых, злободневных вопросов, непосредственно касающихся литераторов, поставлено в разделе доклада товарища Леонида Ильича Брежнева «Экономическая политика КПСС в период развитого социализма».

Какая огромная картина трудового подвига стоит за следующими лаконичными строками Отчетного доклада ЦК КПСС:

«Сбор хлопка в 1980 году составил почти десять миллионов тонн».

Хорошо известно, какую роль в этом сыграли партийная организация и труженики республики. И хотя об этом подвиге

ге немало и хорошо написано, великий труд хлопкоробов все еще ждет своего художника.

А ведь перед хлопкоробами сейчас стоят новые задачи. О них обстоятельно было сказано на XX съезде Компартии Узбекистана и в выступлении товарища Шарафа Рашидовича Рашидова на XXVI съезде КПСС. Было подчеркнуто, какие важные вопросы необходимо решать в промышленности и сельском хозяйстве. Например, на съезде подчеркивалось:

«К сожалению, мощность и количество некоторых тракторов, машин и оборудования для хлопководства еще не всегда отвечают современным требованиям».

Писатели не должны оставаться в стороне от этих проблем, их долг помочь партии в решении их.

Уже вышло немало хороших книг о рабочем классе, о подрастающей смене квалифицированных специалистов. Однако вопрос об избытках рабочей силы, особенно на селе, в Средней Азии, поставленный Леонидом Ильичом Брежневым, должен волновать нас.

«И, конечно,— говорил он в своем докладе,— развить здесь необходимое для народного хозяйства производство, шире вести подготовку квалифицированных рабочих коренной национальности, прежде всего, из числа сельской молодежи».

Известно, что хорошее произведение может родиться в том случае, когда писатель глубоко изучит материал, будет жить делами своих героев, их судьбой.

Сегодня проблема тесной связи писателя с жизнью как непрременное условие его творческой активности приобретает и личный, и общественный характер.

Об этом убедительно сказано в Отчетном докладе: «Человеческие отношения на производстве и в быту, сложный внутренний мир личности, ее место на нашей неспокойной планете — все это неисчерпаемая область художественных поисков».

Задача советского писателя прежде всего состоит в том, чтобы художественно отобразить созидательные силы общества, вывести живые образы советских людей, показать их высокие идейно-нравственные качества, которые проявляются в борьбе. «Партия приветствует свойственные лучшим произведениям гражданский пафос, непримиримость к недостаткам, активное вмешательство искусства в решение проблем, которыми живет наше общество»,— говорится в Отчетном докладе.

Сразу же после съезда в Ташкенте прошел Всесоюзный пленум совета пропаганды художественной литературы Союза писателей СССР, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с задачами пропаганды достижений нашей многонациональной советской литературы в свете решений XXVI съезда КПСС. «Долг всех писателей страны,— говорится в постановлении секретариата Союза писателей СССР от 5 марта этого года,— последовательно и аргументированно, с позиций

социалистического интернационализма, отстаивать и пропагандировать идеи марксизма-ленинизма, быть непримиримыми, как подчеркивалось на съезде, к проявлениям безыдейности... отходу от четкой классовой оценки отдельных исторических событий, а в необходимых случаях уметь поправить, кого заносит в ту или иную сторону».

В большой, поистине интернациональный праздник вылились Дни советской литературы в Узбекистане, проходившие под девизом: «Труд писателя — партии и народу». В Ташкент приехали видные писатели Москвы, Ленинграда, братских республик, чтобы в это знаменательное время, когда весь народ находится под неизгладимым впечатлением исторического XXVI съезда КПСС, еще раз продемонстрировать полное единство литературы с делами тружеников.

В приветствии участникам Дней советской литературы в Узбекистане ЦК Компартии Узбекистана, Президиума Верховного Совета и Совета Министров республики была высказана уверенность в том, что они «окажут благотворное воздействие на дальнейшее развитие многонациональной советской литературы, будут способствовать дальнейшему сближению и взаимному обогащению братских культур».

Во всех уголках республики побывали советские писатели. Они встретились с хлопкоробами и машиностроителями, ирригаторами и учеными, освоителями новых земель и студентами, которые с глубоким чувством удовлетворения и гордости за Коммунистическую партию и ее свершения восприняли исторические решения XXVI съезда КПСС. Наши друзья и братья узнали, как и чем живут труженики республики, какие грандиозные задачи они решают.

«В весенние дни могучего пробуждения природы вы увидите наш солнечный край, его города и районы, его горы, реки, зеленые массивы. Вы услышите трудовой пульс республики, на празднике познакомитесь с тем, о чем мы с гордостью докладывали недавно с трибуны XXVI съезда КПСС»,— сказал на торжественном открытии Дней советской литературы в Узбекистане кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидович Рашидов.

И это доброе знакомство состоялось.

3 апреля вышел первый номер новой газеты «Узбекистон адабиёти ва санъати». Сейчас начата подготовка к другому большому празднику — Дням литературы и искусства Таджикской ССР в Узбекистане и ответным мероприятиям в Таджикистане. В деловой обстановке будут обсуждены вопросы взаимобогащения национальных культур в свете решений XXVI съезда партии, писатели встретятся со своими читателями, узнают много нового о трудовом подвиге тружеников братского народа.

Высоки и благородны задачи, поставленные перед советской литературой

XXVI съездом нашей партии. И эти задачи посильны только тем деятелям литературы и искусства, которые стремятся на передние рубежи борьбы. Где этот рубеж для каждого писателя — хлопковое поле, строительная площадка, горячий цех завода — зависит от творческой биографии писателя, от направления его художественных поисков, от его желания и умения найти такую точку приложения своих сил, где его талант проявится наиболее полно и глубоко. Главное — стремиться открыть пласты жизни, неизведанные другими. Для этого писатель постоянно обязан быть в гуще жизни, среди своих героев, жить их помыслами и чаяниями. И долг писательской организации всячески помогать в этом каждому писателю, в том числе его более глубокому, разностороннему и систематическому контакту с другими творческими организациями, что несомненно будет способствовать успешному решению задач, выдвинутых партией перед идеологическими работниками. «Верная ленинской культурной политике, — сказал товарищ Л. И. Брежнев на съезде, — наша партия бережно и уважительно относится к художественной интеллигенции, ориентирует ее на решение высоких творческих задач. Это способствует дальнейшей консолидации творческих сил, подъему духовной жизни общества».

Главная наша задача — создать образ современника, который неотразимой привлекательностью своего человеческого облика, красотой своего внутреннего мира оказывал бы влияние на формирование характеров и судеб людей в духе наших коммунистических идеалов.

За последние годы узбекские писатели много поработали над произведениями, которые известны во всей стране и за ее пределами.

В первую очередь хочется сказать о прозе. Об успехах нашей литературы говорит тот факт, что романы Шарафа Рашидова «Победители», «Сильнее бури», «Могучая волна» и другие произведения стали достоянием всесоюзного и мирового читателя. Совсем недавно издательство «Художественная литература» выпустило собрание сочинений Ш. Рашидова в пяти томах. Хамид Гулям за роман «Бессмертие» удостоен высокого звания лауреата Государственной премии СССР. Роман Адыла Якубова «Совесть» получил премию Союза писателей СССР. Романы «Сын литейщика» Мирмухсина, «Его величество — человек» Рахмата Файзи, «Ураган» Джоррида Абдуллаханова удостоены премии ВЦСПС и Союза писателей. Произведения Аскада Мухтара и Саида Ахмада, Александра Удалова и Туленбергена Каипбергенова, Пиримкула Кадырова вошли в большую читательскую аудиторию нашей великой страны.

Узбекских прозаиков и поэтов всегда волновала и вдохновляла историко-революционная тематика. Ей было посвящено немало замечательных произведений. История борьбы нашего народа, его подвиг в годы Великой Отечественной войны по-

казаны в книгах Назира Сафарова, Михаила Шевердина, Зинната Фатхуллина, Шамиля Алядина, Шухрата и других авторов.

Радостно отметить и другой факт. В последнее время наши писатели еще больше расширили тематику своих произведений. Героями книг стали рабочие и хлопкоробы, гидростроители и разведчики недр.

Но есть еще немало проблем, над которыми стоит серьезно задуматься. Один из больших недостатков — мелкотемье. Нередко встречаются книги, где изображаются лишь семейные, бытовые «проблемы». Узок кругозор некоторых писателей, не всегда они изображают большую кипучую жизнь, мало отражается поистине героический труд хлопкороба и рабочего, инженера и строителя. Тревожит скудность, невыразительность языка отдельных произведений. Читая иные очерки и рассказы, повести и романы не поймешь, где говорит пионер, а где пенсионер. В том и другом случае говорит сам автор. Но и он говорит не своим, присущим только ему языком, а языком усредненного литературного шаблона.

Было бы справедливо отметить достижения узбекской драматургии. Им в большой степени способствовало специальное Постановление ЦК Компартии Узбекистана «О мерах по дальнейшему совершенствованию идейно-художественного уровня репертуара областных театров республики в свете решений XXV съезда КПСС».

Надо особо подчеркнуть инициативу журнала «Совет Узбекистони санъати», проводившего дискуссию на тему: «Жизнь, театр и драматург», которая сыграла значительную роль в изучении ряда вопросов узбекской драматургии. Также достойны одобрения дискуссии, проводившиеся на страницах газеты «Узбекистон маданияти», начатые перед съездом писательской организации.

За прошедший период создан ряд драматических произведений, из которых лучшими являются драма Камиля Ишена «Заря революции», «Крепость» Иззата Султана, «Абу Райхан Беруни» Уйгуна, «Неоплаченный долг», «Не торопись, солнце» Ульмаса Умарбекова, «Бунт невесток» Саида Ахмада, «Надира Бегим» Тураба Тулы, «Невеста» Кенисбая Рахманова.

Однако, ради справедливости, надо признаться, что идейно-художественный уровень многих пьес невысок. Отдельные из них страдают отсутствием серьезного конфликта, композиционной рыхлостью и бедностью языка. Некоторые из них не поднимают актуальные проблемы, которыми бы они приковали к себе внимание общественности, бывает, что содержание ограничивается изображением мелких, преимущественно бытовых, тем.

Мы радуемся появлению каждой новой книги, тем более, если она интересна, самобытна. Но надо откровенно сказать, с каким трудом до сих пор выходят эти книги. По свидетельству работников ли-

тературных журналов, издательства «Ешгвардия», сборник стихов или рассказов должен ожидать своего выхода не менее четырех-пяти лет. Следовательно, молодой автор уже со второй книгой к нам, в Союз писателей, придет в солидном возрасте. Эти невероятно растянутые сроки следует пересмотреть. Молодые писатели должны отчетливо видеть свою перспективу, чувствовать к себе внимание не на словах, а на деле.

На современном этапе в центре внимания нашей партии — формирование нового человека. Ответственные задачи поставил XXVI съезд КПСС перед искусством и литературой. Сейчас больше, чем когда-либо, художественная литература должна быть проникнута интересами всего народа, и долг критика — постоянно помнить об этом ее высоком призвании. Важно постоянно следовать указаниям XXVI съезда КПСС о том, что «партия не была и не может быть безразлична к идейной направленности нашего искусства».

Для дальнейшего развития социалистической культуры нашего народа приобретают все большее значение полноценные художественные переводы произведений литературы и, разумеется, внимание к теории перевода и критике.

Об этом свидетельствуют высказывания первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана товарища Рашидова Ш. Р. В Отчетном докладе XX съезду КП Узбекистана говорится: «Вечно живым источником расцвета нашей литературы и искусства является творческое освоение духовных богатств русской и мировой классики, передовой многонациональной советской культуры, постоянно развивающийся процесс взаимовлияния и взаимообогащения братских культур. Этому хорошо служат переводы и издания на узбекском языке произведений русской и других литератур, взаимные декады, дни искусства советских республик, гастроли художественных коллективов, выставки, творческие конкурсы, ставшие традиционными международные кинофестивали и семинары писателей Азии, Африки и Латинской Америки».

В издательстве имени Г. Гуляма имеется перспективный план переводной литературы, составленный с учетом рекомендательных списков, представленных Союзом писателей СССР и братских республик, другими научными и творческими организациями.

При отборе произведений прогрессивных писателей стран Азии, Африки и Латинской Америки издательство опирается на рекомендательные списки иностранной комиссии СП СССР, Института Востоковедения АН СССР, а также публикации журнала «Иностранная литература», издательства «Прогресс». Это дало возможность выпустить ряд значительных произведений.

Наряду с развертыванием огромной переводческой деятельности в нашей республике развивается и теоретическая ос-

нова художественного перевода. При Институте языка и литературы АН УзССР функционирует сектор теории перевода и литературных взаимосвязей.

Проблемы перевода — проблемы вечные. Это, конечно, прежде всего относится к творческим задачам, к которым каждая эпоха предъявляет свои требования. Представляется, что как общие, так и частные проблемы перевода требуют ныне более углубленной разработки и при этом в большей степени на материале переводов как с русского на узбекский, так и с узбекского на русский.

Все изложенное нами выше в той или иной степени нашло свое отражение в работе VIII съезда писателей Узбекистана. Так, например, Зулфия внесла ценное предложение выдвигать на Государственную премию имени Хамзы лучшие переводы произведений художественной литературы.

В Советской стране вырос новый человек — человек, обладающий высокой политической культурой, патриот и интернационалист, добросовестный труженик. Вместе с тем, среди нас не перевелись еще люди, которые стремятся меньше дать и больше получить от общества. На этой почве появляются такие отрицательные явления, как эгоизм и мещанство, накопительство и равнодушие к нуждам народа, пьянство и воровство. Все наши усилия должны быть направлены на борьбу против уродливых явлений. Нам предстоит, как подчеркивалось на съезде партии, большая работа по совершенствованию социалистического образа жизни, по искоренению всего, что мешает формированию нового человека.

Литература должна помочь партии в мобилизации всех усилий народа на решение двух взаимосвязанных задач. Одна из них — коммунистическое созидание, другая — упрочение мира. Нужна постоянная инициатива — инициатива везде и во всем. Надо отстаивать мир — нет сейчас более важной задачи в международном плане для нашей партии, нашего народа, нашей литературы и искусства, для всех народов планеты.

Сейчас повсеместно идет активная пропаганда и разъяснение решений XXVI съезда КПСС и XX съезда Компартии Узбекистана. Партийные комитеты заводов, фабрик, колхозов, совхозов, вузов и школ в своих планах идеологической работы намечают выступления писателей. Делая эту важную работу, нужно помнить: каждый писатель, выступающий перед народом, — это полпред советской литературы.

Исторический форум коммунистов страны — XXVI съезд КПСС — и XX съезд Компартии Узбекистана ярко продемонстрировали постоянно крепнущее социальное-политическое, идейное единство советского общества, нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу наших народов. В единстве советского общества — источник его могучей силы. Вперед предстоит большая работа.



Юрий Юдин

Скатерть-самобранка — на хлопковом поле

«Улучшить качество всех видов кормов, сосредоточить усилия на решении проблемы кормового белка».

Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года.

Хлопковое поле, если взглянуть на него глазами современной науки, уже не представляет собой лишь источник поистине бесценного, уникального текстильного сырья. Хлопковый куст, причем все его части, а не только плоды, скорее напоминает природную миниатюрную биологическую фабрику, выпускающую самую разнообразную продукцию.

Можно считать, что человек «приручил» хлопчатник и сделал его культурным растением на довольно высокой ступени своего развития, когда добывание пищи перестало быть единственным содержанием его деятельности.

Когда несколько тысячелетий назад человек впервые посеял близ своей хижины хлопковые семена, он вряд ли рассчитывал получить от будущих растений пищевые продукты. И даже не потому, что первых хлопкоробов интересовало прежде всего тонкое и крепкое волокно на семенах — отличный материал для изготовления птичьих силков и рыболовных снастей, нанизывания бус, а позднее и изготовления пряжи.

Первобытным людям не откажешь в природной наблюдательности. Они, конечно, не могли не обратить внимания на то, что хлопковые кусты или деревца, стелющиеся и вьющиеся растения обходили стороной все травоядные звери, птицы не выклевывали из коробочек семена со сладковатым ядром. Да, видимо, и по собственному опыту люди знали, что горьковато-вяжущая зелень хлопчатника, попадая в пищу, вызывала тошноту, головные боли, рези в животе, то есть именно те симптомы, которые современные медики отнесли бы к признакам отравления токсичными веществами.

В те далекие времена люди, конечно, понятия не имели о госсиполе, который содержится, кстати, не только в хлопчатнике, но и в ядрах

вишневых и абрикосовых косточек, миндале и других плодах и растениях.

Но из культурных растений его больше всего, бесспорно, именно в хлопчатнике, поэтому все его разновидности входят в один род — Госсипиум. Токсина особенно много обычно накапливается в корнях и семенах растений, в цветках и бутонах, в междоузлиях стебля, от которого отходят плодовые ветки.

Правда, госсипол дает хлопчатнику определенные преимущества. Ведь хлопковые кусты по существу сами себя охраняют от поправки скотом, и их не нужно охранять, как, например, созревающий рис от воробьев, злаки, кукурузу и сорго, сады или овоще-бахчевые плантации.

Значительно позже ученые узнали и другую полезную функцию госсипола. Оказалось, что это токсичное вещество помогает растениям противостоять наиболее губительному заболеванию — вилту. Этот микроскопический грибок, проникая в растение из почвы, образует в стеблях мощные, видимые невооруженным глазом мицелии, протягивает свои смертоносные щупальца-гифы ко всем его частям. Именно в период вилтовой инфекции в важнейших органах хлопкового куста стремительно возрастает содержание госсипола, который хотя и не полностью, но все же подавляет активность грибка.

Первыми на хлопчатник как на возможную продовольственную культуру, очевидно, впервые посмотрели земледельцы Средней Азии. И вот почему.

Издвеле человек подбирал культурную флору, исходя из своих насущных потребностей, стараясь по мере возможностей обеспечить себя основными продуктами питания за счет местных ресурсов. Возможно, что хлопок-сырец в качестве текстильного сырья и представлял интерес для среднеазиатских дехкан как продукт, годный для продажи за пределы региона его возделывания или в обмен на другие товары. Как известно, тысячелетиями Средняя Азия была скотоводческим и, в частности, овцеводческим районом, а овцы наряду с козами и верблюдами были источником природного текстиля — шерсти, а шелкопряд — натурального шелка. Шерсть была не только прекрасным материалом для изготовления одежды, но и для выработки войлока, которым покрывались и выстилались кочевые юрты, ткачества ковров, заменявших большую часть убранства жилищ, причем самым популярным узором с далекой древности и до наших дней считается так называемый узор «рога барана», изображающий перекрещенные рога.

Такое положение сохранялось вплоть до начала нынешнего столетия. В 1914 году, например, на территории нынешнего Узбекистана насчитывалось порядка пяти с половиной миллионов овец и почти в четыре раза меньше крупного рогатого скота, и тот использовался, в основном, как тягло.

А в числе культурных растений в Средней Азии отсутствовали почти полностью два очень важных звена — сахароносы и масличные культуры.

Первая проблема решалась многовековым отбором и разведением пород фруктовых деревьев и сортов фруктов, а также арбузов и дынь, содержащих наибольшее количество сахара и пригодных для естественного консервирования — сушки и вяления. Не случайно поэтому фрукты, виноград, бахчевые и даже овощи Узбекистана и по сей день считаются самыми сладкими в стране, потому и славится наша республика сухофруктами, курагой, изюмом и кишмишом, сушеной дыней.

Высокой сахаристости способствовали и обилие солнца, влаги, и, как ни странно, относительная засоленность большинства возделанных земель. Ученые Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства, например, установили прямую связь между засолен-

ностью почв и сладостью таких культур, как виноград, помидоры, морковь, редька, репа и другие.

Хуже обстояли дела с решением проблемы обеспечения населения пищевыми жирами. Сальная продуктивность разводимых здесь овец курдючного типа была невысокая, жир крупного рогатого скота, а также лошадей и верблюдов, за исключением верблюжьих горбов, которые у среднеазиатских народов и по сей день считаются деликатесом, имел ограниченное применение, да и было его очень мало. Свинина из-за религиозных предрассудков не употреблялась в пищу: в том же 1914 году свиней на территории нынешнего Узбекистана насчитывалось не многим более трех тысяч, в основном в хозяйствах европейских переселенцев.

Из растительных масел были в ходу лишь кунжутное и косточковое, которое получали в небольших количествах из местного сырья, завозное оливковое, которое, естественно, подавляющему большинству населения было не по карману.

Видимо, с появлением хлопчатника земледельцы и обратили внимание на высокую маслянисть семян новой культуры, в которой легко убедиться, просто растирая пальцами нежное кремоватое ядро. Можно поэтому предположить, что хлопчатник на первых порах и получил относительное распространение в регионе в основном как маслянистая культура, тем более что высевавшаяся в те годы среднеазиатская гуза, относящаяся к виду *Gossypium arboreum*, завезенному из Юго-Восточной Азии и сохранявшаяся вплоть до тридцатых годов двадцатого столетия, давала короткое, грубое, грязно-коричневое волокно так называемого шерстистого типа.

Конечно, батистовым платкам, сотканым из него, не было износа: их передавали из поколения в поколение, но урожаев гузы хватало разве что на носовые платки.

Кстати, путешествуя по Туркестанскому краю, в 1868 году известный исследователь Средней Азии Алексей Павлович Федченко не часто упоминает хлопчатник в своих отчетах, а о способах использования его волокна вообще умалчивает, но примитивные «майджавазы» — маслобойни, извлекавшие жир из хлопковых семян, не только упоминает, но и подробно описывает. В частности, он свидетельствовал, что отходами майджавазов, то есть хлопковым шротом и шелухой семян, местное население повсеместно кормит скот и птицу.

Вместе с появлением хлопчатника хлопковое масло прочно вошло в быт среднеазиатских народов и до сих пор занимает ведущее место в узбекской, таджикской, туркменской, киргизской и даже казахской национальной кухне. Но народ не забыл и о коварном госсиполе, который концентрируется, как сейчас установлено, в пигментных пятнах семян. Однако, ничего не зная об этом веществе, тем более о его химических свойствах, люди нашли удивительно простой и эффективный способ его нейтрализации специальной термической обработкой, а попросту сильным перекаливанием масла перед употреблением в пищу. Оно сохранилось и до сегодняшнего дня, хотя необходимость в нем отпала, поскольку в продажу поступает рафинированное масло высокой очистки.

Так хлопковое растение впервые получило немалую пищевую ценность. А увеличивать его значимость в пищевом и кормовом балансе среднеазиатских республик, сделать хлопчатник не только кормовой, но и продовольственной культурой ученым предстояло уже в наши дни.

Но — еще немного истории.

После установления в Туркестане Советской власти, которая была ознаменована в том числе и борьбой молодого Советского государства за хлопковую независимость, началась интенсивная работа по замене

низкопродуктивной и низкокачественной гузы новыми сортами хлопчатника. Они выводились с прицелом на повышение урожаев и улучшение качества волокна. Эти факторы и сейчас являются решающими в хлопководстве. Правда, в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем повышении эффективности сельскохозяйственной науки и укреплении ее связи с производством» перед селекционерами уже поставлена задача повышения в новых сортах масличности семян в среднем на 1—1,5 процента.

Количественные и качественные показатели хлопководства вполне понятны, поскольку хлопковое волокно было, есть и, наверно, еще очень долго будет главным текстильным сырьем. Никакие самые совершенные химические волокна, никакая самая суперэлегантная синтетика не могут стать товарным текстилем без смеси с хлопковым волокном. Не случайно поэтому в «Основных направлениях», утвержденных XXVI съездом КПСС, записано: «Максимально заменять натуральные волокна для технических целей — химическими, а ткани — неткаными материалами».

Работа по созданию новых сортов хлопчатника на базе так называемых заводских смесей из завозных сортов велась настолько интенсивно, что уже в тридцатые годы на небольшой опытной станции под Ташкентом был создан первый советский сорт «Шредер» по имени академика Р. Р. Шредера, возглавлявшего станцию. Затем последовали сорта «Навроцкий», «Большевик», «Дехканин»...

Теперь они — достояние истории советского хлопководства. И именно с них начиналось сегодняшнее большое хлопковое поле нашей республики, границы которого приближаются уже к двум миллионам гектаров.

Но тот факт, что хлопковые плантации занимают основные массивы наиболее плодородных земель и постоянно расширяются, а также тот факт, что хлопководство забирает основную массу оросительной влаги, минеральных удобрений, по потреблению которых считается самой высокообеспеченной сельскохозяйственной культурой в стране, и наконец, тот факт, что на нужды хлопкового поля работает подавляющее большинство машиностроительных и химических предприятий, строительных ирригационно-мелиоративных организаций, проектных институтов и конструкторских бюро, крупнейших научно-исследовательских и селекционных центров, заставляет ученых все пристальнее вглядываться в него как в потенциальный источник не только волокна, но и другой продукции, в особенности кормов для второй по значимости отрасли сельского хозяйства республики — животноводства.

Основные предпосылки для этого предельно просты: хлопчатник — такое же зеленое растение, как и другие культуры, причем, за время вегетации он накапливает огромное количество биомассы, исчисляющееся десятками миллионов тонн. Эта зеленая хлопковая масса содержит все основные компоненты, свойственные кормовым культурам, правда, в разных количествах и пропорциях. Это подтверждает и химический состав хлопкового растения.

С другой стороны, было бы неверным считать хлопковым полем республики только те площади, на которых растет непосредственно хлопчатник. Как известно, в монокультуре он наиболее подвержен вилтовой инфекции, ведущей к снижению урожаев и ухудшению качества волокна. Поэтому за счет внедрения севооборотов внутри хлопкового агрокомплекса происходит постоянное перемещение главного компонента, который следует за своими предшественниками — люцерной, кукурузой, зерновыми и другими кормовыми культурами и травосмесями, которые подавляют вилт, обогащают, как люцерна, поля естественным азотом, улучшают структуру и плодородие почв.

Причем, все севооборотные культуры без исключения являются

отличным кормом для скота. Поэтому с точки зрения животноводов и кормодобытчиков хлопковое поле включает и их в свою орбиту.

Первая попытка использования хлопчатника на корм скоту не увенчалась успехом. Животные попросту не ели высохшие и уже не содержащие госсипола стебли и листья растений. Дело в том, что по питательным качествам они близки к соломе зерновых культур, но по вкусовым достоинствам стоят на самом последнем месте пока еще, правда, не существующей официально «вкусовой» таблицы кормов.

Эксперименты были прекращены за безрезультатностью, но возобновились, когда несколько лет назад в Институте микробиологии Академии наук Узбекистана был впервые в стране выделен штамм микроскопического гриба «триходерма лигнорум-19». Один из штаммов этой грибковой культуры ученые уже использовали для подавления в почве вилтовой инфекции.

Штамм 19, как показали испытания, интенсивно разлагал целлюлозу хлопковых стеблей на сахарозу, то есть повышал ее вкусовые достоинства, а также обогащал корм питательными веществами.

На эти способности обратили внимание не только микробиологи, но и ученые Узбекского научно-исследовательского института животноводства Среднеазиатского отделения ВАСХНИЛ. Так родилась первая комплексная программа исследований академической и сельскохозяйственной, в частности животноводческой, науки республики. И она принесла хорошие результаты.

Микробиологи разработали простую, доступную любому хозяйству и экономичную технологию приготовления грибковой культуры и методы обогащения предварительно измельченных хлопковых стеблей в обычных силосных траншеях, а животноводы создали наиболее эффективные рационы для крупного рогатого скота и овец с заменой половины их объемного веса обогащенной гузапаей.

Производственные опыты, поставленные на откорме бычков в колхозе «Октябрь» Орджоникидзевского района Ташкентской области, превзошли ожидания экспериментаторов. Подопытные животные ни в чем не уступали контрольным, охотно поедая хлопковый корм. Нужно сказать, что к тому времени откорм скота другим хлопковым кормом — шротом и шелухой семян — получил уже широкое распространение, и ученые лишь спорили о возможностях снижения содержания в этих отходах маслостойкой промышленности того самого токсичного госсипола.

Кстати, в институте животноводства под руководством доктора сельскохозяйственных наук, заведующего отделом кормления животных К. К. Карибаева был создан метод приготовления на основе хлопкового шрота заменителя цельного молока для выпойки телят и поросят, включающего также муку местных зерновых культур, витаминную травяную муку и другие компоненты.

Однако использование шрота, значительно повысившего белковую и питательную ценность кормов, как показало дальнейшее развитие научных исследований, было лишь этапом на пути к открытию главного богатства хлопкового поля — пищевого и кормового белка хлопковых семян. Сделали это открытие ученые Института химии растительных веществ Академии наук Узбекистана.

Это открытие в воображении животноводов нарисовало сразу наиверное необычный сельскохозяйственный пейзаж: молочные реки в хлопковых берегах. Согласитесь, что он выглядит не менее сказочным, чем его кисло-молочный вариант, но в отличие от него он уже обретает зримые черты.

Первый молочный родник, истоки которого, выражаясь фигурально, находились непосредственно в хлопковых грядках, забил в марте 1975 года в одной из лабораторий Узбекского научно-исследователь-

ского института животноводства и положил начало осуществлению новой комплексной программе исследований.

В тот день молодой исследователь, недавний выпускник биофака ТашГУ Михаил Подкопов первым в нашей стране отведал глоток настоящего парного хлопкового молока.

Оно оказалось безвкусным. Но когда его подсластили и добавили немного натурального молока, хлопковое «молоко» запахло дойной буренкой. Это, правда, были лишь первые ощущения.

Лишь через два года после тщательной экспериментальной и производственной проверки тот факт, что молоко, в котором нет ни капли молока, все-таки молоко и по питательности и биологическим свойствам оно может соперничать с коровьим, был подтвержден соответствующими авторскими свидетельствами.

Так родился ЗЦМ, заменитель цельного молока, на основе белка хлопковых семян и суспензии микроводоросли хлореллы, подлинное дитя двадцатого столетия.

Именно в наш век различные науки становятся все менее разобченными. Взаимопроникая, они взаимообогащаются, на стыке наук рождаются новые отрасли знаний. И нередко теперь результаты, полученные в одной отрасли науки, получают наиболее эффективное применение в другой.

Так случилось и на этот раз. Чистый обезгоссиполенный хлопковый белок был получен в Институте химии растительных веществ Академии наук, а наилучшее применение нашел в Институте животноводства САО ВАСХНИЛ. Химики из своего хлопкового чуда напекли хрустящих лепешек и подавали их гостям к зеленому чаю в качестве главного аргумента: «белое золото» — белый хлеб.

Правда, до хлеба дело пока не дошло, хотя хлопковый белок уже небезуспешно побывал и в лепешках, и в тортах, и в других хлебобулочных и кондитерских изделиях. Кстати, это касается и другого компонента ЗЦМ — хлореллы, также богатой белком и побывавшей уже и в салатах, и в тортах.

Но в этих вещах мы пока не имеем нужды, мало того, государство продает нам каждую буханку хлеба ниже его себестоимости. Другое дело — молоко и мясо, а значит и все связанные с ними мясо-молочные продукты.

Идея ЗЦМ возникла, как только на молоко взглянули глазами химиков. С их точки зрения это — продукт животного происхождения, представляющий собой не что иное, как коллоидный раствор белка казеина с добавлением жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Значит, если растворить биологически равноценный казеину белок и добавить другие компоненты, можно получить если не аналог, то хорошую копию. Таким равноценным белком и оказался белок хлопковых семян.

Ученые, надо сказать, не сидели сложа руки. В мировой практике используются десятки рецептов и технологий заменителей из самого разнообразного сырья, в том числе и из хлопковых семян. В некоторых районах Центральной Африки выращивают так называемые безгоссипольные сорта хлопчатника почти исключительно для получения семян и переработки их на молокоподобный продукт, в том числе и пищевого назначения. Правда, побывавшие в этих районах специалисты Среднеазиатского филиала ВИР утверждают, что фермеры не жалуют эти сорта из-за массовых потрав всходов грызунами и другими травоядными животными. Госсипола-то нет!

В советской коллекции мирового разнообразия хлопчатника есть такие сорта, но разводить их экономически невыгодно, прежде всего из-за низких урожаев и плохого качества волокна. Но в том и заключалась заслуга ученых Института химии растительных веществ, возглав-

ляемого Героем Социалистического Труда, членом-корреспондентом АН СССР С. Юнусовым, что им удалось получить из семян высокогоспольных сортов хлопчатника белок, практически не содержащий госсипола.

Этот безвкусный белый порошок и послужил импульсом для создания хлопкового молока. На такую возможность первыми обратили внимание затем ставшие руководителями исследований член-корреспондент ВАСХНИЛ профессор Ш. А. Акмалханов и кандидат сельскохозяйственных наук А. М. Шалорьян, включившие их в тематический план научно-исследовательской работы Института животноводства. Непосредственно за разработку темы взялся, как мы уже сказали, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Подкопов.

Доктор Шакиров, заведующий лабораторией технологии производства белка Института химии растительных веществ, встретил идею ЗЦМ с пониманием. Талат Тайбекович отлично представлял, какие выгоды сулит животноводству ее осуществление. Но лабораторная установка в то время за две смены могла выдать лишь полтора килограмма белка, который был нужен и на другие цели. А животноводам на первых порах требовалось не менее трехсот килограммов продукта.

Выход мог быть только один — учреждение третьей смены в нерабочее время, которая могла существовать только на чистом энтузиазме. Таким энтузиастом оказался старший научный сотрудник института, кандидат технических наук Марат Тураходжаев. Чтобы изготовить нужное количество белка, он отработал около пятисот сверхплановых смен.

Но от белка до первой хлопково-молочной кухни было еще далеко. Задача осложнялась тем, что нужно было не просто создать принципиально новый рецепт ЗЦМ, но и найти дешевые, не конкурирующие с пищевыми продуктами местные компоненты.

В качестве жидкой основы руководители работы предложили суслензию хлореллы — без этой водоросли сейчас немыслим откорм скота хлопковыми кормами. Жировой добавкой специалисты института жиров ВНИИпищепрома порекомендовали малоценный костный говяжий жир. Другими компонентами стали дешевое и хорошо усваиваемое животными организмами хлопковое масло, в достаточном количестве вырабатываемый на Ташкентском химфармзаводе из шелухи рисовых семян фитин и биологически активная добавка «биовит-80». Была разработана и апробирована очередность закладки этих продуктов в специальную кастрюлю-сольвилат, подогрев их до температуры парного молока и смешивание при оборотах смесителя не менее полутора тысяч в минуту.

Исследовательской базой для проверки эффективности хлопкового молока был избран лучший в республике откормочный комплекс имени 50-летия ВЛКСМ Ахангаранского района Ташкентской области. Изучались два варианта выпойки телят: в первом ЗЦМ наполовину разбавляли регенерированным молоком, а во втором — на три четверти.

Результат оказался даже несколько неожиданным. Телята, получавшие больше заменителя, чем молока, лучше росли, развивались, поедали больше других кормов и за каждые сутки выпойки набирали почти по два килограмма веса. И опытные, и контрольные животные после откорма имели живую массу свыше четырехсот килограммов. Причем, себестоимость центнера привеса из-за дешевизны ЗЦМ по сравнению с цельным молоком у опытных бычков оказалась ниже на 23 рубля 46 копеек.

Что может дать только ахангаранскому откормочнику массовое применение ЗЦМ, показывает простой расчет. Полный оборот поголовья здесь 12 тысяч животных. Для выпойки такого количества телят

требуется 3.240 тысяч литров молока. А при замене его на три четверти хлопковым можно ежегодно экономить 2.430 тысяч литров натурального продукта, которого достаточно для выпойки еще девяти тысяч телят или для суточного снабжения населения двух таких городов, как Ташкент. Причем, производство того же количества мяса на комплексе обойдется почти на триста тысяч рублей дешевле.

На основании этого создатели хлопкового молока сделали важный вывод: массовое производство и применение для выпойки телят ЗЦМ на основе хлопкового белка и суспензии хлореллы даст возможность республике без дополнительных затрат цельного молока выращивать вдвое больше телят, чем сейчас.

Географическая точка, откуда потечет первая молочная река в хлопковых берегах, уже определена — город Коканд. Здесь на местном масложиркомбинате завершается строительство первого в стране цеха хлопкового белка мощностью 250 килограммов продукции в сутки.

Сколько же белка на большом хлопковом поле республики, сколько ценных, необходимых нашему животноводству кормов? Определенно на этот вопрос ответить довольно трудно, но можно с уверенностью сказать — огромное количество, которое пока даже трудно себе представить.

Вернемся к уже хорошо нам известному хлопковому шроту. Он содержит в своем составе жизненно важные аминокислоты, в том числе лизин и метионин в таком количестве, которое необходимо для интенсивного формирования органов и тканей животных. При сорокацентнеровом урожае хлопка-сырца такие урожаи уже не редкость во многих хозяйствах республики, выход шрота с каждого гектара составляет десять центнеров, в которых содержится четыре центнера перевариваемого белка — протеина. Заметим, что в решениях XX съезда Компартии Узбекистана поставлена задача добиться получения с каждого гектара посевов чисто кормовых культур 10 тонн кормовых единиц. Но в данном случае речь идет именно о кормах, а протеин с хлопкового поля является по существу бесплатным даром «белого золота» животноводству. Кстати, эквивалентные количества протеина получают с гектара пшеницы при 33-центнеровом урожае, с полгектара кукурузы при 100-центнеровом урожае зерна!

Можно сослаться и на такие авторитеты, как академик И. С. Попов, основоположник зоотехнической науки кормления сельскохозяйственных животных. Он считал, например, что замена только десятой части рациона растущих поросят белковыми концентратами снижает расход всех кормов примерно на треть, а каждый центнер белковых кормов сберегает 3,5 центнера отборного зерна.

Однако мы уже упоминали, что применение в рационах скота хлопкового шрота вызывало споры среди ученых. И причиной тому был содержащийся в шроте госсипол. Мало того, что из-за наличия токсина шротом можно было откармливать скот строго определенное время, чтобы он не достиг в организме животных опасной концентрации, высказывались также мнения и о возможной передаче токсичности госсипола человеку через пищевые мясо-молочные продукты.

Но этим спорам пришел конец. Черту им подвели ученые опять же Института химии растительных веществ Академии наук Узбекистана, а также института жиров ВНИИпищепрома, разработавшие совершенно новую технологию получения так называемого обезгоссиполенного высокопротеинового шрота. Она предполагает максимальное сохранение качества белка семян и практически полное удаление из него токсических веществ. Новый продукт содержит в полтора раза больше белка, чем стандартный кормовой шрот. Мало того, он значительно меньше содержит клетчатки, не усваиваемой животными организмами.

Понятно, насколько нуждается в таком сырье наша комбикормо-

вая промышленность. В экспериментах Института животноводства на сельскохозяйственных животных и птице установлено, что высокопротеиновый обезгоссиполенный шрот в сбалансированных рационах обеспечивает повышение продуктивности животных на 15 процентов и по эффективности не уступает соевому, самому ценному шроту.

Только в нашей республике из семнадцати действующих маслоэкстракционных заводов достаточно двух, работающих по новой технологической схеме, предложенной учеными, чтобы полностью обеспечить потребности комбикормовой промышленности Узбекистана в отличном белковом сырье.

Кстати, ученые считают, что большое будущее еще предстоит и гузапае, уже включенной в кормовые резервы животноводства. Сейчас в совхозе им. Волкова Ташкентской области завершается работа ученых Института животноводства по обогащению хлопковых стеблей некоторыми химическими препаратами, значительно повышающими их вкусовые и питательные достоинства.

Есть и другие кормовые ресурсы у хлопкового поля, которое, как мы уже сказали, включает не только сам по себе хлопчатник, но и другие севооборотные культуры — люцерну, кукурузу, зерновые колосовые, сорго, суданскую траву и травосмеси, кормовые корнеплоды. Между прочим, современные способы заготовки этих кормов ведут к значительным потерям питательных веществ, в том числе и кормового белка. В силосе и даже в сенаже резко снижается содержание перевариваемого протеина, а такой необходимый живому организму каротин (провитамин А) почти не доходит до кормушек.

Широкое внедрение совмещенных и повторных посевов кормовых культур уже сейчас в некоторых районах юга республики позволяет получать с каждого гектара до 20 тонн кормовых единиц. В то же время это ведет к образованию на полях такого количества зеленой массы, что ее просто невысказанно скормить скоту в свежем виде. Ее приходится консервировать: либо сушить на сено, провяливать на сенаж, высушивать на травяную муку, закладывать в силосные траншеи. И все-таки уберечь кормовой белок очень трудно.

И тут на помощь приходит наука. Ученые отдела кормления Института животноводства под руководством доктора сельскохозяйственных наук К. К. Каримаева разработали и проверили на практике новый способ химического консервирования зеленых кормов.

Весной прошлого года в институт обратились земледельцы совхоза «50 лет Октября» Избасканского района Андижанской области. Здесь на полях, отведенных под хлопчатник, посеяли озимую рожь, и она выдалась на редкость удачной. Скормить ее совхозному скоту было просто невозможно, к тому же «поджимали» сроки сева хлопчатника. Тогда в хозяйстве решено было впервые на практике осуществить химическое консервирование ржи.

В итоге спасено 1000 тонн зеленой массы озимой ржи, питательные и кормовые качества которой после химической консервации значительно улучшились.

В чем сущность этого метода? Первым достижением науки о кормах было силосование различных сахаросодержащих культур, при котором молочно-кислое брожение без доступа воздуха предотвращает порчу продукта. Следующим этапом был хорошо известный сенаж. Теперь на службу кормоприготовителям пришла химия.

Ученые обратили внимание, что ряд кислот, особенно уксусная, муравьиная и бензойная, эффективно уничтожают гнилостные бактерии, предотвращают масляно-кислое брожение, придающее корму прогорклый вкус, и сохраняют зеленую массу люцерны, кукурузы, зерновых и других культур в первозданной свежести.

Вот некоторые результаты обследования таких «консервов». Если

в кукурузном силосе содержится 52 процента протеина и 55 процентов каротина, то в химическом корме с муравьиной и бензойной кислотами этих главных питательных веществ содержится соответственно 90—93 и 87—90 процентов. В сенаже содержится протеина и каротина 76 и 70 процентов, в химических консервах их также значительно больше.

Нынешней весной на экспериментальной базе института «Красный водопад» были вскрыты две «консервные банки» с кормом по 450 килограммов каждая. Молочные коровы и бычки съели его без остатка, будто им задали в кормушки свежую «зеленку». Причем, среднесуточные привесы животных поднялись на 17—21 процент.

Подсчитана и экономическая эффективность нового метода. Затраты на приготовление одной тонны «химических» консервов составляют с муравьиной кислотой 1,9 рубля, а с бензойной — 0,9 рубля. При этом каждая тысяча тонн таким образом приготовленного корма из люцерны, например, дает дополнительно 50 тонн кормовых единиц, 10 тонн перевариваемого протеина, 100 килограммов каротина. Общий экономический эффект в денежном выражении превышает десять тысяч рублей.

Вернемся и к королеве кормовых культур, лучшей предшественнице хлопчатника, незаменимому бойцу с вилтом — люцерне. Как корм люцерны на поле в разные стадии развития растений представляет и различную ценность. В фазе бутонизации и начала цветения в килограмме люцернового сена содержится 0,52 кормовых единицы — столько же, сколько в двух килограммах отменного овса. А в начале плодоношения люцерны питательность сена и содержание в нем протеина снижается почти вдвое. Таким образом, люцерны наглядно иллюстрирует земледельцам простую истину: потеряешь день на уборке, потеряешь и корм.

Главная ценность королевы кормовых культур в ее нежных листочках. Хотя они почти прозрачны по сравнению с толстым мясистым стеблем, но белка-протеина в них в три-четыре раза, а каротина в шесть-девять раз больше! Сухие же листочки в сене крошатся, осыпаются. А выход прост: люцерну при скашивании надо одновременно плющить, но этот метод заготовки сена пока еще мало применяется в нашей республике.

И конечно, проблема кормового белка, поставленная на XXVI съезде КПСС, это и проблема выведения новых высокобелковых, особенно зернофуражных, сортов сельскохозяйственных культур. В отчетном докладе Центрального Комитета КПСС, с которым выступил на съезде Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев, говорится: «Учитывая, что потребность в продовольственном зерне удовлетворяется полностью, упор должен быть сделан на выращивание фуражных зерновых культур. Их доля в валовом сборе зерновых должна быть значительно повышена».

Такие сорта и даже новые для республики культуры уже созданы нашими селекционерами. Среди них — тритикале «Узор» и овес голозерный «Успех».

Если люцерны — королева кормовых культур, то овес, бесспорно, король. Не случайно принятая сейчас в науке кормовая единица является эквивалентом питательности одного килограмма овса.

Но стоило новому сорту этой культуры, который называли «Успех», с помощью ученых Института животноводства сбросить «рубашку» — пленку, покрывающую семена в колосьях, как его питательность значительно повысилась.

«Успех», созданный доктором сельскохозяйственных наук, заведующим отделом кормопроизводства института А. Халиковым, пока единственный в стране сорт высокобелкового голозерного овса. Сеять его можно практически в любое время года на зеленый корм и полу-

чать с каждого гектара до 400 центнеров зеленой массы.

Но особенно ценны колосья «Успеха». Зерно в них содержит почти на двадцать процентов больше перевариваемого протеина, на пять процентов больше чистого кормового белка и почти на восемь процентов меньше неперевариваемой клетчатки по сравнению с обыкновенным «пленчатым» овсом. Поэтому комбикорма с добавлением такого зерна являются поистине уникальными, особенно для выкормки молодняка.

И урожаи «Успеха» богатырские. При одном-двух поливах он дает 40—50 центнеров зерна с гектара. Хорош этот овес и в качестве промежуточной культуры. При посеве люцерны с этим сортом получают до 30 центнеров зерна с гектара, а затем еще за два-три укоса снимают по 50—60 центнеров сена, что обеспечивает получение с каждого гектара семи — восьми тысяч кормовых единиц.

А вот новая для республики культура — тритикале сорта «Узор» получила права гражданства лишь в первом году одиннадцатой пятилетки, когда из Москвы в Институт животноводства пришло сообщение о его районировании.

Этот гибрид пшеницы и ржи в последние годы привлекает все большее внимание селекционеров. Тритикале отличается от своих родителей высокой урожайностью зерна и зеленой массы, а объединяет его с ними совокупность их лучших кормовых и питательных достоинств.

Инициатором и одним из авторов выведения нового сорта стал директор совхоза им. Касыма Рахимова Ленинольского района Сурхандарьинской области Эшпулат Эргашев.

Сортов тритикале уже немало в стране и за рубежом, но приспособленных к природно-климатическим условиям нашей республики до сих пор не было.

Эшпулат Эргашевич отправился в путешествие по коллекции мирового разнообразия тритикале Всесоюзного института растениеводства под руководством опытных люцманов — члена-корреспондента ВАСХНИЛ В. Ф. Дорофеева, доктора сельскохозяйственных наук Р. А. Удачина и кандидата сельскохозяйственных наук Г. А. Айрапетова. Ему пришлось перебрать и испытать не одну сотню сортообразцов, пока не добился цели. «Узор», так назван сорт за свой мощный, красивый, «узорчатый» колос, дает на поливе 60—65 центнеров зерна. Его колосья, насчитывающие от 65 до 85 зерен, в полтора раза превышают лучшие сорта пшеницы. И каких зерен! В них значительно больше протеина и почти 17 процентов наиболее ценного компонента белка — лизина. Сейчас семена «Узора», основными производителями которых стали хозяйства Ленинольского района, отправляются во многие области республики.

Эшпулат Эргашев выделил из коллекции ВИР и еще один сорт кормового тритикале «ПРАГ-1». Его особенность в том, что, посеянный в августе, в ноябре-декабре он образует мощные стелющиеся кусты и превращает поле в отличное осенне-зимнее пастбище. А весной снова отрастет и в апреле снова готов к укосу.

Интересный опыт заложен был в прошлом году в совхозе «Сурхан», где в августе вместе с последней культивацией хлопчатника на сорокагектарном поле обыкновенными тукоразбрасывателями посеяли «ПРАГ-1». После уборки хлопка скошили гузанаю и всю теплую нынешнюю зиму пасли на поле совхозный скот. Как подсчитали специалисты, стадам было стравлено примерно по 150 центнеров зеленой массы с гектара. А весной на это необычное поле вышли ротационные косилки и сняли еще по 400 центнеров корма. Затем снова посеяли хлопчатник.

Так замкнулся круг. С помощью тритикале мы снова возвратились на хлопковое поле, словно покрытое сказочной скатертью-самобранкой. Теперь на ней действительно есть все, что душе угодно, — и масло, и мясо, и молоко.

Сергей Татур



Рисунки В. Будаева.

РОМАН

Часть первая

I.

Было ожидание, и была тяжелая вибрация кресел. Мурашки по коже. И вдруг стрелок отпустил тетиву, и самолет, только что опиравшийся на землю, теперь естественно и легко оперся на воздух, на прозрачную синь и беспредельность неба. Скорость, казавшаяся у земли чудовищной, все нарастала, а высота скрадывала и приуменьшала ее, превращая почти в неподвижность. «Свершилось,— сказала я себе. И повторила в радостном возбуждении:— Свершилось! Свершилось!»

Не самолет — это я летела, неслась над белыми домами Ташкента, и над полями, и над пыльными холмами, и над горами, казавшимися мне морщинами старушки-земли. Мне было так хорошо оттого, что вышло по-моему. Я упивалась этим прекрасным чувством, так редко посещавшим меня в последние годы. Я победила. Я, оказывается, тоже

умею преодолевать препятствия, и обходить препятствия, и таранить их с разбега, черт возьми, если иначе не получается. Я, оказывается, умею быть бульдозером, прущим напролом, и лукавой лисичкой-сестричкой, и, немного, серым волком.

Петруша сполз со своего кресла, перелез через ноги отца и, получив легкий шлепок, который придал ему заметное ускорение, примостился у меня на коленях и заслонил иллюминатор своей любознательной головкой. Я представила, как сплуснулся его нос от соприкосновения со стеклом. Завороженный полетом, он потерял способность выражать свои чувства. Я обняла его. Его сердце трепетало, как у воробышка. Наверное, он постигал, что это такое — быть внутри самолета и смотреть вниз, и сопоставлять увиденное сверху с тем, что ты видишь, например, из окна автомобиля или когда папа везет тебя на жесткой велосипедной раме. Сопоставлять — это и было сейчас самым интересным.

— Машина! — вдруг завопил он. — Дома! Коровы, коровы!

И замолчал, впитывая и впитывая в себя открывшийся ему простор.

— Блин горелый, все окно заслонил! — засмеялся муж.

Сейчас он обнимет меня, подумала я. Его рука тяжело и приятно легла мне на плечо, и я оторвалась от иллюминатора, и придвинулась к нему, и коснулась щекой его гладко выбритой щеки. Его рука самодовольно напряглась, налилась силой. И я поняла: то, что свершилось для меня, свершилось и для него, и его Голодная степь, его лотки и насосные, и дрены, и перегораживающие сооружения на каналах, и бригадир Муслимов, заповоивший сложную опалубку, и бригадир Каримов, эту опалубку исправивший, и бригада Азаряна, не вышедшая на объект по причине затянувшейся пьянки, и недопоставленные пилолес, арматурная сталь и бог весть еще что — все это сейчас не с ним, а там, на своем месте, само по себе. А с ним я, и Петруша, и небо. И пришедшие, наконец, раскованность, свобода, отдых. Как хорошо, не обмануться бы! Живешь, ждешь, воюешь, и вдруг выпадает такая минута, как эта, вознаграждающая за все, даже за завтрашние новые тревоги.

Рука мужа, обнимавшая меня, вдруг обмякла. Он уже спал. Это меня удивило. Ему вполне хватало четырех-пяти часов сна в сутки. Значит, все-таки сказались на нем предотпускная нервотрепка и чехарда. Простои, авралы, нестыковки, повышенный тон планерок, спартанский неустроенный быт подчиненных, срывы графиков и срывы человеческие, тяжело ложащиеся на психику своей неуместностью, — все это знала и я. Но я просто фиксировала это, просто рисовала себе действительность и не несла ответственности за все то, за что полной мерой, как руководитель и коммунист, отвечал мой Дмитрий Павлович Голубев, управляющий трестом «Чиройлиерстрой», неофициальный мэр городка Чиройли Ер, в котором все делалось с его ведома и согласия.

Нестыковок, как всегда, было предостаточно, и он не смог отстоять свой отпуск. Но тогда я сама предстала перед начальником главка, и в результате нелегкого разговора на заявлении мужа появилась положительная резолюция. Для меня было сделано величайшее одолжение. Странно, но мысли мои еще там, в проявленном солнцем Чиройли Ере, а не на берегу лучшего из наших морей.

— Мама, окно закрыто, а ветер дует. Убери ветер, — попросил Петик. Ему холодно, и я накинула на него свою кофту. Он все равно встал, нащупал пальцами отверстие, откуда врывается свежий воздух, и, довольный, что обнаружил источник ветра, вновь приник к иллюминатору. Маленький исследователь. Что бы я без него делала?

Впереди, в ярком, слепящем свете, за бесконечными красноваты-

ми грядами песков, стала прорисовываться большая река. Амударья, догадалась я. Посмотрела направо. Еще в большем отдалении, чем река, очень смутно прорисовывался берег Аральского моря. Медленно надвигались оазис, хлопковые и рисовые поля Хорезма, Каракалпакки, Ташауза. Вскоре Петик спросил: «Мама, почему большая река кривая, а другие реки прямые?»

— Прямые реки — это каналы, — сказала я. — Их построил человек.

— Мой папа?

— И твой папа тоже.

— А кто построил большую реку?

— Никто. Она сама получилась.

Это его озадачило, и он замолчал. Оазис медленно проплыл под нами. Пески внизу теперь были серыми. Дмитрий спал. Его разбудил усиленный репродуктором голос стюардессы, приглашавшей приготовиться к завтраку. Потянулись могучие хребты Кавказа — мрачные пики, ледники, и долины, и реки, извивавшиеся среди склонов, и зеленые пятна лесов, и облака. Петик обмяк, мирно посапывал, приткнувшись к иллюминатору. Слишком много впечатлений.

В Симферополе мы взяли такси. «Полчаса катаемся по городу, затем — Форос», — распорядился Дмитрий. И назвал два симферопольских адреса. До войны его мать жила в Симферополе, и родился он в Симферополе. Эвакуировались они своевременно. Их дом остался цел и был цел сейчас, и сохранился родильный дом, в котором Дмитрий Павлович Голубев криком возвестил миру о своем появлении на свет. У этого родильного дома мы остановились, Дмитрий вышел из машины и походил вдоль фасада. Серое двухэтажное непритязательное здание. Я не вышла с ним вместе. Он был задумчив и скоро вернулся.

— Ну и как? Почувствовал, что твои корни здесь?

— Еще нет, — сказал он с удивлением. — Отчего-то я не взволнован. Отчего-то я совсем спокоен.

— Папа, почему мама сказала, что ты родился вот в этом доме. Тебя кто родил? — спросил Петя.

— Меня родила моя мама, а твоя бабушка — баба Лида.

— А меня родил аист! — Петя был доволен своей осведомленностью.

Мы пересекли реку Салгир, почти сухую, каменистое русло которой тысячи раз переходила Лидия Ивановна, сейчас — баба Лида, а в те далекие годы — школьница, девчонка. Я не могла представить строгую, энергичную бабу Лиду школьницей. Лично мне Симферополь — те улицы, которыми мы проезжали, — напоминал Ташкент до землетрясения, когда глинобит еще не был заменен элегантным и прочным железобетоном и одноэтажные дома в самом центре полуторамиллионного города выглядели мило и провинциально. Мы так же легко разыскали дом Лидии Ивановны. Я опять не вышла из машины. Дмитрий постоял у дома, у шеренги узких окон. Почесал затылок. Здесь и сейчас жила не одна семья. Лидия Ивановна говорит, что ее корни здесь, и считает, что корни Димы тоже здесь. А он этого не чувствует и ничего не может с собой поделать. Не чувствует — и все. Я не тороплю его, но и не помогаю, не борюсь с его замешательством. Не тот это момент, когда человек нуждается в подказке, в помощи. Он заглянул во двор. Двор был пуст, гол, а за домом круто вверх поднимался холм, и по его склону устремлялась на вершину каменная крутая лестница. Ничего себе пейзаж! Мальчику было бы где развернуться.

Дмитрий сел, мы понеслись к синему морю.

— Я не помню этого города. Даже не было желания постучаться, осмотреть квартиру.

— Комнату,— поправила я.— У семьи Лидии Ивановны здесь была одна комната. И, помнишь, она часто рассказывала про пуговичную фабрику, на которой в ночную смену прострочила себе палец.

Он кивнул. Его корни, конечно же, были в Ташкенте, где он пережил голодные и холодные военные годы, кончил школу и институт. Но в еще большей степени его корни были в Голодной степи, в скромном городке Чиройли Ер (это название переводится с узбекского как «Прекрасная земля»), в тресте, которым он управлял уже седьмой год. О, это были настоящие корни, все глубже вливавшиеся в голодностепскую целину, и я очень хотела, но не могла, не умела ослабить их цепкую хватку.

— Перевелся бы ты работать в Крым?— вдруг спросила я.

— Ни за что,— сказал он громко, раскатисто, с радостью. И засмеялся.

— Как мелок твой патриотизм!— Я не удержалась и уколола. Обыкновенно я сдерживалась.

— Мы в знатные очень не лезем, но все же нам счастье дано,— продекламировал он.

Петик теперь прилип к ветровому стеклу. Через полчаса мы увидели море. Дорога вилась высоко, в горном лесу. Пахло хвоей, и море было огромное, такое огромное, что за ним угадывались и Турция, и Африка с ее экзотическими странами. Алупка, Медведь-гора, Гурзуф, Ялта — все это несло и несло на нас, впечатления были одно диковиннее другого. Кончался один санаторий, начинался следующий. Стремилась сюда многие, но попадали не все из тех, кто мечтал поплавать здесь, и пропитаться солнцем, и завязать короткий бурный курортный роман. Осуществить задуманное мешала чаще всего работа. Ничто так не привязывает человека к месту, как работа. Можно оставить больную жену, ничего за месяц с ней не случится; можно оставить жену, ожидающую ребенка, муж ведь не акушер, а только отец будущего малыша. Но нельзя прервать работу, если начальство не дало на это свое руководящее «добро». Я вертела головой направо и налево, но запомнила мало что. Все это было так не похоже на Ташкент, на Чиройли Ер — тем более. Причем, я не могла поручиться, что здесь лучше. Я видела только непохожесть, иной уклад жизни, иную задачу работников.

Ялта показалась мне маленькой, другие прибрежные поселки с широко известными названиями были и вовсе миниатюрны. Даже встречный ветер был здесь какой-то комфортный — ни прохладный, ни горячий, словно тоже обслуживал отдыхающих. «Хорошо!» — воскликнул Дмитрий. И потом много раз повторял это слово.

В Форосе, самом южном крымском поселке, к нашим услугам была пустая трехкомнатная квартира. Ее хозяйка гостили сейчас в Ташкенте у моих родителей. Анисим Антипович был однополчанином моего отца и давно звал нас к себе, а наши давно звали его. Мы представились соседям и вступили во временное владение благоустроенной и просторной жилой площадью. Петик затопал по паркету, оглядел комнаты, а потом сказал: «Мама, пусти меня во двор, я не убегу! Там непонятные деревья, я хочу посмотреть». Непонятными, «не нашими» деревьями были кипарисы и магнолии. Как только за Петиком закрылась дверь, Дмитрий легко, играючи поднял меня. У него были очень сильные руки. Семнадцать лет назад он припечатал этими руками к ковру мастера спорта по классической борьбе Эркина Саидова. Он тогда кончал ирригационный институт, и я пошла смотреть, как он борется, и он потом сказал, что превзошел себя, что я вдохновила его превзойти себя. Потом он уже не боролся, у него была только работа

в прекрасном, самом лучшем, самом нужном городе на земле — Чиройли Ере.

II.

— Ну, и что ты чувствуешь?— спросила я. Дмитрий смотрел на меня добродушно-добродушно и одновременно как-то заговорщически, словно собираясь утаить что-то важное, предназначенное нам двоим.

— Я чувствую, что мы не в Чиройли Ере.

— Это много. Это очень много. А еще что?

— Еще мне приятно, что не надо никуда торопиться. Что с меня ни сегодня, ни завтра не спросят, почему работа, которую следовало выполнить вчера, сегодня еще не начата. Легко-то как! Безмятежность потрясающая. Сейчас мы оглядимся, что тут и как, и промаршируем на пляж, где займемся прозаическим делом — принятием водных процедур. Черт возьми, мы обмакнемся в синее-синее и теплое-теплое море! Я и не знал, что есть моря, на берегах которых человек только и делает, что отдыхает. Да здравствует отпуск!

«Безмятежность»,— повторила я вслед за ним. Это слово определяло и мое состояние. Полная отрешенность от вчерашних забот и совершенно новая жизнь; которая будет продолжаться двадцать шесть дней, и в нее не вторгнутся телефонные звонки, авралы, срывы, недопоставки материалов, аварии, драки на почве злоупотребления алкоголем и прочая стрессовая информация. Я перевела часы на три часа назад, и мы стали жить по московскому времени.

Мы вышли и смешались с беззаботным курортным людом. Солнце светило, как у нас в апреле. Дыхание моря насыщало воздух влагой и свежестью. Форос весь был залит, пропитан солнцем, так здесь было ярко, светло, прозрачно. В море вдавался зеленый мыс, и поселок компактно стоял у его основания, а на самом мысу, среди сосен, среди субтропиков, возвышалась редкие корпуса санатория. Суша поднималась из зыбкой пучины довольно круто, и снизу казалось, что хребет кончается неправильной зубчатой стеной. Нижняя часть хребта поросла лесом, а выше лес местами обрывался и обнажались осыпи и участки почти вертикальных серых скал, испещренных трещинами. Неподалеку от водораздела, высоко-высоко, на крутом утесе стояла церковь. Чувствовалось, что строил ее человек состоятельный, но уставший от мирской суеты. И сейчас, несмотря на запустение, церковь была величавой, элегантной — белое изысканное пятно на фоне сплошного темного леса. Небо же было дымчатое, голубое, а море — дымчатое, синее, дружелюбное человеку.

Петик шел между нами, держась за папину и мамину руки. Соприкосновение с новой действительностью поубавило его экспрессивность; да, здесь все было не как в Чиройли Ере, но я знала, что к этому он привыкнет гораздо быстрее, чем мы.

В следующем доме размещались магазины, и я потянула к прилавкам. «Постарайся не прилипнуть»,— сказал Дмитрий. Петик же повел себя не так индифферентно. «Мама,— заявил он,— у меня нет ни одной игрушки!»

Я как хозяйка должна знать, на что могу рассчитывать. Базара я не обнаружила, предприятий общественного питания — тоже. В овощном ларьке громоздились банки с консервированным борщом и баклажанной икрой. «И это знаменитый Южный берег!— подумала я.— Какой примитив!» В Чиройли Ере, например, уже торговали персиками и помидорами. Но полки гастронома показались мне почти роскошными. Кефир, свежая морская рыба, рыба копченая, колбаса, прекрасные крымские марочные вина. Нет, мы не привыкли к такому изобилию. Мужчинам не угрожали голод и однообразное меню. Дмит-

рий купил несколько бутылок марочного вина, хотя ни знатоком, ни поклонником вин никогда не был.

В промтоварном мы взяли Петикю детский надувной жилет ярко-желтого цвета и пластмассовые детские городки. И обувь, и одежда продавались такие же, как в Чиройли Ере. При нужде, конечно, можно и одеться и обуться, но мечту о вещах элегантных, добротных, сработанных испытанной рукой мастера по последнему велению моды, приходилось оставить.

Дорога к пляжу шла через парк, старинный, прекрасно ухоженный, радующий глаз обилием редких пород деревьев и кустарников. В парке стоял густой запах хвои. Я услышала соловья и остановилась — так это было неожиданно и славно.

— М-да.— сказал Дмитрий.— Петя, ты чего не шумишь, не выступаешь?

— Ты сам выступаешь,— сказал мальчик.

Дорожка спустилась к морю. На пляже под навесами и у линии прибоя на лежаках впитывали в себя солнце жители всех климатических поясов нашей обширной страны. И мужчины, и женщины страдали чаще всего от переедания и малоподвижного образа жизни. Мы прошли на небольшой пляж в стороне от санаторного, за лодочной и спасательной станциями. Кабины для переодевания здесь заменяло полотенце, наматываемое на бедра, но разница, в общем, была невелика: чуть-чуть меньше комфорта, чуть-чуть больше свободы. Бетон парапета и крупная галька пляжа теперь, во вторую половину дня, отдавали тепло. Мы вошли в воду вместе, держась за руки. У Дмитрия на пляже было самое рельефное и сильное тело, другие мужчины, даже молодые, рядом с ним выглядели рыхлыми. Но и ему было бы полезно остановиться на семидесяти пяти килограммах. Именно в таком весе он выступал когда-то. Но он прибавил к ним еще десять килограммов.

А вот ко мне не прилипло ни одного лишнего килограмма. Все свои параметры я держала близко к норме и теперь заслуженно гордилась своим телом — экзамен пляжем я выдерживала. Человек в последние десятилетия снял с себя физическую нагрузку, и его тело поплыло, поплыло безудержно. Но мало кто настораживался и задавал своим мышцам работу, взбадривающую и облагораживающую их. Сколько было здесь загубленного человеческого материала, сколько несостоявшихся Аполлонов и Афродит! Я торжествовала: жесткий режим и гимнастика позволили мне сохранить стройность и легкость движений, уберегли меня от сотен простуд, которые безжалостно валили меня с ног в раннем детстве. Преодолеть же мне пришлось лишь одно препятствие: лень-матушку.

— Петик, у тебя красивая мама? — спросила я.

Сын барахтался у береговой кромки и выражал свой восторг громкими криками. Мой вопрос он оставил без внимания. Но Дима не пропустил его мимо ушей, оглядел меня с головы до пят и заключил: «Мы премного довольны». Петик страшно брызгался, и мы вернулись на берег, предоставив ему полную свободу. Ребенок отводил душу. Он разбежался, выставлял ручонки вперед и бултыхался в тихую воду у самого берега, где было по колено. Потом, лежа животом на гальке, подняв голову высоко над водой, он яростно работал руками и ногами. «Я корабль! — кричал он. — Я кит! Я подводная лодка! Я краб!» Мы подождали, пока силы ребенка иссякнут, и завернули его в большое махровое полотенце. Полотенце он немедленно сбросил с себя, видно, это задело его самолюбие. И нашел новое занятие: стал бросать в море камушки. Этим он мог заниматься неопределенно долго. Но оставлять его без присмотра было рискованно: сначала выкупался Дмитрий, а затем вошла в воду я. Плавала я хорошо, лучше



Дмитрия, и заплывла далеко. Море было абсолютно спокойное. Я бы предпочла волны, и не легкие, а средние, белопенные, которые поднимают и опускают, как медленные качели.

Я плыла брассом, опуская лицо в воду, но не закрывая глаза. Было интересно разглядывать дно, покрытые илом и водорослями обломки скал, иногда очень крупные и причудливые. Большие волны разбивались бы о них с ревом и брызгами. Я плыла и плыла вперед, и вскоре дно перестало просматриваться, а вода из прозрачной сделалась синей. Редкие медузы белыми студенистыми пятнами проплывали подо мной. Я коснулась одной из них рукой. Мягкое бескостное тельце. Ну и многообразна природа, чего только она не сотворила! Руки словно раздвигают воду, и она расступается передо мной. Вдох — выдох. Легко, хорошо, замечательно. Надо и Петика научить плавать, непременно. Назад? Рано, еще не устала. Дима машет рукой: мол, не увлекайся. Но я перехитрила его, поплыла вдоль берега. Удивительная вода. И все здесь удивительное: деревья, и берег, и горы, и воздух, и солнце. И Дима удивительный, когда никуда не торопится, и Петик. Что бы я делала без них? И разве было время, когда их у меня не было? Вдох — выдох, вдох — выдох. Ощущение такое, словно все мне под силу. Отлично, Оля! Иногда получается и по-твоему, иногда ты добиваешься своего!

Я плыла довольно энергично, но усталости не чувствовала и потому не спешила к берегу. А если... вдруг оказаться посреди моря? Тогда море сначала измочалит тебя вконец, а потом убьет, и вовсе не обязательно, чтобы поднялась буря. Оно убьет, оставаясь теплым, ласковым, безмятежным. «Оставь фантазии Петика», — сказала я себе. — Сейчас он открыл для себя радость перевоплощений. Его уже сто раз убивали на войне, и он всем рассказывает: «Когда я был на войне и меня убили...» Теперь к берегу. Петик опять плюхается пупом в воду и хохочет, хохочет. Почему мы не ценим вот это безоблачное время — детство? Почему мы начинаем дорожить детством, когда оно уже позади? Но зачем спрашивать об этом, если так было всегда, если так жизнь устроена?

— Стели, мать, скатерть-самобранку, — сказал Дмитрий. — Аппетит — как у первопроходцев!

Хлеб, колбаса и сыр, и луковица, очищенная и разрезанная на три части, и ташкентские помидоры, и ташкентские персики, и диковинная пепси-кола, и крымское солнце на десерт — таким был обед. Вкуснее мы давно не ели.

— Что теперь будем делать, мать? — спросил Дмитрий.

— Почитай, — предложила я.

— Нет, сегодня я буду просто смотреть на море. Как плывут корабли.

— Так мог бы ответить и Петик.

Я стала читать, но мне было трудно вникать в суть. Что-то отвлекало, раздвигало внимание, и я уносила мысль за тридевять земель, и мысль эта никак не была связана с прочитанным. Так приятно было растечься мыслью по древу, строить воздушные замки, разрушать их и на освободившемся месте строить новые. Потом мы еще плавали. Потом обошли парк. Потом, уже при погасшем солнце и первых сумерках, привлеченные музыкой, зашли на танцплощадку и с радостью окунулись в ее ритмичную толчею. Вальс! Я так давно не танцевала вальс. Я забыла, когда вообще танцевала. Последний раз, наверное, я танцевала на своей свадьбе. Мы сделали три полных круга. У Дмитрия были молодые, задорные, любящие глаза, и он не сводил их с меня. Поистине, к нам возвращалась молодость, я оставила в море минимум пятнадцать лет. «Фу ты, боже мой! — сказал он свою

любимую присказку.— Ты неотразима». «Сегодня и всегда»,— сказала я.

Страшно нравилось быть неотразимой. У меня кружилась голова. Кипарисы тоже начинали кружиться, подыгрывая нам. Вальс, вальс! Вот ведь как бывает хорошо человеку. А когда ему так хорошо, он не спрашивает, заслужил ли он это, он просто живет, используя такое естественное право на счастье. Потребность в анализе и вообще всякое глубокомыслие приходят позже, когда поневоле скатываешься с пленительного гребня. Тогда и начинаешь накручивать себя, и вновь включаешься в гонку, и вновь жизнь — одно мелькание, одна быстрота, и вновь ты и тут, и там, и везде, и нигде и вновь гребень волны — это цель почти недостижимая, всегда близкая и всегда ускользающая, и ты карабкаешься, карабкаешься, карабкаешься...

III.

У Дмитрия Павловича Голубева была редкая особенность: он мало спал. Возвращался с объектов или с громкоголосых совещаний он обычно поздно, замотанный, щедро припудренный въедливой лесовой пылью, но душ или ванна быстро возвращали ему хорошую форму. Потом ложилась Ольга, и он тоже ложился. Когда и она засыпала, он перебирался в другую комнату, в свой кабинет, на жесткую железную походную кровать. Включал проигрыватель, слушал музыку или цыганские романсы и бодрствовал еще час-полтора, а засыпал в половине второго. Просыпался в шесть, свежий, тугой, как хорошая пружина, готовый впитывать в себя информацию и превращать ее в решения, в конкретные задания двухтысячному коллективу.

Четырех-пяти часов сна хватало ему вполне, он и снов успевал перевидать предостаточно. Удивительные снились ему сны — цветные, с продолжениями. Ему даже казалось, что он научился управлять своими снами, программировать продолжения. Это, конечно, было не так, но придержать, зафиксировать яркий эпизод, запомнить его в деталях ему удавалось часто.

Эти полтора-два часа после полуночи играли в его жизни особую роль. Он мог думать, анализировать, строить планы, вырабатывать программу действий на завтрашний день, и все это в спасительной тишине, когда не бьют по голове телефонные звонки и нескончаемые посетители не выкладывают свои нескончаемые нужды, разрешить которые часто не удавалось и при его содействии. В эти тихие счастливые часы он не просто жил активно и энергично — он мыслил, отрешался от текучки и окружал себя проблемами, которых всегда было много. По проблемам своей компетенции он намечал решения. Всегда возникали варианты, и он не мог, не имел права не вникнуть в каждый из них. Проблемы более масштабные, часто государственные, он просто обдумывал, ставил себя на место людей, в чьей компетенции было их решение. Ему нравилось, если его выводы имели индивидуальный оттенок. Но это уже был отдых, растекание мыслью по бесконечному древу жизни, плавание к неведомым пределам. Там, где кончалась его компетенция, — а ее границы были обозначены очень четко, — там кончалось и его право решать, приказывать, равно как и его ответственность. Но говорить об этом он не любил. Тут у него был только один собеседник — он сам.

В Форосе после двенадцати тишина стояла такая же глубокая, как и в Чиройли Ере. Но и здесь в нее вкрапливались далекие, на пределе восприятия, звуки. Долетал ритмичный рокот прибора. Вдох — выдох, вдох — выдох. Но это дышало море. Оля дышала беззвучно. Он хотел обнять ее, но боялся побеспокоить. Правда или неправда, что привычка убивает любовь? Он не привыкал к жене. Ему казалось, что он все еще идет к ней, завоевывает, добивается ее.

Он шел к ней долго, много дольше, чем шли к своим женам другие. У него это заняло девять лет. Девять да двенадцать — его старший сын, одиннадцатилетний Кирилл, уже мог бы быть выпускником средней школы. Но, странное дело, годы, в течение которых он доказывал, что достоин ее любви, были такими же светлыми, счастливыми, как и годы супружеской жизни. Он многое тогда выстрадал. Страдание и делало те дни яркими, незабываемыми. С каждым таким днем он как бы становился лучше и выше самого себя. Он стремительно взбегал по крутой лестнице самосовершенствования, и вот — чудо свершилось. Потом, когда он добился взаимности и страдание ушло из его жизни, он почувствовал, что обеднел. Страдание и делало жизнь полнокровной. Заботы же, хотя их и стало больше, никогда не рождали тех чувств, которые несло с собой страдание.

«Шел и пришел, — сказал он себе, — и добился, и всегда буду добиваться задуманного, для того и живу». Вывод этот, однако, не удовлетворил его, жизнь включала в себя и другие моменты, и они были неисчислимы. Он знал энтузиастов, людей сильных и упрямых, ни в чем ему не уступавших, которые шли, но не приходили, не добились, не побеждали. Когда-то по отношению к ним у него было чувство превосходства. Теперь же он готов был склонить перед ними голову.

Как только он увидел Олю в обшарпанном коридоре института, он понял, что будет продолжение. Он и сейчас не мог ответить, почему она так сильно запала ему в душу. Стройная? Да. Но не она одна такая. Красивая? Видел он и красивых, хотя красота красоте рознь. Она, он запомнил, очень светло, ясно улыбалась. Обаяние этой улыбки, наверное, и было самым сильным впечатлением того дня. Ее улыбка излучала тепло, доброту, дружелюбие. Она была, как костер, который разводит вечером турист или охотник. Его мечтой стало — чтобы этот костер горел для него. Да, ее улыбка обещала счастье, и правдивее этого обещания он еще ничего не встречал.

Он прошел тогда мимо, обернулся. Смотрел вслед жадно, неотрывно. Она вошла в аудиторию. Он подошел, посмотрел номер. Расписание занятий подсказало ему курс и номер группы. Первокурсница — все впереди — это его устраивало. Между ними была разница в один год, один курс. Вскоре он узнал ее имя и фамилию. Но знакомиться не стал: это совсем не вязалось с его врожденной общительностью. Он сказал себе, что подойдет к ней на первом же институтском вечере. Слава богу, он отлично танцевал. Но вскоре институт послали на сбор хлопка в совхоз «Баяут», маломощное и малолюдное хозяйство на трудной голодностепской земле. Голубев как комсомольский вожак курса был назначен бригадиром. Курсы раскидали по отделениям. Устроились, в общем, неплохо, но Оля оказалась в шести километрах.

Хлопок... Он вспомнил свою хлопковую бригаду, девяносто пробивных ребят и озорных девчат, которые собирали и по сто, и по двадцать килограммов «белого золота». За этот разрыв показателей его корили постоянно. Почему одни могут, а другие нет? Почему одни стараются, а другие ленятся? Почему одним ведомо чувство ответственности, а другие поражены бациллой равнодушия? Ему самому было интересно получить ответ на эти, внешне такие простые, вопросы. И он не знал еще, что ответ на эти вопросы ему будет интересно получить всю жизнь.

Прирожденные хлопкоробы, парни и девчата из хлопководческих хозяйств, конечно, оказывались на высоте, всегда владели ситуацией и неплохо зарабатывали на сборе хлопка. Тут все было ясно. Половина ребят и девчат, никогда хлопка не выращивавших, втягивалась и вскоре стала тянуть на равных с выходцами из сельскохозяйственной

глубинки Узбекистана. Старание выработывало умение, навык, и дневная норма, а потом и более высокие рубежи покорялись упорным. Другая половина городских ребят и девочек не желала втягиваться.

Да, испортили они ему кровь. На борьбу с ними — это называлось воспитательной работой — уходила масса времени, и далеко не каждый день Дмитрий мог позволить себе навестить Ольгу. Он рвался, а дела не пускали, он злился, а дела держали цепко. Теперь, с расстояния в двадцать лет, все это выглядело совсем не трагическим, он готов был рассмеяться, вспоминая бесконечные уговоры. Теперь ему была ясна их бесполезность.

Сейчас все эти ребята нормально работали, нормально продвигались по служебной лестнице, даже быстрее продвигались, чем те, кто отличался отменным прилежанием. Толяша Долгов стал правой рукой Дмитрия Павловича Голубева — руководил лучшей передвижной механизированной колонной его треста.

Дмитрий Павлович вспомнил плотную октябрьскую, рано наступившую, ночь. Отказавшись от ужина и взяв на кухне горбушку хлеба, он шагал в отделение к Ольге. Он вспомнил пыльную дорогу между рядами заматеревших ив, и коровий запах пыли, и рокот ветра, порывами ударявшего в высокие кроны, и обостренность, возвышенность своих чувств, которые вдруг стали главными в его жизни. Он еще не знал, что скажет ей и что скажет она, и захочет ли знакомства, дружбы. Самые первые и, как ему казалось, самые важные слова он отдавал воле случая — те слова, которые он пытался приготовить заранее, были детски беспомощны, а лучшие, выражавшие все то, что вмещала его грудь, не приходили. Он вспомнил тоскливую безысходность своей решимости — назад он бы не повернул ни за что.

Он успел вовремя. На немощенной площади перед бараками студенты еще танцевали, баянист умело выводил мелодию. Одинокий тусклый фонарь облегчил его поиски. Оля танцевала. Перед следующим танцем он оказался расторопнее высокого парня в зеленой телогрейке, ее сокурсника. Оля удивленно вскинула на него глаза, спросила:

— Вы не наш?

— Ваш, — сказал Дмитрий. — Именно ваш. — Он почувствовал, что она покраснела, и добавил: — Я на курс старше, не помните?

Она посмотрела на него внимательнее и, наверное, увидела больше, чем хотела увидеть. Потупилась, сбилась с такта. Сказала:

— Вы бригадир второкурсников, я вспомнила. Но, пожалуйста, не надо.

— Вам не надо, а мне очень надо, — возразил он. — Будь я рядовым сборщиком, я бы каждый день бывал у вас.

— Даже если бы я этого не хотела?

— Я бы тогда смотрел на вас издали.

— Советую в будущем так и поступать. Или... Нет, вот что. Следующий раз прихватите с собой канарчик хлопка, я ведь отстающая-хроник.

— Вы этот хлопок не сажали, так понимать? — напрямик спросил он.

Она опять так покраснела, что тусклый свет не мог скрыть ее ярко порозовевших щек.

— Я стараюсь, но не умею, — объяснила она.

Он не отошел от нее и после танца, а когда танцы кончились, проводил до барака.

— Поздно, — сказала она. — И свежо, я боюсь простуды. До свидания.

Когда он возвращался, ему было лучше, чем когда он шел к ней.

Но он не обманывался в главном: путь к ней предстоял долгий, и много ему надо было преодолеть на этом пути. Они еще встречались на хлопке, когда позволяли обстоятельства, но продвинулся вперед в ту осень он совсем немного, можно сказать, совсем не продвинулся. Ветер, как ему казалось, дул в его паруса, и был он ровным, теплым и попутным, но невидимое встречное течение неизменно относило его к исходной точке. Сила ветра гасилась этим течением, система пребывала в динамическом равновесии. Он был одним из многих, не более. Она присматривалась, сопоставляла, не спеша выбирала. Он уже видел разницу между ними, с каждым днем она казалась ему все более значительной. Она выросла в семье высокоинтеллектуальной, ее отец был одним из ведущих гидротехников Средней Азии, проектировал знаменитые Большой Ферганский канал, Каттакурганское водохранилище, рассчитывал параметры высотных плотин Чарвакской и Нурекской гидроэлектростанций. Мать преподавала в школе русский язык и литературу. У Оли сложился ум острый, аналитический. Идя по стопам отца, она готовила себя к высокой орбите. Но если ее интерес к технике, к строительной площадке можно было назвать изначальным, то вкус к литературе, музыке, живописи привила ей мать. А как раз от этих высоких сфер он был далек, очень далек, и в целом, он чувствовал, ему не хватало общей культуры.

Он понял очень скоро, что она человек более тонкий, более возвышенный. Особенно изумлял его полет ее фантазии. Берегов она не знала. А он не умел отрываться от матушки-земли так естественно и непринужденно, как это делала она. Да, она была фантазерка, мечтательница, книжница, начетчица. Это в ней совмещалось занимательнейшим образом. Что-то, наверное, всегда заслоняло ее от реальной жизни. Он понял и другое: фундамент, на который опирался он, был более основательный.

Он вырос в другой среде, отец его всю жизнь управлял башенным краном, мать всегда была погружена в бухгалтерскую цифирь и над нею да над домашними заботами подняться не пыталась. Голуби, Комсомольское озеро, простые, как он, ребята, которыми он верховодил на правах сильного, борцовский ковер, а в промежутках между всем этим — так, между прочим, школа, которую он кончил без блеска, занятий никогда не пропускал, но и не усердствовал над домашними заданиями. Таким было его детство. Восемь лет из школьных десяти его семья строила свой дом — комнату за комнатой, из сырцового кирпича, но основательно, для себя. Было хроническое безденежье, семья месяцами сидела на хлебе и фруктах из своего сада, но все сложности, в конце концов, преодолевались, и дом принес семье много радостей. Пять лет назад, правда, с домом пришлось расстаться. Проектировщики провели через него трассу метрополитена, и глубокая траншея поглотила незатейливое глинобитное строение и прекрасные плодовые деревья. А хорошо, мирно, счастливо жилось в их доме. В июне — урюковый дождь, в августе — яблоневого, в октябре — ореховый...

Он понял, что должен приобщиться к ее интересам, должен понять; какие из ценностей сокровищницы мировой культуры оказали прямое влияние на ее характер и мировоззрение. Это требовало воли, энергии, упорства. Все это у него было в избытке. Значит, выкраивалось и время. Если свободного времени не оставалось, он отбирал часы у сна. Мало спать скоро стало его привычкой, нормой. Он больше читал, ходил в музеи, в концертный зал консерватории. И скоро увидел: ее интересы вполне могут быть и его интересами. Правда, воспринимал искусство он спокойно. Она восторгалась, рукоплескала, сопереживала глубоко, сама, как актриса, входила в образ. Он созерцал, ни на минуту не переставая быть самим собой. Сам процесс приобщения к ее

духовным ценностям ему нравился, как нравится все то, что обогащает, раздвигает горизонт. Но уже тогда его обижало, что к его ценностям — борцовскому ковру, например, живому общению с друзьями, когда звучит гитара и в стаканы может быть налит не только чай, — она равнодушна. Она же откровенно объясняла это тем, что человеку цельному не дано быть всеядным, что мир увлечений всегда ограничен, как и мир профессии. Чему-то отдается предпочтение перед всем остальным. «Как и кому-то отдается предпочтение перед остальными», — подумал он тогда. Ему еще не было отдано предпочтение.

Он шел к ней долго, очень долго, и все это были замечательные годы. Он жил полнокровно, он дерзал, и жизнь его была восхождением. Потом он ходил к Оле часто — и на хлопок, и после хлопка, и на новом хлопке, все четыре года совместной учебы. О чем они только не переговорили в тихие октябрьские вечера на берегу Баяутского канала! Но все это, как он теперь видел издали, было его вхождением в ее мир, встречающая же полоса оставалась свободной от движения. Она рассказала ему о многом. О Ван Гоге, чей гений стал понятен только людям следующих поколений, о Сергее Чекмареве и Павле Когане, стихи которых он не читал никогда, и о Якове Демченко, впервые обновившем возможность и выгодность обводнения Арало-Каспийской низменности с помощью переброски части стока великих сибирских рек Оби и Енисея, и об Усмани Юсупове, зачинателе знаменитых народных строек Узбекистана. Когда же он заявлял, что голодностепская земля, на которой они собирают хлопок, орошена недавно, что в погоне за дешевой освоения здесь многое делалось не так, как следовало бы делать, и им, наверное, придется все приводить в порядок, чтобы нормой стали не пятнадцатидесяти-, а тридцатидесятипроцентные урожаи хлопка-сырца, чтобы оазис стал похож на благодатнейшую Ферганскую долину, что соль — коварнейший враг этой земли, она отмалчивалась или отвечала односложно, незаинтересованно. Далекое влекло ее сильнее, близкое, от частого соприкосновения с ним, казалось обыденным. Он обижался — она не понимала его обид. В нем просыпался хозяин, она же предпочитала заоблачные выси. Он даже сказал как-то, что она, наверное, собирается орошать Марс, а не Голодную или Каршинскую степь.

Вскоре он понял: она запрограммирована на очень узкий диапазон частот и, как тонкий и точный прибор, могла работать только в этом отведенном ей диапазоне. Относительно же наводнения Арало-Каспийской низменности водами сибирских рек, без пользы для человека сбрасываемых в Северный Ледовитый океан, он не имел ничего против, он был целиком «за», но считал, что сначала надо навести жесткий порядок на уже освоенной земле, например, в баяутских совхозах, где соль наступала. То, что уже есть у нас, что уже наше, надо научиться использовать с наибольшей отдачей. А потом, накопив силы, став богаче, браться за решение глобальных проблем. Таких, как поворот в Среднюю Азию части стока Оби и Енисея.

«Как моя первая насосная», — вдруг подумал он. И явственно увидел глубокий котлован, арматурные каркасы, плотные, солнечной белизны бетонные блоки, длинные хоботы кранов, плывущую по небесной сини бадью с бетонной смесью. Услышал гул вибраторов, шипение электрической дуги. Он облазил котлован еще вчера, а за сутки что могло измениться? Но он привык ежедневно влиять на ход работ, и сейчас ему показалось, что в его отсутствие и сполохи электросварки не так полыхают в густой ткани армокаркасов, и погружные насосы ведут водоотлив с перебоями. Приказал себе не сомневаться, не беспокоиться. Грош цена ему как руководителю, если без него там все разладится. Он представил Толяшу Долгова, напористого, умеющего и потребовать, и обеспечить, и установить нуж-

ные контакты. И представил станцию через десять месяцев, когда два первых агрегата должны закрутиться и поднять сырдарьинскую воду на просторы Джизакской степи. Тысяч десять гектаров, конечно же, вспашут и засеют хлопчатником, и держись, Дима, попробуй не подай воду в срок! Хоть ведрами тогда натаскай ее, но полей хлопчатник. Усилили ли мосты, чтобы они выдержали трехсоттонный трансформатор? «Усилят, — сказал он себе, — еще есть время, распоряжения отданы, материалы заготовлены». Там — его люди, там будет порядок. Его люди — во всем, как он.

Память опять вернула его в институтские стены. На пятом курсе его и Олю уже считали женихом и невестой. Действительно, если бы он настоял тогда, они бы сыграли свадьбу. Но она, когда он заговорил об этом, проявила нерешительность, попросила дать время, чтобы подумать. А он считал, что не вправе оказывать на нее даже малейшее давление. Пусть думает, решает. Он распределился в Голодностепстрой, попал в прекрасный свой трест и впрягся, и потянул, и замескали дни, месяцы, годы. Темп жизни он выбрал бешеный.

Оля его не поняла. Она решила, что он поступился ее интересами, и расстояние между ними, почти исчезнувшее на пятом курсе, вновь стало заметным и осязательным. Ей казалось, что их пути расходятся. Оля готовила себя к научному поприщу, то есть к работе в одном из ташкентских проектных институтов о хорошей исследовательской базой: что же, теперь ей, как декабристке, следовать за ним, заниматься делом, совершенно не отвечающим ее наклонностям?

— Мне не нужно, чтобы мой муж наезжал ко мне по воскресеньям, — объявила она. — Мне нужна прочная, нормальная семья, и ты это знаешь.

Он чувствовал, что обидел ее. Его доводы почти не действовали. Но мог ли он, комсомольский вожак, агитировавший сокурсников идти на передний край жизни, спрятаться в городе, сесть за широкий конторский стол? Позволить себе это было никак нельзя, да ему и претила сидячая работа. Итак, между ними вдруг легла трещина, глубокая, серьезно его беспокоившая.

Долгое время она встречала его так, как будто он предал ее. Она была исключительно вежлива, но холодна, как высокогорный ледник. Он осыпал ее градом голодностепских новостей, она воспринимала их более чем спокойно. Он баловал ее подарками, прорабская зарплата позволяла шиковать. Она принимала их так же спокойно, как и его новости. Тогда он спросил себя, прав ли он. И сделал то, что давно следовало сделать, — попробовал поставить себя на ее место. Многое тут ему открылось. Он увидел, что может быть черствым, что близкие ему люди, которые думают и поступают не так, как думает и поступает он, задают ему неразрешимые задачи. Право на индивидуальность, однако, есть у каждого. Было оно и у Оли. И, спросив себя, прав ли он, спросив себя не со своих, а с ее позиций, он вынужден был отметить, что принял решение своевольно, не посоветовавшись с ней. Конечно, он сам хозяин своей судьбы, но речь шла и о ее судьбе.

Через год она устроилась работать в гидравлическую лабораторию Среднеазиатского отделения института «Гидропроект» имени С. Я. Жука и очень скоро показала себя вдумчивым, толковым, талантливым экспериментатором. Уже через полгода одно из ее предложений, проверенное на модели, позволило сократить размеры водобойного колодца крупного Дангаринского туннеля на реке Вахш. Объемы работ уменьшались на 23 тысячи кубометров туннельной выломки и на 11 тысяч кубометров бетонной кладки. Оля сообщила ему об этом, лицо ее сияло. Не он один обжигал горшки в своей изжаренной солнцем Голодной степи. Не он один шел в авангарде строителей нового общества, расширяя материально-техническую базу раз-

витого социализма. Ориентировочно она сэкономила миллиона полтора. Даже если ей ничего больше не дано свершить, одного этого достаточно, чтобы считать: жизнь прожита не напрасно.

Он порывисто обнял ее, расцеловал. Впервые за последние месяцы она не отстранилась. Самому ему не было дано быть научным работником, но он боготворил людей талантливых, прозорливых, приносящих обществу что-то большое на кончике пера. Он боготворил ученых, изобретателей. Эти люди могли работать по большому счету. Требовательные, они были щедры и на отдачу. К славному племени этих людей принадлежала и Оля, Ольга Тихоновна, его Ольга Тихоновна. К этому времени и на его счету уже было три рационализаторских предложения, внедрение которых облегчило монтаж лотковой оросительной сети. Он разработал прокладку из порозолового жгута, делавшую стыки лотков почти полностью водонепроницаемыми. Затем предложил один конец лотка делать раструбным, а из конструкции опоры исключить седло. И поворотные колодцы по его предложению стали собирать не из отдельных блоков (их стыки текли, как решето), а формировать целиком, как одну объемную конструкцию. Все это были серьезные предложения с хорошим экономическим эффектом. Но перед Олиными полтора миллионами они выглядели мелко, и он прямо сказал ей об этом. И еще сказал, что видит: ее место там, где ее призвание.

— Много же воды утекло, пока ты понял это, — сказала она. — Какой же ты долгодум! Что изменилось бы, если бы ты устроился прорабом здесь, в Ташкенте?

Она пыталась перетянуть его в Ташкент, но он не умел оставлять однажды начатое дело. Прикипал душой к людям и месту. Кошачьей привязанностью к месту назвала она эту черту его характера, но все обстояло, конечно, сложнее. Якорь оказался слишком тяжелым, чтобы выбрать его, а канат — слишком прочным, чтобы перерубить.

Годы, когда он работал в Чиройли Ере, а она — в своей лаборатории, были непростыми, совсем непростыми. Наконец, девять лет дружбы, как она называла их встречи, убедили ее, что он, Дмитрий Павлович Голубев, лучший.

Медовый месяц они провели на борту волжского теплохода «В. Г. Белинский», совершавшего туристический рейс Москва — Астрахань — Москва. И он настоял, чтобы она жила с ним в Чиройли Ере. Защитив кандидатскую диссертацию, она уволилась из своей лаборатории, переехала к мужу и возглавила технический отдел в одном из строительных управлений. Тогда же она поставила условие: через два года он должен вернуться в Ташкент. Два года показались ему огромным сроком, в течение которого все образуется само, к взаимному удовлетворению. И он охотно дал слово...

IV.

... Бывает ли здесь жарко? В Чиройли Ере солнце всепроникающее. Если оно не жалит лучами-стрелами, то раскаляет воздух, и даже в помещении становится невмоготу. Здесь в разгар лета солнце тоже старалось вовсю, а море укрощало, смягчало его, и чиройлиерского пекла не было и в помине. Спокойное солнце, мягкое, вольготное тепло. И ветер с моря, и гулкие кроны деревьев, преграждающие ему путь, и настоенная на хвое прохладная тень. Мы наплавались и загорали на горячих камнях. И если солнце припекало один бок, подставляли ему другой: и со спокойным солнцем шутки плохи. Мы не северяне и прилетели сюда не за загаром. Странно было никуда не торопиться, не бросаться к телефону. Если я остро чувствовала всю необычность крутого поворота от работы-гонки к блаженной неспеш-

ности отдыха, то каково было Дмитрию! Пока ему нравилось. Но скоро он забеспокоится, заворчит, заспешит в свой Чиройли Ер, ему захочется пекла, и пыли, и хаоса, из которых он созидает порядок.

Сын наш семенил к морю, плюхался в теплое мелководье, молотил ладошками по воде, и набегавшая волна выталкивала его на гальку. Блаженство разливалось по его милой мордашке.

— Папа, как я ныряю?— вопрошал он.— Папа, как я плаваю?

— Молодец, блин горелый!— громко выдавал ему отец.— Давай-давай, резвись!

Этого парень и добивался. Чтобы взрослые не вмешивались в то, что он делал и что ему нравилось делать. Не запрещали, не понукали, не воспитывали. Он вел себя совсем как молодой специалист, начавший работать самостоятельно.

Дмитрий посмотрел на меня и подмигнул. Я кивнула, и он еще раз подмигнул.

— Ночью, когда ты спала, я думал о тебе,— сказал он.— Вспомнил, какими мы были раньше. Помнишь тот хлопок, когда я в первый раз подошел к тебе? «Вы не наш?»— спросила ты. «Ваш, девушка»,— сказал я. Имеешь ли что-либо возразить? Если объективно исходить из того, как сложились наши судьбы, я оказался прав.

— У тебя прямо дар предвидения.

Его слова, однако, приятно взволновали меня.

— По волнам моей памяти,— продолжила я.— Польщена. Не под влиянием музыки Давида Тухманова?

Он шлепнул меня. Чтобы не паясничала. «Знаешь, приятно было вспомнить. Я как бы все это пережил заново. Весь свой путь к тебе. Как я приходил к тебе, а ты была очень далека, потом — просто далека, потом — чуть-чуть ближе, чем прежде, но все равно далека. Я вспомнил все девять лет, которые шел к тебе».

Я хотела сказать, что наконец-то потеснила своей скромной осой кубометры уложенной бетонной смеси, число смонтированных за день лотков и другую нудную цифирь суточной отчетности его треста. Но промолчала. Я подумала: «Есть ли еще на этом плотно заселенном пляже мужчина, который шел бы к своей избраннице девять лет? Пусть пять лет. Пусть — три года. Такое в нашей скоротечной жизни перестало встречаться. А отдельные, редкие очень, исключения вызывали не благоговейное изумление, а недоумение, даже протест, как отклонение от нормы.

— Я была слишком строга к тебе,— сказала я.

— Ты была, как высочайшая горная вершина — сиятельно-бела, холодна, надменна, неприступна.

— Но нет крепостей, которые ты не мог бы взять?— подсказала я.— Это имелось в виду?

— Вот именно! Вообще, ты научила меня быть аналитиком, спасибо тебе. Не спешить, взвесить еще и еще раз, наметить стержень, боковые ветви...

— Что ж, твои достоинства с каждым годом становились все полновеснее. Получается, что я пеклась о твоём росте, играла, как теперь говорят, роль мудрого наставника. И готова выслушать, пусть с опозданием, все то, что благодарный ученик в таких случаях высказывает своему учителю.

— О-о-о!— зарокотал он.— Признателен, тысячу раз признателен! Глубоко признателен, никогда не уставал повторять это и повторю в тысячу первый раз: ты заставила меня стать выше и лучше самого себя, дорога к тебе для меня была непрерывным восхождением. И за все эти девять лет у меня не было ни одного романа. Я не собираюсь оттенять этим цельность своей природы и все такое. Были силы, пытавшиеся отклонить меня от избранного пути,— я остался непреклонен.

— Я могла выйти только за однолюба, донжуаны хороши на страницах романов и в кино. Ты мне долго не нравился,— сказала я.— Но ты всегда оказывался лучше тех, кто мне нравился. Чепуха, говорила я себе, что это за глупости, так не бывает. То, что я пыталась найти за тридцать земель, уже было со мной. Но я увидела это поздно.

— Знаешь, что меня всегда поддерживало? Уверенность, что ты меня не отвергнешь.

— Спасибо,— поблагодарила я. И не сказала, что долгое время для такой уверенности не было оснований.— Вот так, блин горелый. — Я с удовольствием употребила его любимое выражение.

V.

Полчаса в море — потом завтрак на берегу. И громкий вопрос Дмитрия: «Кто хочет пойти в путешествие?»

— Я!— крикнул Петик.

— И я.

— Построились!— скомандовал глава семьи.— Подравнялись! Рубашку заправили в штаны! Вытерли под носом! Шагом марш!

Наш путь лежал через заповедный лес к белокаменной церкви, примостившейся на скальном уступе, к Байдарским воротам, поставленным на перевале на старой ялтинско-севастопольской дороге, к зеленому плоскогорью, начинавшемуся по ту сторону водораздела.

Тропа вела нас вверх, и через полчаса мы пересекли севастопольскую магистраль. Дальше склон густо порос мелколесьем. Эти леса, наверное, имели водоохранное значение и защищали склон от эрозии. И человек следил за ними и восстанавливал их. Подъем был довольно крутой, и мы часто переходили на тропу, которая штурмовала склон не в лоб, а вилась серпантинами. Мелколесье давало тень, но прохлады не было.

— Божия коровка! Божия коровка!— заголосил Петяк. И полились вопросы, порожденные нескончаемой ребячьей любознательностью.

— А муравьи хорошие?

— Хорошие, они очищают лес от мусора.

— А гусеницы хорошие? Бабочки хорошие?

Я пыталась объяснить ему, что одни животные и насекомые полезны человеку, другие причиняют ему вред. Сами же по себе представители животного мира не могут быть ни хорошими, ни плохими. Он слушал внимательно и пытался понять. Не понял и счел нужным переменить тему.

— Папа, дядя-штангист поднимет этот камень?— Он показал на обломок скалы объемом более кубометра.

— Нет. Этот валун его раздавит.

— А ты поднимешь?

Отцу, значит, он отдавал предпочтение перед всемогущим дядей-штангистом. Правильно, мальчик!

— Я тоже не смогу. Посмотри, какой камень гладкий, не за что ухватиться.

— Папа, кто сильнее, я или кит?

— Кит большой, как дом, он сильнее.

— А акула может победить кита?

— Нет.

— А подводная лодка может кита потопить?

— Подводные лодки не воюют с китами.

— Мама, чтобы стать хорошим милиционером, я должен очень любить тебя?

— Конечно.

— Папа, понеси меня.

— Это что за новости?— запротестовала я.— Как же ты станешь сильным, тем более милиционером?

— Мне по горе трудно идти, у меня ноги скользкие.

Церковь приблизилась и теперь нависала над нами. Не во всех оконных проемах были рамы.

— Привал!— скомандовал Дмитрий.— Команда разуться и пить пепси-колу!

Я села на высокую траву. Прекрасно было в этом густом лесу. Безлюдно, тихо, но не сумрачно, светло. Если бы еще разрешалось запалить костер! Нет, просто я слишком много хочу. Взору открылись морские дали. Пять или шесть судов плыли к неведомым причалам. А одно — наверное, военный корабль — шло быстро-быстро, так быстро, что другие, намного превосходящие его размерами, казались, стояли на месте.

— Ты видела лесонасаждения за правой дамбой Южного Голоднестепского канала?— спросил Дмитрий.— Они помощнее этих лесов. Какие там тополя, какие ясени! И птиц в них поболее.

Его местный патриотизм был неискореним. Он готов был бесконечно восхищаться всем тем, к чему имел хоть малейшее личное отношение. Впрочем, а как же иначе? Места, где мы родились, выросли, дороги нам вдовсе не тем, что они лучше других, этого-то как раз чаще всего и нет. Они дороги нам глубокими корнями памяти. Сама матушка-земля всегда начинается с места, где человек родился и вырос. Она и разрастается в необъятный земной шар тем быстрее, чем более прочные корни пустишь ты в родном городе или селе.

Отдыхавшись, мы возобновили восхождение и вскоре стояли на площади перед церковью. Миниатюрным зданием казалось только издали. Вблизи оно впечатляло совершенными пропорциями и монументальностью, хотя и оставалось небольшим по размерам сооружением. Совершенство человеческого тела — это ведь, прежде всего, совершенство пропорций. Так было и с этой церковью. Неухоженность здания, однако, была в глаза. Росписи потускнели, поистлели. Я заглянула в черный оконный проем. Из пустого помещения дохнуло сыростью, затхлостью. Я отпрянула. Скверно, когда мы вот так бросаем на произвол судьбы памятники архитектуры. Тут я увидела привинченную к стене табличку, на которой свежей краской было написано, что объект охраняется государством. Чем так охранять, лучше вообще не охранять и табличку снять. В Самарканде и Бухаре памятники зодчества действительно охранялись. Я сказала об этом Дмитрию.

Дмитрий рассеянно кивнул. Он-то прекрасно знал судьбу бесхозного имущества. Металл становился металлоломом, дерево — гнилой трухой. «Пошли отсюда»,— наконец сказал он. «Это не наш стиль работы»,— наставительно сказала я. Он смерил меня взглядом, расшифровать который не составляло труда: «Много ты понимаешь! Все наши беды от миндальничания, от того, что мы слишком поздно разрешаем себе власть употребить, уговариваем, воспитываем и разъясняем, когда надо с работы снимать и наказывать». Сам он не останавливался перед крутыми решениями и не сожалел потом ни об одном из них. Своевременное хирургическое вмешательство всегда на пользу организму. «Есть терапия,— говорил он, — а есть хирургия. И медицина одинаково нуждается и в той, и в другой. Вместе же они составляют могучий арсенал исцеления».

От церкви мы направились вверх по асфальтированной дороге. Петя мужественно вышагивал рядом с отцом. На перевале, у Байдарских ворот, стояла харчевня, стилизованная под крестьянское бревенчатое строение. Островерхие шалаши с колодами-столами также, по



замыслу общепитовцев, должны были привлекать путников. Но официантам, наверное, лень было совершать дальние рейсы, и эти нехитрые сооружения пустовали. В самой же харчевне мы с трудом разыскали свободные места.

— Пьем только пепси-колу, — объявила я.

Все пили сухое вино или водку, а мы пили пепси-колу и ели прекрасную фирменную баранину.

— Терем-теремок, кто в тереме живет? — спросила я у Пети.

— Мама, это и есть теремок?

— Это настоящий терем. Видишь, какие толстые бревна уложены в стены. Медведь их никогда не разломает.

— А волк?

— Тем более.

— А баба-яга?

Я ответила уклончиво. Высокая концентрация сил зла заставляла считаться с бабой-ягой.

Потом мы отошли от перевала километра на два, набрали на березовую рошу и легли прямо на траву. В кронах шумел ветер, листья трепетали, свет и солнце были щедро разлиты по роще, белые стволы умиляли. Жизнь была хороша, так хороша, что я подумала: «Нет, не может у человека все быть вот так хорошо, беда уже притаилась рядом, как ночной грабитель, и обрушится мощно, неотвратимо и зачеркнет эти чудесные часы». Нет, ничто в жизни не зачеркивается, просто одно уступает место другому, а книга памяти — надежнейшая из книг, и хочешь в ней что-нибудь зачеркнуть, выбросить страницу-другую, а не получается, никому не дано этого.

Мы поднялись, наверное, метров на восемьсот-девятьсот, и высота ощущалась, как простор, как увеличившийся поток света, как обнаженность пространства на многие километры вокруг. Мы слушали природу. Березовая роща вмещала в себя целый мир. Мы растворялись в нем. Лес, трава, ветер, лето. Казалось бы, что может быть естественнее близости человека к ним? А мы отделили и отдалили себя от них и теперь, очутившись в их объятиях, изумляемся их первозданной стати, их красоте, их целебной силе.

Я вспомнила «Березовую рошу» Куинджи, полотно, удивительное по передаче летнего света, летнего радостного потока жизни. Эта картина в Третьяковке потрясла меня. Березовая роща, которая шумела вокруг меня, ничем не отличалась от березовой рощи Куинджи.

Тишина была долгой-долгой, такой долгой, что казалось — не кончится никогда. Петик спал на пиджаке Димы. Солнце медленно клонилось к закату. Когда Петик проснулся, тишина кончилась. Он заерзал, забегал, как заведенный. Он бегал между белых плотных стволов берез и заливался смехом, как колокольчик. Избыток веселых ребячьих сил бил через край. Он падал с разбега на траву, кувыркался. Теперь он был в своей стихии. Неугомонный чертенок, придумывающий себе все новые игры. Я любила его безумно. Страшно хотелось схватить его, прижать к груди, заласкать. Но этого я не могла себе позволить. Я воспитывала не маменькиного сыночка, а человека рационально мыслящего, которому в жизни придется черпать вдохновение и силы из багажа, сложившегося и в эти непоседливые и милые годы. Наконец отец изловил сорванца и водрузил себе на плечо.

— Будем спускаться!

Спуск занял около часа. Лес стоял черной непроницаемой стеной. Взошла луна. Мы прекрасно ориентировались, но простора вокруг уже не было, ночь скрадывала пространство.

VI.

В Чиройли Ере Дмитрия Павловича связали бы с Форосом за несколько минут. В Форосе ему дали Чиройли Ер через сутки. Сабит Тураевич Курбанов, секретарь партийного комитета его треста, был на посту и трубку взял сразу. И зарокотали сильные мужские голоса.

— Сабит Тураевич, Голубев рад приветствовать вас! Как здоровье ваше, есть порох в пороховнице?

— О, родной голос! Дима, дорогой, здравствуй! У меня все в порядке, и у нас все в порядке. Годы, правда, дают, проклятые, но плечи у меня, сам знаешь, крепкие. Как супруга, сын? Как море?

— Лучше не бывает.

— Мне бы твои сорок лет, я бы навел шорох на тамошнем пляже!

— Сабит Тураевич, какая-нибудь четверть века разницы, о чем разговор! Ваше юношеское восприятие жизни позволяет и возраст ваш считать комсомольским.

— А думаешь, я по-другому думаю? Я думаю точно так же!

— За что и люблю вас, Сабит Тураевич!

— Как, восточный этикет мы соблюдали?— Курбанов раскатисто рассмеялся.— Теперь выкладывай, в связи с чем осчастливил меня своим звонком.

— Новости ваши мне интересны, Сабит Тураевич. О лотковниках не спрашиваю, у них конвейер отлажен отменно. Как бетон укладывается на насосной?

— Последняя пятидневка — четыреста семь кубометров.

— А предыдущая дала четыреста двадцать три! Садитесь, братцы, а надо восходить.

— Лес да сталь держат, плотники и арматурщики на голодном пайке.

— Шестьдесят тонн Челябинск же давно отгрузил!

— Да мы еще не получили. И потом, капля это. На один зуб.

— Долгову, пожалуйста, капните керосинчику на его длинные волосы. Крутиться, крутиться, мол, надо!

— Подбодрю мужичка.

— Когда ждете трансформатор?

— Запорожье отгрузило две недели назад. Хаваст готов принять.

— Вы тоже готовы?

— Все три моста усилили двутаврами. По нашей телеграмме Нурек вышлет спецтрайлер, как договаривались.

— Скорее бы. Пока эта деточка трехсоттонная в пути, мне неспокойно.

— А нам, думаешь, спокойно? Нам тоже неспокойно. Чмокнется где-нибудь деточка, и на пуске первых насосов в будущем году крест можно ставить.

— Как Южный Голодностепстрой расширяете?

— Тут сложности прежние. Вышли на министров. Но и те не желают быть самостоятельными. Ждут указаний. Только железнодорожники выразили готовность сотрудничать.

— Теперь расскажите о Кариме. К нему ездили?

— Я сам ездил, дело-то человеческое. Он в прекрасной палате. А вот оба легких затемнены. То, что он был настоящий богатырь, сослужило плохую службу. Он слишком поздно почувствовал недомогание. Девяносто процентов легких — это уже опухоль. Не какая-нибудь горошина. Знаешь, как он дышит?

— Тяжело слышать. Сколько совхозов мы построили вместе! Где я возьму такого главного инженера?

— А я где найду такого коммуниста? В хорошем саду таких деревьев — одно, два, больше не бывает.

— Он сам... догадывается?

— Уверен, что у него плеврит, к которому никак не подберут антибиотики.

— Вы держите его в курсе всех трестовских дел. И чаще спрашивайте совета. Надо ли, не надо — а вы спрашивайте. Пусть знает, что мы со дня на день ждем его возвращения в строй. Крепко вас обнимаю, Сабит Тураевич!

— И я крепко тебя обнимаю, Дима. И тебе мой наказ: удели первостепенное внимание прелестям Южного берега Крыма. Вот что: нырни-ка ты в Бахчисарай. Не пожалей.

Дмитрий Павлович немного постоял, собираясь с мыслями. Укладку бетонной смеси можно ускорить, и расширение Южного Голодностепского канала можно ускорить, это все в руках человеческих, то есть в его, Голубева, руках. Но то, что ташкентские медики подтвердили предварительный тревожный диагноз, поставленный Кариму Иргашеву, способному тридцатитрехлетнему никогда не жалевшему себя в работе инженеру, очень его расстроило. Здесь контроль над ситуацией ускользал из его рук. Вмешаться продуктивно он не мог, и никто, наверное, уже не мог помочь. Ощутить бессилие и было тяжелее всего. Дмитрий Павлович вспомнил, как мучительно умирал от рака крови его школьный товарищ. Тогда известный профессор, продливший больному жизнь на три года, в ответ на вопрос: «Неужели ничем нельзя помочь?» — сказал: «Науке известны четыре случая выздоровления больных, оказавшихся в таком состоянии, но объяснить их она не сумела». Бывают, мол, чудеса, но их вероятность низка чрезвычайно. Что может быть горше безысходности? Он останется жить, а для его друга и соратника все погаснет. Да, жизнь строго избирательна и тогда, когда щедро несет свои радости, и тогда, когда обрушивает свои беды.

Потом он представил Сабита Тураевича, только что положившего трубку на рычаг телефонного аппарата, и улыбнулся. Он как бы видел массивную фигуру Курбанова, средоточие силы, сгусток энергии. И словно ощутил на себе его умный, пронизательный взгляд. Человеку семьдесят два, но ни о каком отдыхе он и слышать не хочет. Слишком много впереди этого заслуженного отдыха, бесконечно много. Сабит Тураевич, как и сам Дмитрий Павлович, был боец. И когда они вместе, сообща брались за дело, то представляли собой таран большой мощи. И многим покойно жилось за их широкими, крепкими спинами.

Внизу его ждали Ольга и Петик.

— Ну, как, полегчало? — спросила Оля.

— Все-то ты про меня знаешь. Карим, Олечка, плох.

Он сказал это с тоской, и она все поняла и внутренне подобралась.

VII.

Мы присоединились к санаторной экскурсии. Автобус мчался в Бахчисарай. Земли легендарной Таврии открывали нам свои красоты. Леса стояли темные, плотные, как монолит. Пригороды Севастополя, краешек Северной бухты, Сапун-гора, невысокие холмы вокруг этого города давали воображению богатейшую пищу. Я представила вражескую силу, пришедшую с запада, и нашу силу, огонь столкновений. Их нашествие тут увязло, сила, толкавшая фашистов вперед, надломилась. А мы, не сумевшие удержать Крым в сорок первом, освоили суровую науку войны и через три года вышибли отсюда врага.

Я вспомнила картину Дейнеки «Севастополь» — штыковую атаку моряков, их холодную, святую ярость. Их непреклонность. Это была ярость, ненависть и непреклонность народа, гибельная для врага. Я

жадно всматривалась в пригородные кварталы Севастополя, города-крепости, открывшиеся с обводного шоссе, но видела обыкновенные дома, обыкновенные улицы, обычных людей. И я поняла: здесь надо не столько смотреть, сколько думать, вспоминать, сопоставлять. Здесь надо осмысливать историю.

За Севастополем начался подъем. Пологие холмы сопровождали автостраду. Они были изрыты воронками, которые время превратило в безобидные ямки. Виноградные лозы, табак, яблоневые, грушевые, черешневые сады избегали на холмы, и им не было конца. Все это были ухоженные плантации. Потом я увидела новый город: Двенадцати- и девятиэтажные дома стояли у дороги вольготно, непринужденно, как юноши, замершие на бегу. За ними так же свободно стояли пятиэтажные дома.

— Бахчисарай,— объявил экскурсовод.

Город стремился вырваться и вырвался-таки из ущелья на равнину, здесь ему было хорошо, здесь горы не сдавливали ему бока. Это был современный симпатичный город, европейский, не азиатский. «Про новый Ташкент тоже можно сказать, что это европейский город, грузовики вывезли на свалку колоритную Азию вместе с остатками сырцовых стен», — подумала я. Но это было не совсем верно. Влияние традиций сохранялось, проследить преемственность не составляло труда.

— Здесь когда-то мой батя хаживал,— сказал Дима.— Конiec двадцатых годов, даль несусветная! Он был тогда моложе меня.

— Красив, силен, свободен, неотразим,— подтвердила я.

Павел Кузьмич иногда рассказывал, как он начинал здесь свою трудовую жизнь. Где-то тут в одном из ущелий за Бахчисараем стоят его плотники — две удачные, за которыми плещется вода, а третья неудачная, вода вся ушла по карстовым пещерам. Татары из окрестных аулов съезжались посмотреть на «палван-машину», которой он управлял.

— Отец любил французскую борьбу и боролся на татарских свадьбах,— сказал Дмитрий.— Коронным его приемом был «тур де бра» — бросок через бедро. Он проводил его так филигранно, что, бывало, поверженные сильные борцы плакали. Один все добивался: «Покажи этот прием, научи!» Отец показывал, а татарин не верил, что все так просто, что мастер может открыть свои секреты.

— И призы получал отец?

— Получал. Но самый почетный приз вручали сильнейшему борцу-тяжеловесу, даже если тот не боролся, не доходила очередь. То, что сильнейшему не было соперника, только подчеркивало его громкие титулы.

— Это отец обучил тебя приемам французской борьбы?

— Классической борьбы. Кое-что он показал, но куда больше повлияли на меня его рассказы. Как он боролся с рослым и сильным соперником, подводил его к бугорку, бросал через бедро и припечатывал к земле на обе лопатки. Это всегда были вдохновенные рассказы. Отец увлекался, к нему словно возвращалась молодость.

Новый Бахчисарай кончился. Мы пересекли свободное пространство, дорога разветвилась, и та, на которую мы свернули, стала втягиваться в долину, быстро сузившуюся до ущелья. Тут дорогу и обступили домики старого Бахчисарая, бывшего некогда столицей грозного ханства. Глинобитные хижины лепились друг к другу, и только знаменитый ханский дворец стоял свободно, взметнув к теплому небу кирпичную вязь своих минаретов. Оглядев дворец и не увидев в нем ничего выдающегося, я поняла: знаменит он более всего тем, что наш бессмертный поэт развернул в его покоях действие одной из своих поэм. И паломничество туристов было паломничеством к Пушкину.

Мы дождались своей очереди и медленно обошли дворец. Чужая,

далекая, не во всем понятная жизнь открылась нам, и чужая роскошь, и неумение этой роскошью пользоваться. Из объяснений экскурсовода я запомнила только, что ни одна из пленниц татарских ханов из дворца никогда не убегала. Девушки смирялись со своей участью, и если их судьба была услаждать хана, они его услаждали. Все трагедии, разыгрывавшиеся здесь, были трагедиями безысходности.

А знаменитый настенный фонтан высачивал, капля за каплей, слезы скорби. Эти слезы и были ответом на вопрос о том, что значили для пленниц ханская любовь и расположение. «Как дико все это», — подумала я.

Миниатюрный высачивающий слезы фонтан опять-таки просуществовал до наших дней благодаря могучей пушкинской музе.

У меня было такое ощущение, словно я побывала в другом мире, люди которого только внешнестью походили на людей нашего времени. А то, как эти люди вели себя, как чувствовали, что знали, что умели, было далеко от нынешних возможностей человека, от нынешних норм морали. Однако те времена от семидесятых годов двадцатого века отделяло не столь уж большое расстояние. И то, как быстро это расстояние было преодолено человеком, с какой жадностью и энергией он расширял свое влияние на мать-природу, возвышая себя, утверждая себя над прочим живым, да и не только живым, миром, вызывало изумление и восхищение.

От ханского дворца наш путь лежал в горы, в причудливый каньон, по дну которого струился мутный ручей. Отвесные, изрытые ветром борта каньона являли собой внушительное зрелище. Деревья боролись за каждый метр пространства, и только голые отвесные стены ущелья не оставляли им никакого шанса выжить. Мы углублялись в ущелье по широкому тротуару. Жадно озирались. Старались запомнить многообразие красок, вобрать в себя красоту места. Вдруг нам открылся монастырь, вернее, — развалины некогда внушительного культового сооружения. Землетрясение в прошлом веке нанесло ему удар, от которого он уже не оправился. Фасад рухнул, развалины разобрали на кирпичи. А стена, опиравшаяся о борт ущелья и поднимавшаяся с ним вместе, сохранилась вместе с росписью. На нас смотрели надменные лики святых. Живописцу удалось передать смирение и непомерное честолюбие. Человеческая натура все это вмещала в себя и, я знала, могла вместить еще многое другое. Шкала была невероятно многообразна: минус бесконечность — плюс бесконечность, бездны порока и звездные выси гуманистов. Общение с богом всегда обставилось торжественно. Высшая сила могла и покарать, но могла и внушить и нечто неожиданное, что потом называли озарением или ясновидением. Но у всех храмов мира назначение одно — быть золотыми наручниками. Наручники эти надевались на идеи. Думать, решать, быть провидцем и вершителем судеб мог только Он, удел паствы — не думать, а следовать.

По витой каменной лестнице мы поднялись в кельи, вырубленные в скалах, в холодном камне. Узкие стрельчатые окна, высота, прочные запоры, наверно, позволяли переждать короткий набег. Но этот христианский монастырь иноверцы, скорее всего, тревожили мало, у них ведь была возможность не оставить здесь камня на камне, но они ею не воспользовались. Наверное, монастырь выполнял и какие-то посреднические, торговые функции. Кельи были мрачные, в них никогда не заглядывало солнце. Здесь люди бесконечно смиряли себя, чтобы остаться наедине с богом. Но открывалось ли им божественное? Не беру на себя смелость сказать: «Нет». Скажу: «Едва ли». Жизнь проходила в ожидании, в приближении к зыбкой цели, в постижении непостижимого. Жизнь проходила без пользы, и следующему поколению не было на что опереться. Так продолжалось долго.

За монастырем ущелье повернуло налево, лес сомкнулся, потом разомкнулся, мшистые орешины и тополя уступили место веселому подлеску. Стало видно, что ущелье скоро кончится. Тропа запетляла серпантинами, ткнулась в крепостную, выложенную из тесаного камня стену, нырнула в дверной проем и размазалась в каменистом дворике. Борт ущелья здесь был покрыт правильными рядами оконных глазниц. Пещерный город смотрел на нас давно погасшими печальными глазами. Дальше, на самом верху, на неприступной скале, когда-то стояли жилища и храмы и жило десять-двенадцать тысяч человек. Они могли обороняться от вражеских орд год-другой. Вода здесь была, и продолжительность осады определялась запасами продовольствия. Мы поднялись наверх, на водораздел. Ровное пространство сплошь покрывали развалины и кусты кизила. Через двести метров начиналось новое ущелье, параллельное тому, по которому мы пришли. Напасть на город можно было, лишь продвигаясь с предосторожностями по хребту. Но тут город защищала мощная стена с тремя башнями. Враги преодолели ее лишь однажды. Но этого оказалось достаточно, чтобы превратить город в руины.

С самой высокой точки хребта открывалась вся горная страна. С нашим Тянь-Шанем она не шла в сравнение. Но даже кусочек, краешек моря увидеть отсюда было нельзя.

VIII.

Мы досыта наплавались, и на берегу Дима сказал: «Великое кручение ждет меня в Чиройли Ере. Карусель подана!» Он все время возвращался мыслью к пуску двух насосов в мае—июне будущего года. Он уже соразмерял свою жизнь с ритмом работы, который бы обеспечивал пуск. Иного и быть не могло. То, чем ему вновь предстояло руководить после отпуска, было не только большой работой, но и сражением. Склонить чашу весов в его пользу могли, однако, не смелость, быстрота и натиск, очень важные сами по себе, а четкая, строгая, умная, отвечающая темпу времени постановка дела.

Сейчас строители осваивали средства, отчитывались за объемы выполненных работ. Гнали и гнали вал. Следовало же найти и применить другие критерии, способные придать строительному процессу новое ускорение, стимулировать ввод объектов в эксплуатацию в заданные сроки и даже раньше их, улучшить материально-техническое обеспечение строек, поставить дело так, чтобы строители отчитывались за конечный результат. Тут Дима со мной соглашался, тут единение взглядов у нас было полное. Он сам говорил, что никто лучше самих строителей не знал, что выполнить работ на один миллион рублей или ввести в эксплуатацию объект стоимостью в миллион рублей далеко не одно и то же, второе сложнее во много раз.

В какой-то мере растекание вширь в «Голодностепстрое» было преодолено, за строительным валом мы не гнались столь откровенно, как другие. Вал не довлел над нами. Но мы гнались за вводом орошаемых земель. По идее, мы должны были вводить новые целинные совхозы с комплексно-готовыми поселками, с ирригационной и мелиоративной сетью, со всем, что нужно для высокопроизводительного труда и культурного досуга. Но в первую очередь мы вводили в сельскохозяйственный оборот новые земли, а со всем остальным не спешили. И на землях, которые Дмитрий напоит водой своих первых насосов, еще не будет ни добротных поселков, ни животноводческих комплексов. В лучшем случае — будут полевые станы для выездных бригад. Тем не менее срок подачи воды вышележащим массивам назначен, монтаж лотковых оросителей и закрытых дрен развернулся, наступление на Джизакскую целину ширится, и пусковые объекты товарищу

Голубеву надо будет непременно сдать в срок. Особенно те, по которым пойдет вода.

— У меня есть два предложения относительно твоей насосной.

— Интересно.

— Первое касается только тебя как руководителя. Помнишь, как долго ты не мог избавиться от привычки лично встречать каждый автокран, каждую машину, возвращающуюся вечером в гараж? Ты стоял у ворот и ждал, и уходил только после того, как приезжала последняя машина.

— Это была не привычка, а потребность. Я обязан знать, все ли мои люди благополучно закончили трудовой день. Если я этого не знал, мне не спалось.

— Но это обязанность завгара, и незачем дублировать человека компетентного и несущего ответственность за свое хозяйство. Когда ты это понял, когда ты постиг, что нельзя, более того — вредно, всюду бросаться самому, что всех амбразур никогда одной грудью не закроешь, а подчиненные тоже не лыком шиты, ты как руководитель вырос, поднялся на следующую ступень, и дела у тебя пошли лучше. Ты их грамотнее вести стал.

— Научная постановка дела — великая вещь! Ты научила меня полагаться на подчиненных, доверять им и спрашивать исполнение. Психологически разделить ответственность с подчиненными было совсем не легко. Господи, у меня чуть раздвоение личности не началось!

— И, заметь, только после этого в твоём управлении воцарился порядок, — сказала я, не принимая его шутливого тона. — Когда ты за все брался сам, тебе не хватало пятнадцатичасового рабочего дня. Когда ты с каждого начальника участка, с каждого прораба, как и следует, стал спрашивать его часть дела, когда ты каждому начальнику участка и прорабу дал почувствовать себя хозяином на участке, ты стал укладываться в восемь-девять часов. Тогда текучка отделилась от тебя, и ты смог охватить взором стройку в целом, вникнуть в ее проблемы, задуматься над перспективами. Тогда, и обрати на это особое внимание, ты получил возможность вспомнить, что у тебя есть семья.

— Вот чем были продиктованы твои трогательные заботы!

— Поручи, и обеспечь всем необходимым, и проконтролируй, и помоги, если надо, — это азбука! Но не взваливай все на свои плечи, это не в силах человека. Когда ты по-настоящему оперся на подчиненных, у тебя высвободилось время, и ты задумался над перспективой. Ты пришел к хорошей идее организовать конвейер на монтаже лотков. Ты обстоятельнейшим образом продумал все операции — и транспортировку, и разгрузку вдоль трассы, и штамповку котлованов под опоры, и сам монтаж. Рассчитал, сколько на каждой операции должно быть занято людей, механизмов. Обратился за содействием к транспортникам, заручился их обязательством выдерживать график перевозок. Остальное же было в твоих руках. Ты собрал людей, объяснил им преимущества конвейера, поставил перед каждым звеном конкретную задачу, особый упор сделал на взаимопомощь. И как у тебя все пошло, как загорелось! Люди стали работать с воодушевлением, красиво. Вместо четырех бригад оказалось достаточно трех. Ты высвободил целую бригаду. Вспомни, именно в те дни в тебе проснулся рационализатор, и твои очень хорошие предложения были осуществлены предельно быстро. Вспомни, как ты радовался, когда покорил эту высоту!

— Я был счастлив. Это непередаваемо хорошее чувство.

— Вспомни, как подтянулись твои люди, когда конвейер заработал без сбоев. Исчезли болтовня, разгильдяйство. Восторжествовал его величество порядок. И если бы тебе пришлось сдать эти позиции, вер-

нуться к прежней постановке дела, тебе бы этого не простили. Не ты один, все исполнители гордились одержанной победой. Не каждый за себя, не каждый сам по себе, а взаимодействие, четкость, согласованность усилий, коллективизм!

— Что-то много ты говоришь! — засмеялся Дима. — Я начинаю догадываться!

— Вспомни, как любил твой лотковый конвейер покойный Аноп Абрамович Саркисов. Кого только он не привозил к тебе — американцев, французов, итальянцев, сирийцев, кубинцев. Как он поддерживал все то, что укрепляло порядок, расширяло его владения.

— Что ж, повторим пройденное, — сказал Дмитрий. — Конвейер на насосной способен принести великие перемены. Я думаю об этом все время.

— Именно конвейер и именно на важнейшем пусковом объекте Сырдарьинской области — головной насосной станции Джизакского каскада. После того как ты отладил конвейер на монтаже лотков и показал себя хорошим организатором, после того как у тебя сложился замечательный коллектив, тебе дали трест. Твою инициативу одобрили, а тебя повысили по службе. По труду и честь, как говорят в таких случаях.

— Новых повышений не жажду.

— Знаю. Ты и тогда не мечтал о движении вверх, ты мечтал о быстром движении вперед. Я, например, считаю, что если ты образцово поставишь дело на насосной, тебя могут пригласить в главк заместителем начальника.

— А главк — это Ташкент. Понятно!

— Ты опять пренебрегаешь моими нуждами. Я не могу работать в Чиройли Ере. Но речь не об этом, а о наведении хорошего порядка на твоей насосной. Об организации конвейера.

— Я это все давно обдумываю и, знаешь, что тебе скажу? Одного конвейера, Олечка, мне будет мало, он все мои проблемы не решит. Тут дело шире разворачивать надо. Чтобы конвейер, масштабы которого непременно выйдут за пределы одной строительной площадки, — есть ведь еще заводы, поставщики оборудования и материалов, и их десятки, есть проектировщики, есть транспортные организации, — функционировал четко, надо принять на вооружение принципы рабочей эстафеты. Пусть высокие социалистические обязательства моего коллектива станут обязательством смежников — заказчиков, изготовителей оборудования и материалов, транспортников, специализированных субподрядных организаций, всех, кто причастен к судьбе стройки. Пусть эту инициативу одобряют и поддержат партийные органы. Чем строже они будут контролировать исполнение, тем лучше. Они никому не позволят спрятаться за свои скромные нужды и халатно отнестись к удовлетворению нужд важнейшей пусковой стройки. Рабочая эстафета в умелых руках — это огромная созидательная сила. Всех исполнителей мы свяжем высокой ответственностью за конечный результат. Представляешь, какое ускорение получит стройка?

— Выходит, мы с тобой одно придумали?

— Не придумали, а сделали правильный вывод из создавшихся обстоятельств. Мимо этого просто нельзя было пройти.

— Кстати, подумай, могут ли твои бетонщики, объединившись с арматурщиками, плотниками и крановщиками, взять бригадный подряд не бетонные работы. Злобинский подряд хорошо впишется в рабочую эстафету.

— И об этом я подумал. Вещь, осуществимая вполне. Железно осуществимая. А вот твоя давняя мечта о моем переводе в главк эфимерна. Руководить делом издали, из прохладных кабинетов и мягких

кресел, охотников хватает. Их строй сплочен настолько тесно, что мне в него не встать. И — не хочу я этого.

Дмитрий задумался. Заботы, связанные с насосной, обступили его со всех сторон. Действительно, почему все по старинке, по наезженной колее? Кто отменил пророческий лозунг поэта, влюбленного в социализм: «Твори, выдумывай, пробуй»?

IX.

Ночью Дмитрию Павловичу ничто не мешало думать. Затихали машины, успокаивался телефон, засыпали люди, устанавливалась тишина, и мыслям открывался простор необъятный, беспредельный. И мысли сами были не дневные, приземленные, обращающиеся вокруг сиюминутных вопросов, а серьезные, направленные на решение проблем. Можно было спокойно, обстоятельно обдумывать свои, чиройлиерские проблемы, а можно было затронуть и судьбу всего рода человеческого — не его, правда, компетенция, но и не запретная тема.

Окно и дверь в лоджию были открыты, доносилось далекое ритмичное дыхание моря. Жена давно спала, дышала спокойно, как и море. Лицо ее было прекрасно. Оно было прекрасно всегда, и он не мог к этому привыкнуть. Он, приподнявшись на локтях, долго смотрел на ее лицо. Она, его Ольга, когда нужно, умеет копать глубоко. Он подумал об этом с гордостью. Да, ее способности были иными, не похожими на его. Она основательнее проникала в суть явлений, лучше обобщала. Ее способности можно было назвать исследовательскими, его — организаторскими. Он всегда уважал в людях способности и умение, навыки, отличные от его собственных. Самолюбие его не уязвлялось этим несколько. Грош цена была бы ему как руководителю, если бы он, опираясь на подчиненных, не пользовался широко их идеями, не поощрял их инициативу.

Идея, к которой они пришли, наверное, одновременно, заслуживала того, чтобы хорошо над нею поработать. Если всех, от кого зависит судьба первой Джизакской насосной, связать единими пусковыми обязательствами, темпы строительства можно повысить, и намного. Конечно, он неизбежно столкнется с большими сложностями. Но и успех будет особенно весомым.

Он подумал, что, обсуждая эту идею, они выделили самое главное — необходимость четкого взаимодействия, помогать друг другу, а не предъявлять бесконечные претензии.

Он вдруг увидел то, что давно должен был увидеть. В Чиройли Ере способности его жены никогда не раскроются полностью, Оля запрограммирована не на канцелярскую сухую работу. Усилием воли он погасил эту мысль, как крамольную, грозящую взорвать отлаженную систему их отношений. Именно об этом Оля без устали напоминала ему при каждом удобном случае и даже тогда, когда повторять одно и то же становилось неудобно. «Не время, — сказал он себе, — мы семья, нам надлежит быть вместе». Если бы она умела руководить людьми, ей бы цены не было в Чиройли Ере.

Когда Оля приехала к нему в Чиройли Ер, счастливая и молодая, он предложил ей прорабскую должность. Он считал, что нет работы лучше этой, интересной и самостоятельной, богатой нестандартными ситуациями. Оля согласилась сразу. Стала строить сборные силикальцитовые домики в совхозном поселке. Но была чрезмерно требовательна, как в своей лаборатории. Любое отклонение от строительных норм и правил вызывало неумолимое «Переделать!» К таким строгостям строители давно уже непривычны. Отношения с людьми натянулись. То, что ей казалось естественной требовательностью, рабочие воспринимали как придирки. Наряды она закрывала без припи-

сок, по фактически выполненным объемам. Ее опять не поняли. «Раз требуешь качества, надбавь, ведь мы теряем в количестве». Бригадиры стали грозиться уйти, выработка упала. Ушла она. Ушла с обидой на своих предшественников и коллег, испортивших людей нетребовательностью и приписками. Построенные ею домики, однако, оказались лучшими в поселке, и их отвоевали для себя бригады, возводившие их. Да, если бы она не ушла, люди, грозившиеся уйти от нее, скорее всего, никуда не ушли бы, а подчинились ее требованиям, естественным требованиям взыскательного и совестливого человека, стремящегося грамотно, хорошо вести порученное ему дело. А как тогда вел себя он, Дмитрий Павлович Голубев? Помог ли навести мосты, наладить контакты? Нет, он предпочел остаться в стороне. Ведь она работала в другом управлении, возводящем гражданские объекты, и он посчитал неэтичным вмешиваться. Если бы тогда она настояла на своем, вела бы свою линию упорно, принципиально, сейчас из нее получился бы отличный начальник участка. Могла бы с успехом и управление возглавить. Требовать она умела, но ключа к своим людям не нашла. Не хватило времени. И опыта, выдержки.

Вот с его лотковиками у нее конфликта не получилось бы. Они работают не только четко, но и чисто, культурно. Каждая лотковая трасса — это певучая струна. Ту свою производственную неудачу Оля остро не переживала, отнеслась к ней философски. Единственное, что могло заставить ее гореть по-настоящему, были модели. Она перешла в контору управления, возглавила производственно-технический отдел. Закопалась в бумаги и люто затосковала. На монтаже силикальцитовых домов утро сменялось вечером непостижимо быстро, как и на моделях. Конторский же рабочий день тянулся бесконечно, и однообразнее, обыденнее его не было ничего. Чертежи, вопросы производства, материального обеспечения работ как бы обтекали ее, как вода обтекает мостовую опору. Все нужное она делала машинально, ума глубокого для этого не требовалось, творить, выдумывать, пробовать было излишне. Все регламентировали инструкции. И она повела решительное наступление на позиции мужа, настаивая на скорейшем возвращении в Ташкент. Не Чиройли Ер ее не устраивал, а нудная, казенная работа, не требующая инженерной подготовки и инженерной смекалки. Она только теряла квалификацию, ничего не приобретаая. От нее требовалась аккуратность, ну, еще знание арифметики. Больше ничего.

Он опять поразился тому, что они мыслили одинаково. Не только он, прожженный практик, но и она, ученый, мечтатель, человек с иным углом зрения. Она увидела главное, что обрекает на медленный ход механизм нашихстроек, — разобщенность многочисленных исполнителей, работу каждого из них по своим индивидуальным планам, а не по единому пусковому графику. Его совершенствование неизбежно, это веление времени. Дмитрий Павлович с этой проблемой соприкасался ежедневно. Дисциплина плана, дисциплина труда являлись важнейшими составляющими порядка, за который он боролся. Рабочая эстафета, бригадный подряд, как он понимал их, — это прямое следствие порядка. Теперь ему, начальнику большой стройки, надлежит создать условия для широкого развертывания социалистического соревнования по принципам рабочей эстафеты. Кто его союзники? Курбанов. Толя Долгов. Весь трест. Главк — тоже. И обком, конечно. Кто противники? Люди, привыкшие громоздить и громоздить строительный вал до высоты Монблана, Хан-Тенгри, Эвереста. Люди косные, инертные, вполне довольные сложившейся практикой распыления сил и средств по сотням объектов: чем больше все запутано, тем меньше спроса. Безымянны ли они, что он затрудняется назвать их? Не безымянны и многочисленны. Впрочем, откровенными, рьяными противни-

ками порядка эти люди не выступали никогда. Они на словах не против новшеств. Но хотели одного — чтобы новшества приходили и отсоевывали себе место под солнцем сами, без их участия, а они бы потом спокойно воспользовались полученными результатами, записав их в свой актив. Они не желали хлопот, борьбы, неизбежных дополнительных усилий. Плыть по течению было привычно и неумтомительно.

Ввести конвейер по сборке лотковых трасс было сравнительно просто. Главк имел свой завод — изготовитель железобетонных конструкций, специализированный на этом виде изделий, свою транспортную организацию. Своими в доску были монтажники. Никого не надо подключать, просить, убеждать. Все умещалось в железные параграфы приказа. По опыту Дмитрий Павлович знал, что связи становятся особенно зыбкими там, где речь идет об одолжении, о помощи. Легко иметь дело с человеком, содействии которого твоим замыслам и планам — его прямая обязанность, его служебный долг. Лотковый конвейер, собственно, и состоял из конкретной суммы таких служебных обязанностей конкретных исполнителей. Единая задача объединила, спаяла сотни людей, воодушевила их, мобилизовала их волю, энергию, инициативу.

А чем, в сущности, отличается нынешняя задача от той, первой, успешно решенной им и его людьми? Только масштабами, только разветвленностью связей. Не сотни, а тысячи людей должны быть объединены общей целью. Ничего неразрешимого перед ним не стояло. Что, несколько министерств и ведомств не в состоянии между собой договориться? Обязаны. Рабочая эстафета сулила ритм, взаимодействие, высокую эффективность всего строительного процесса. Она сулила порядок. А именно порядка и жаждал сейчас каждый, кто утром поднимался на строительные леса.

Порядок, в представлении Дмитрия Павловича, был неотделим от качества работы. Порядок — это дисциплина, это честное исполнение долга, это работа на совесть. Он подумал: «Почему у нас так много бригад и целых строительных управлений, работающих абы как? Сдать, то есть подписать акт, и с плеч долой. Доброе же имя, авторитет, слава — для многих и многих звук пустой, понятие абстрактное, не имеющее никакой реальной ценности. Почему это? — спросил он себя. — Как это случилось? Гонка, постоянная напряженность планов, неразбериха со снабжением и сроками — только ли это подрывает высокий авторитет мастера? Или углубляющееся разделение труда — тоже? Или — постоянная необходимость выбора между тем, чтобы выполнить работу в срок, и высокой требовательностью к исполнителям?»

Часто ли он сам, своею властью заставлял недобросовестных исполнителей переделывать строительный брак? Нет, не часто. Гораздо чаще устраивал разгон, вразумлял, стыдил, чем отдавал команду ломать и переделывать. Если можно было обойтись так, чтобы не ломать, не ломал. И другие начальники поступали так же. Сделать быстрее всегда было более важно, чем сделать хорошо, и совместить первое со вторым удавалось очень немногим.

Он подумал, что его насосная станция — сооружение, функциональное назначение которого, очевидно, включает в себя и элементы красоты, архитектурной выразительности. Не серый бетонный параллелепипед, а живой, ласкающий глаз образ, живое деяние людей, мечтающих оставить о себе добрую память. И он не должен, не имеет права снижать требования к качеству. Он вспомнил свои первые дни на стройке: как добивался высокого качества на крошечном, открытом всем ветрам, примитивном полигоне железобетонных изделий. Разговоры, уговоры, правоучения дали мало. После распалубки на изделиях оставались язвы каверн и раковин. Тогда он сам взял в руки вибратор и отдал его лишь через неделю. Теперь железобетонные тру-

бы, которые изготовлял полигон, избавились от изъянов. Бетон был плотный, как скальный монолит, а плотность автоматически несла с собой все другие свойства: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость.

Личный пример — это, конечно, неплохо. Его поняли, когда он показал, чего добивается, что все другое его не устраивает. Когда же его поняли? Когда он все глубже погружал гибкий вибратор в бетонную смесь и после распалубки открывалась гладкая, ровная поверхность? Или когда заменил бригадира, считавшего, что «и так сойдет», рабочим, который стыдился каждой раковины на трубе, поднятой из пропарочной камеры? Подействовало и первое, и второе. Он не хотел признаться, что второе, кажется, подействовало сильнее. Кадры, кадровая политика. Назначать руководителями тех, на кого можно опереться, кто умеет внести в работу огонек, свежую струю, свежие идеи. Должность теперь не позволяла ему часто браться за вибратор или лопату. Воздействия же только административного, он чувствовал, оказывалось недостаточно.

Будет конвейер, будет и порядок. Пойдет рабочая эстафета, пойдет и злобинский бригадный подряд — это азбука. Подряд — детище порядка. Как это организовать? Понадобится помощь Курбанова. Инициатором должно выступить строительное управление Долгова, целиком задействованное на насосной. Партком, обком, главк — эта часть цепочки состояла из звеньев, которые на виду. А союзные министерства, огромные свердловские заводы тяжелого электро- и гидромашиностроения? Оборудование должно быть на площадке, самое позднее, в феврале. Не упущены ли сроки? Производственно-распорядительное управление главка тревоги еще не било. Заказы, значит, размещены, но согласуются ли сроки их исполнения с пусковым графиком? Первый квартал — это почти всегда конец марта, а им нужно начало квартала, в крайнем случае — середина. Теперь ему было что сказать Сабиту Тураевичу Курбанову. Было о чем посоветоваться. Сделать участниками соревнования всех причастных к судьбе стройки, связать всех едиными сроками пуска, едиными обязательствами!

Он опять подумал, что к нему пришло удачное решение. К нему и к Оле. Прекрасно, что они единомышленники. Начальник главка Акоп Абрамович Саркисов умел ценить такие решения. Но тогда, когда Саркисов был жив, он, Голубев, только постигал нелегкую прорабскую работу, кругозор его широтой не отличался, опыта, по существу, не было, его заменяли молодое рвение и вера в себя, и многое, многое ему еще не открылось. Второго такого патриота Голодной степи, как Саркисов, Дмитрий Павлович не знал. Его Оля не была большим патриотом Голодной степи. Но сейчас они оба исходили из простых, всем понятных вещей, лежащих, можно сказать, на поверхности, и в первую очередь из огромной потребности в порядке. Из того, что каждый хочет, может и обязан как можно лучше выполнить свою часть работы.

Х.

В Мисхоре автобус остановился у двух многоэтажных гостиничных или санаторных корпусов — я поленилась сосчитать этажи. Остальные здания были пониже, их скрывали сосны и кипарисы. Толпа подхватила нас и понесла. Люди заполнили все аллеи и площадки большого парка и неспешно шли в одном с нами направлении или навстречу. Никто не торопился. Меня удивило это торжественное многолюдие. Лет двадцать назад так же людно и празднично было вечерами в ташкентских парках. Потом в личную жизнь граждан властно вторглось телевидение, парки и вечерние улицы потеряли свою привлекательность. Общение с телевизором стало каждодневным, общение с друзьями — эпизодическим.

— Папа! Здесь стреляют!— крикнул Петик. И встал как вкопанный.

— Помещение, где стреляют, называется тир,— сказал Дмитрий.

Хлопали пневматические ружья, крошечные пульки хлестко ударили в крашеную жесть. Дмитрий не отказал себе в удовольствии сделать несколько выстрелов по фашистским военным кораблям. И каждый из них разломился надвое от мощного взрыва и пошел ко дну, пуская пузыри. Петик затаил дыхание. Потом вцепился в ружье.

— Дай-дай-дай!

Отец зарядил ему ружье, и он тут же выстрелил.

— А целиться кто будет?— спросил Дмитрий. Он переломил ружье пополам, загнал в ствол серую пульку, вернул ствол на место и тщательно прицелился.— Я буду целиться, а ты нажимай на курок, когда я скажу,— объявил он сыну. Мальчик послушно нажал на курок, и они потопили торпедой вражескую подводную лодку.

— Это я им залезил!— крикнул Петик. Со всех сторон его сдавливали, стискивали люди, ждавшие, когда освободятся ружья. Курортникам в Мисхоре не хватало комнат и коек, парковых аллей, скамеек, столиков в кафе, стаканов у автоматов с газированной водой и самих автоматов, пневматических ружей в тире. Южный берег Крыма был престижным местом всесоюзного паломничества. И нам надлежало не потерять друг друга в многоликом, радостном человеческом потоке.

Дима и Петик с сожалением расстались с ружьем, и мы пошли искать знаменитый фонтан. Сумерки густели на глазах. Краски меркли, под деревьями уже давно пряталась ночь, и только небо над парком и горами еще было синее, густеющее, беззвездное. Фонтан, словно экзотический аттракцион большой ямарки, уже окружала толпа. Дима посадил Петика на плечи. И в это время фонтан проснулся. Он всхлипнул, как одушевленное существо, и выбросил небольшую пенистую струю. Затем выстрелил более мощной, высокой, прямой, поднявшейся над кипарисами, окаймляющими фонтанную площадь. Петик ахнул, упавшая вода с шумом разбилась о стоячую плотную зеленую воду бассейна.

Еще стемнело. Люди все прибывали. Фонтан то игриво взбегал к самому небу, то припадал к земле, кроткий, как большой родник. И тут включилась подсветка. Где-то в основании струи под водой вспыхнул ровный малиновый свет, и вода заискрилась, запереливалась, воссияла дивным цветком. Фонтан дышал, фонтан жил. Цветок то распускался, то складывался в плотный бутон. Подсветка менялась ежесекундно. Желтый, оранжевый, красный, лиловый свет, казалось, одушевлял воду.

— Тонкий замысел,— сказала я. Дмитрий не ответил. Фонтан казался ему костром, и он наслаждался его прихотливыми красками. Высокая, тающая в ночи главная струя была похожа на столб дыма. Как все-таки изобретателен человек в своем извечном стремлении к самовыражению! Петик тихо мурлыкал от восторга. Все вокруг для него было сказкой, и неуместным вопросом он боялся разрушить ее очарование. Вдруг Петик стал неистово колотить отца по голове, словно голова была барабаном.

— Опомнись,— сказала я.— Ты чего? Папе больно.

Собралось уже множество людей. И все смотрели внимательно-внимательно. Дивные цветы чередовались, никогда не повторяясь.

— Одобряешь?— спросила я мужа.

— Одобряю,— сказал он.

— Тогда пошли. Это все равно нельзя запомнить. Это как лес, как река, как горы, на которые сколько ни смотри, не запомнишь, они разные каждую минуту.

— Куда?— взревел Петик.— Никуда! Никогда!

Мы постояли еще, потом отошли, и наше место тотчас заняли. Теперь мы пристроились в хвост очереди, жаждущей мороженого. На нас не обращали внимания, и нам тоже было достаточно друг друга. Индивидуумы, личности терялись в человеческом море. Очередь, колыхаясь, втягивалась в кафе и растекалась по его просторному залу. Дима заказал мороженое разных сортов и пепси-колу. Я внимательно посмотрела Диме в глаза, улыбнулась ему и начала разговор, для меня очень важный,— о возвращении семьи в Ташкент. Он замешкался, смутился, забыл про мороженое и заморский напиток. Петик этим вскоре воспользовался: «Папа, можно, я поем из твоего блюда?»

— Обещанное надо выполнить, я ведь не какая-нибудь канцелярская крыса, а исследователь с опытом и ученой степенью...

Так я начала, сухо, официально, быстро входя в роль высокой договаривающейся стороны, настаивающей на выполнении уже достигнутых обязательств. Я сказала, что это, в сущности, вопрос решенный для меня и для него, и надо, чтобы руководство свыклось с нашим решением. Руководство надо подготовить. Частые напоминания — это уже внушение, почти гипноз. Собственно, я повторила все то, что уже не раз говорила прежде, в иной, правда, обстановке. Когда он, уставший, обозленный неполадками, срывами, несправедливыми упреками, становился более восприимчив к моим доводам.

— Ты скажи мне, кто против?— вдруг заявил он.— Я, например, за. Только как прикажешь мне поступить?

— Настоять на своем.

— Ну, а чем я займусь в Ташкенте?

— Возьми управление, трест, что дадут, и крутись так же, как ты крутишься в Чиройли Ере.

— Но я гидротехник, а не строитель.

— После стольких лет практики ты в первую очередь руководитель строительного производства. Ты в состоянии четко поставить дело на какой угодно стройке. Ты давно уже не гидротехник, а организатор.

— Спасибо. Но чего конкретно тебе не хватает в Чиройли Ере?

Щеки у меня запылали, ладони задрожали. Но я сдержалась. Я взяла с него честное слово, что мы станем жить в Ташкенте через два года после свадьбы. Слова он не сдержал. И дело было не в том, что он не мог идти против воли начальства — мог, и умел, и шел, и шишки себе набивал, но лишь тогда, когда речь шла не о нем лично, не о его семье. Интересы семьи, оказывается, никого не касались, кроме него самого. Такой была его психология, таким его вырастили семья, и школа, и общество, и тут я ничего не могла поделати, не могла его переубедить. Он соглашался со всеми моими доводами, но мнение его, вернее, линия поведения, оставались незыблемыми.

— Не паясничай, сказала я.— Денег мне более чем хватает, столько мне и не надо.

— Ты прекрасно знаешь, что меня не отпускают.

— Но меня-то никто не держит. — В первый раз я прибегла к угрозе. У меня была альтернатива, и Дима должен знать, что я могу ею воспользоваться.

— Ты так ставишь вопрос?— удивился он.

— Так, если нельзя по-иному.

— А как же семья, дети?

— Дети уедут со мной. Ташкентские и чиройлиерские школы дают одинаковые аттестаты.

— Одному мне будет плохо.

— Сомневаюсь. Тебе не надо будет торопиться домой и отрываться от дел, всегда неотложных.

Он был растерян, услышав это, и мне стало жалко его, но я не

разрешила себе поддаться этому чувству. Размягчишься, и все насмарку. Твердость и только твердость, внушала я себе.

— Представь себе. Ты этого не замечаешь, это уже в твоей плоти и крови. Ты удивишься, если услышишь, что не принимаешь участия в воспитании детей. Но это так. Ты видишь их только тогда, когда они спят. Ну, полчаса перед сном. Ты купаешься, ужинаешь, а они вьются вокруг тебя. Они лезут к тебе на руки, на колени, а ты мысленно еще на своих объектах, ты весь еще в своих проблемах, которым нет конца и края. Когда же им побыть с тобой, как не в этот поздний вечерний час? Но ты тянешься к газетам. И я прогоняю их в кровать, я строга в соблюдении режима. У тебя есть работа — это я знаю. У тебя любимая работа, и ты продолжаешь жить ею, даже когда ужинаешь, даже когда сыновья сидят на твоих коленях.

Он был ошарашен. А что он мог возразить? Да ничего. Начни он сопоставлять, он тотчас увидит, что все сказанное мною — правда.

— А я считал, что у нас все хорошо, — наконец сказал он.

— Конечно, у нас все хорошо. Ты нас любишь, а мы любим тебя. Поэтому я и говорю тебе все это. Рассчитываю на полное понимание.

— Растолкуй мне, что такое эта твоя неудовлетворенность. Насколько я знаю, свою работу, которую ты считаешь скучной и однообразной, ты выполняешь честно, тобой довольны.

— Неужели, по-твоему, я могу... манкировать своими обязанностями? Я у тебя сознательная.

— Не сомневаюсь. Дом ты тоже содержишь образцово. Людям нравится бывать у нас.

— Я стараюсь, чтобы тебе нравился твой дом.

— Что же тогда тебя мучает, не дает покоя?

— Попробую объяснить. Когда мы еще не были женаты, когда я ждала тебя, а ты не приезжал из своей Голодной степи — или лотки сдавал, или земли, или на сбор хлопка должен был везти своих людей, тут были и ожидание, и нетерпение, и постоянная мысль о тебе, и предвкушение встречи. И когда становилось ясно, что ты не приедешь, я все равно ждала, я не могла настроиться на что-то другое. Чувство, которое я испытываю от неудовлетворенности тем, что занята не своим делом, во многом повторяет то мое состояние — неуютное, тревожное. Понимаешь, раз я хорошо могу делать то, что не может делать подавляющее большинство людей, я и должна, обязана это делать. Такова логика углубляющегося в наше время разделения труда. Я специалист узкой фокусировки, в этом моя сила и моя слабость. Ты, наверное, не поймешь меня, если я не добавлю к сказанному, что гидравлическая лаборатория — мое призвание. На моделях я легко предвижу результат, и это очень облегчает поиск. Я... ну, как бы сама становлюсь потоком, рекой, обтекающей сооружение. В лаборатории я страшно тосковала без тебя. В твоей степи я страшно тоскую без лаборатории.

— Между нами можно поставить знак равенства?

— В том смысле, какой ты вложил в свой вопрос, да. Ты сопоставляешь величины абсолютно неравнозначные. Без лаборатории я страдаю, как без близкого, очень нужного мне человека.

— Ты прямо рвешься в свою лабораторию.

— А ты, пользуясь в общем-то недозволенными приемами, держишь меня вдали от нее. Вопреки моему горячему желанию.

— Начинаем дискуссию о правах человека?

— Мы ведем ее уже целый час. Если бы ты пошел на прием к Саркисову, эта проблема сейчас не стояла бы перед нами. Но ты не посмел. А сейчас тебя легко убедят в том, что в Чиройли Ере заменить тебя некем. Как считаешь, не навесить ли мне самой начальника главка? Думаю, мои аргументы будут посерьезнее твоих.

— Но не серьезнее его аргументов.
— В таком случае, он — не окончательная инстанция.
— Лучше, если к нему пойду я.
— Он заполнит очередной наградной лист, и этим все кончится.
— Ну-ну, зачем так зло? Награда я был рад, но ни ордена, ни должности для меня не самоцель. Я просто честно выполняю постановления партии об освоении Голодной степи.

— Джизакской,— поправила я его.— Голодная степь уже освоена и соперничает с благодатной Ферганской долиной.

— А сорок тысяч гектаров самых тяжелых земель севернее Чиройли Ера?

— Все, все ты освоишь. Я уже не претендую на то, чтобы увезти тебя оттуда. Я хочу уехать сама. После этого, думаю, ты скорее исполнишь свое обещание.

— Я бы очень этого не хотел. Но доводы твои убедительны. Олечка, неужели во всем Чиройли Ере не найдется тебе дела по сердцу?

— Нет,— сказала я.— Не заставляй меня терпеть это до конца дней моих.

— Подожди пуска, а там я развяжусь.

— Ты? Ты опять ничего не предпримешь, потому что речь идет о тебе и о твоей семье. Позволь напомнить, что ты строишь только первую станцию из четырех, входящих в каскад, и пускается только ее первая очередь. Вторую очередь и следующие насосные тоже поручат тебе. Да тебя на пенсию не пустят, потребуют все кончать! Хватит, довольно!

Он невесело улыбнулся.

— Ты меня убедила,— сказал он.

Значит, то, что я высказала ему, он не счел блажью. Но я видела, что убедила его не до конца. Я убедила его только в том, что касалось меня. В том же, что касалось его, он незыблемо стоял на прежних позициях. На иное я и не надеялась: над ним всегда довлели его проблемы и его работа.

XI.

Оля затеяла стирку, и Дмитрий Павлович взял с собой в Севастополь сына. Он чувствовал вину перед женой, так как знал, что не сумеет содействовать переезду семьи в Ташкент. На него привыкли опираться. Кто же отказывается от человека, на которого во всем можно положиться?

Кусочек бухты они увидели из окна автобуса. Берег опускался к воде довольно круто и был плотно застроен белыми одноэтажными домами. Вкрапления многоэтажных домов ближе к центру переходили в сплошную застройку. В самом конце бухты у причалов стояли ржавые суда, которые когда-то были быстрыми и сильными боевыми кораблями. Время превратило их в металлолом. Здесь броню разрезали автогенном и отправляли в мартены.

На автостанции они пересели в троллейбус и покатали к центру. Бухта тянулась справа; теперь она была похожа на фиорд.

— Подводная лодка!— закричал Петик. У пирса стояли, прижавшись друг к другу, три лодки. Они были такого же цвета, как и вода. Это были большие лодки, плавающие далеко, настоящие властелины океанских пространств. Улица повернула, лодки пропали. Дмитрий Павлович и Петик вышли из троллейбуса. Теперь они были в центре города. Оставшуюся часть пути до входа в бухту Дмитрий Павлович хотел проделать пешком.

Дмитрий Павлович огляделся. У него уже складывалось мнение о том, что Севастополю надлежит быть более величественным. Архитектура должна подчеркивать героичность этого города, то есть должна

быть более выразительной и монументальной. Теперь это мнение укрепилось. Он подумал, что его мысли были бы верны, если бы центр Севастополя сооружался сейчас, а не складывался в течение многих десятилетий. Всего несколько лет назад у людей были совсем другие представления об архитектурной выразительности. А в более далекие времена? И подавно другие. На ход его рассуждений оказывал воздействие яркий и талантливый Волгоградский мемориал. Он даже хотел большего — чтобы мемориалом был весь город.

Они вошли в музей Черноморского флота. Петик ходил между экспонатами зачарованный. Корабли были совсем-совсем настоящие, только уменьшенные в размерах. Черт возьми, как красивы и легки были быстрокрылые парусные суда! Подхваченные ветром, они летели над водной гладью, а потом высаживали десант или изрыгали каменные ядра и разрушительные бомбы. И турки отступали на море так же, как они отступали на суше. Мачта — это три огромные состыкованные вместе корабельные сосны. С пушечных палуб на врага смотрели жерла орудий. Сколько таких 120-пушечных линейных кораблей затопил Нахимов в горловине бухты? Висящие на стенах картины сражений принадлежали прославленным мастерам батальной живописи. Русские чудо-богатыри штурмовали высокие, как борта ущелья, крепостные стены, корабли обрушивали на башни и бастионы губительные ядра. Все собранное здесь говорило, пело, кричало о славе русского оружия и доблести солдат и матросов, защищавших родной очаг и родные просторы.

— Папа, давай унесем домой самый маленький кораблик, — попросил Петик.

Дмитрий Павлович объяснил, что из музеев ничего никогда не берут, музеи — для всех. Они подошли к первым неуклюжим паровым судам, к громоздким броненосцам и дредноутам начала века. Выигрывая в мощи, эти корабли проигрывали в изяществе. Снимки сохранили силуэты крейсеров, которые гонялись за немецкими рейдерами «Гебеном» и «Бреслау», пока не заперли их в Босфоре.

«Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море...» Дмитрию Павловичу показалось, что он услышал проникновенные эти слова. Пела женщина, и пела сердечно, с чувством, которому нельзя не покориться. Он вздрогнул, огляделся. Было тихо-тихо, никто не пел, ему, конечно, показалось. «Интересно! — подумал он. — Как же все это интересно!»

Они подошли к судам следующего поколения. Дредноуты отжили свое, в строй вошли быстрые, как курьерские поезда, эскадренные миноносцы, крейсера и подводные лодки. Грянула Великая Отечественная. «Вставай, страна огромная...» Враг был остановлен и посрамлен здесь, у этих стен, и слава Севастополя воссияла, чтобы никогда уже не померкнуть. В новые, послевоенные, времена флот стал совершенно другим, пространства необозримых океанов легли под его форштевни.

Современный крейсер сосредоточивал в себе такую силу, что кружилась голова. То же самое можно было сказать и о подводных лодках неограниченного радиуса действия, быстрых, как торпеда, и почти неуязвимых. Дмитрий Павлович подумал, как непросто было добиться паритета, примерного равенства с гигантской военной мощью США. Ведь в год окончания второй мировой войны Америка выплывляла в десять раз больше стали, чем наша страна. Теперь померяться силами с нами могли только безумцы. Это открывало дверь в эру переговоров, контролируемого разоружения, в эру большей, чем нынешняя, безопасности народов. В современном мире с его жестокой конкуренцией Советскому Союзу был необходим большой, сильный океанский флот. Дмитрий Павлович это знал. Впечатления, которые он получил в му-

зее, сделали это его знание более предметным. Затраты, на которые пошла наша страна, были не только не напрасными, а необходимыми. «Второго сорок первого года не будет»,— подумал он.

Еще одной достопримечательностью, которую им удалось осмотреть, был океанариум. В бассейнах с большими иллюминаторами и в просторных аквариумах жили обитатели морских глубин северных, умеренных и тропических широт. Диковинные жители морей смотрели на людей выпуклыми немигающими глазами. Их жабры ритмично процеживали соленую, обогащенную кислородом воду. Какие удивительные и забавные чудища населяли океанариум! Петяку очень понравился гигантский, покрытый мощным оранжевым панцирем краб с загнувшимися серповидными клешнями. Вопросы посыпались лавиной — про краба, рака, дельфина. Он хотел плавать с рыбами, играть с рыбами, есть их пищу. Он хотел стать рыбой, нет, лучше крабом с мощными клешнями. Великое многообразие жизни раздвигало границы привычного. Люди давно и серьезно работали в океане, чтобы знать о нем все и получить доступ к его богатствам. В чем-то это было сродни покорению целины, сродни работе, которую Дмитрий Павлович знал и любил. «У каждого человека,— подумал он,— должна быть своя целина, своя пустошь, которую необходимо вспахать и засеять, и вырастить на ней урожай. А если этого нет, если есть только езда по наезженной колее, невольно возникают вопросы о смысле жизни. Они остаются без ответа. На проторенной колее ответа не получишь».

Петик не хотел уходить из океанариума. Дмитрий Павлович не стал торопить сына. Они еще раз осмотрели прекрасных рыб, и черепах, и прочих представителей богатейшей морской фауны. Возбуждение сына улеглось по мере того, как удовлетворялось его любопытство. И после второго круга он, спокойный, умиротворенный, вышел на бульвар и спросил:

— Папа, а теперь куда?

— Теперь — никуда. Мы будем стоять на берегу и смотреть. Скоро проплывет большой корабль с большими пушками.

— Он куда проплывет?

— Туда,— ответил Дмитрий Павлович и показал рукой вдаль.— Знаешь, корабли плавают везде, где есть море. И везде, где они плавают, они несут наш советский флаг. И люди на этот флаг смотрят. Наш флаг сильно действует на людей, когда они на него смотрят. Он вообще сильно действует на людей. Когда ты вырастешь, тебе это станет абсолютно ясно.

— У нас в детском саду есть флаг,— сказал Петя.— Первого Мая везде были флаги, и салют был. Флаг что делает?

Дмитрий Павлович подумал, что флаг несет мысль, идею, символ, сплачивает, объединяет.

— Флаг помогает людям быть вместе,— сказал он.

— Как воспитательница?

— Во-во! Ты очень правильно все понял.

Они встали на высоком берегу. Недалеко, чуть-чуть левее, был вход в бухту. А дальше вода синела и начиналось море. Море казалось безбрежным.

Серый высокобортный корабль бесшумно возник из зеленых глубин бухты. Он увеличивался в размерах, пока не поравнялся с ними. Белый бурун у форштевня, нежный бурун у кормы. Ветер, дувший в их сторону, донес до них теплый воздух из трубы. Надстройки, орудийные башни и сами орудия казались гранеными. Ни единого человека не было видно. Вахта шла внутри гулко-го стального чрева. Гудели турбины, но ровно, не надсадно.

— Какой длинный!— крикнул Петя. Его пальцы сильно сжимали



ладонь отца.— Нет, папа,— сказал он вдруг,— передай маме, что я не буду милиционером, я пойду в моряки.

Дмитрий Павлович погладил сына по голове. Выйдя в открытое море, военное судно быстро уменьшалось в размерах. Оно держало курс на проливы и далее в просторы мирового океана. Теперь другое судно, немного меньше первого, входило в бухту. По воде стлался мощный гул. Прорисовался еще один корабль, готовившийся войти в порт. И вот новое судно покидало Севастополь, и десятки матросских глаз провожали раскинувшийся на холмах белый город. Это было большое судно. Оно шло легко, красиво, неотвратно. Севастополь жил для кораблей, для флота. Большой корабль, идущий в открытое море нести свою ратную службу, являл собой величественное зрелище. Дмитрий Павлович и Петя зачарованно смотрели на него. Когда силуэт корабля растворился в синем дрожащем воздухе, Дмитрий Павлович сказал:

— Вот так, блин горелый! Пусть они попробуют! Пусть посмеют! Не посмеют, не попробуют, утрутся и вопить начнут.

— Кто — они? — спросил Петик.

— Господа разные.

— Какие господа? — не унимался Петик.

— Да те, кто нас не любит. Мы им не нравимся. И на здоровье, не любите, мы в друзья-товарищи никому не набиваемся. Запомни, мальчик: ты живешь в замечательной стране, лучше которой нету.

ХII.

Я стояла с Петей в ялтинском шумном и людном скверике у бурлящих аэрофлотовских касс и спрашивала себя, нравится ли мне Ялта. Никогда прежде не видела я городов с таким специфическим назначением — оказывать гостеприимство другим людям, принимать и обслуживать их и стремиться, чтобы им было хорошо. Хотя толчея была великая, каждый гость Ялты находил и кров, и место за столом, и место на пляже, и людям этого было вполне достаточно.

Тихий комфортабельный Форос был мне по душе, колготную Ялту я не воспринимала и жить бы в ней не желала. Наверное, надо вырасти здесь, чтобы полюбить этот город. Петю тоже смущало многолюдие, и он крепко держал меня за руку.

Стеклопакетные двери выбросили Диму, и он покатился к нам. Он улыбался так светло, лучезарно, что я спросила себя, почему над его головой нет нимба. Он весь был торжество и ликование. «Чему он улыбается?» — подумала я. Он протянул мне билеты, и я увидела, что в Ташкенте мы будем на три дня раньше, чем договаривались. Мой муж отнял у меня и у сына три дня отдыха на благословенном форосском берегу и был счастлив, что поступил так. Он отнял у нас три дня ради того, чтобы на три дня раньше окунуться в живописные и нерво-трепные чиройлиерские будни.

В первые годы замужества я бы взорвалась, запротестовала, устроила сцену, отплатила бы ему за самоуправство недельным тяжелым молчанием — и ничего не добилась бы, мы бы все равно улетели именно в тот день, на который куплены билеты. Теперь я промолчала, более того — не подала виду. Он неисправим, и никакое перевоспитание тут не поможет. Его просто нужно принимать таким, какой он есть. Двадцать два дня у моря — это ведь целая вечность, пролетевшая, как один миг. Вот так же и жизнь пролетит, как один миг. Оглянешься — где же она, куда подевалась? Да было ли что-нибудь вообще до того, как твою голову покрыла благородная седина?

— Ты не умеешь отдыхать,— сказала я Диме.

— Мы этого не проходили,— отшутился он.— Но, по-моему, я был

сверхтерпелив. Если бы я прилетел сюда один, меня бы давно уже здесь не было.

— Лучший для тебя отпуск — это работа, — сказала я. Улыбка его стала чуть-чуть виноватой, но ликования в ней все равно было больше, нежели вины.

Мы пошли к морскому вокзалу, чтобы сесть на прогулочный теплоход. Улицы казались муравейником, и магазины казались муравейником, и скверы, и базар, и пляжи, и набережная. В эти солнечные летние дни Ялта была большим муравейником.

На одну из улиц выходили витрины букинистического магазина. Я вдруг остановилась как вкопанная. Меня поразила репродукция картины на глянцевой суперобложке. По весеннему полю, по блестящим черным пластам земли за лошадью и плугом шел человек. А над вспаханной плодородной землей вились черные птицы и вставало огромное оранжевое солнце. Фигура пахаря была изображена буквально несколькими выпуклыми мазками, голова и руки его лишь угадывались. Но чувствовалось, что за плугом шел сильный человек, любящий землю и все растущее на ней и живущее на ней.

— Погляди, ведь это ты, — заявила я Дмитрию. Он вперил в картину изучающий взгляд. Сказал через минуту:

— Возможно, возможно. В таком случае, Ван Гог запечатлел меня задолго до того светлого дня, когда я родился. Но он был великий художник, и это было ему по плечу, я не удивляюсь.

Мы вошли в магазин, я попросила книгу репродукций. Ее выпустило миланское издательство. Еще две картины Ван Гога оказали на меня такое же сильное воздействие — «Сеятель» и «Жнец». Собственно, сюжеты их были аналогичны «Пахарю». Во втором случае пахарь заменял сеятель, в третьем — жнец, и огромное солнце освещало оранжевое спелое пшеничное поле и черных вьющихся над пшеницей птиц. Каждый раз в поле выходил сильный человек, труженик, преобразующий землю.

— Пахарь! — сказала я Дмитрию. — Что скажешь, пахарь?

Не отвечая, он уплатил за книгу.

И его, и меня охватил сложный комплекс чувств. Дмитрий Павлович Голубев умел и любил работать, и у него не оставалось времени ни на что другое. Жизнь шла своим чередом, и очень многое проходило мимо него. Он был как сильный локомотив, и к нему прицепляли все новые и новые вагоны. Я сказала ему об этой ассоциации. И сказала, что ему дорого лишь то, что помогает ему пахать глубоко.

— Вот именно! — воскликнул он. — Не размениваюсь, не размениваюсь, и потому доволен своей судьбой. Доволен страной, в которой живу. Доволен женой, детьми. Доволен работой, товарищами.

— А жизнь проходит, — напомнила я.

— Не в безделье, — сделал он дополнение и выразительно, с ликованием посмотрел на меня. Он уже видел себя в родном Чиройли Ере. — Многого у меня нет, а многое, как ты справедливо заметила, проходит мимо. И пусть, я согласен. Потому что очень и очень многое у меня есть, и этого вполне достаточно, чтобы ходить по земле с высоко поднятой головой.

— Все пахари ходят с гордо поднятой головой, — согласилась я.

— А как же, как же! — Он задумался, потом сказал: — Я знаю, что тебя тревожит. Твоя нива не нуждается в плуге. Но она может быть даже более щедрой, чем моя.

Я не начала еще одну бесполезную дискуссию. Такие дискуссии рождали во мне только боль, ощущение покинутости и одиночества. Я взяла его под руку, и он, довольный, шепнул мне:

— Так лучше.

Я отправила мужчин купаться, а сама занялась хозяйственными делами. Через день мы уезжаем. И квартиру со всем ее содержимым надлежало оставить в образцовом порядке. Я не терпела неаккуратности. У меня и Петя уже сам одевался, умывался, завязывал шнурки на ботинках, сам чистил щеткой брюки, подметал пол, а свои игрушки складывал на полку или в большой плотный мешок. Было пролито немало горьких ребячьих слез, прежде чем я добилась этого. Аккуратность — основа порядка, чистые руки — пролог нравственной чистоты. Другие могут и не усматривать тут никакой связи. Я же эту связь видела, более того — ощущала.

Я пропустила через стиральную машину замоченное с вечера белье, пропылесосила ковры, мягкую мебель и дорожки, до блеска выскоблила плиту и мойку и принялась за полы. Дома полы мыл Кирилл. Он же прекрасно пылесосил все то, что впитывает в себя пыль. Я внушила ему, что держать дом в чистоте так же важно, как и учить уроки, и с этой своей обязанностью он справлялся без принуждения. Но большая часть домашней нудной и бесконечной работы все равно лежала на мне, и сколько раз я сетовала на судьбу, что у нас нет бабушки. Магазин — кухня — ванная. Покупка продуктов — приготовление пищи — стирка. Что может быть однообразнее и страшнее? Но дай себе поблажку, и семья потеряет свою важнейшую точку опоры. Да, для девушки знать основы домоводства, кулинарии в сто раз важнее, чем тригонометрические функции! Но это так, к слову. Просто я вспомнила, что школа, наряду с нужным и просто необходимым, дала мне массу ненужного, такого, что навсегда останется не востребуемым багажом на полках памяти. Институт тоже дал массу ненужных познаний, но они, за ненадобностью, быстро выветрились.

Оттаяла морозильная камера холодильника, я вымыла его и вновь загрузила продуктами. Большая бутылка «Пшеничной» так и осталась нераспечатанной. Жалеет ли Дима об этом? Он видел слишком много бед, связанных со злоупотреблением алкоголем. Трезвенником от этого не стал, но отношение к пьющим изменил: снисхождение уступило место осуждению, созерцание — протесту. Руководитель большого трудового коллектива, он лучше многих видел огромный вред, причиняемый обществу алкогольным изобилием.

Мне все еще было жалко, что наш отдых у теплого моря сократился на три дня. Мы бы еще и поплавали вдоволь, и к Байдарским воротам снова сходили бы, и съездили куда-нибудь. Но — раздражаться? Я умело погасила злость — самую худшую из советниц в семейных делах. Злость разрушает, а в семейной жизни более всего ценятся любовь да совет. «Почему он такой?» — спросила я себя. Отвечать было не надо. Он всегда был такой, я знала его только таким. Вот в школе он учился без воодушевления, учебу не считал работой. Да что стрясется без него в Чиройли Ере? Ничего. И было бы скверно, очень скверно, если бы стряслось. Он знал это, как и я, нет, в тысячу раз лучше. Но удержать его было невозможно. Удержала ли бы я его, если бы мы поженились месяц назад? Сомневаюсь. Он родился на свет, чтобы работать, пахать, и сеять, и жать, и работа, суета сует, была жизнью, а отдых жизнью не был. Так, пустое времяпрепровождение. Да, я уже могла объяснить его состояние гораздо лучше и подробнее, чем он сам. Его беспокойство, вызванное долгой оторванностью от дел. Его тоску по своей стройке и по своим людям. И посади его здесь на золотую цепь, сложи у его ног все блага мира, он все равно цепь перегрызет и уедет. В этот раз он ужал свой отдых всего на три дня. А сколько раз он уезжал, не отгуляв и половины положенного! Вдруг все стано-

вилось не так, и он срывался, и штурмом брал самолет, и только дома, когда он с головой уходил в работу, ему снова было хорошо. Неиспользованных и уже пропавших отпусков у него одиннадцать из восемнадцати. Там, в Чиройли Ере, пожар, потому что там его дело. А когда же у меня появится такое же дело, поглощающее все мои помыслы и дерзания? Решимость моя крепла.

То, обо что я в очередной раз больно споткнулась, мне, в сущности, нравилось в нем. Цельность характера и была главным богатством его натуры. Будучи бригадиром на сборе хлопка, как он воевал за каждый килограмм! Уговаривал, стыдил, разносил, наказывал, благодарил, и все — с энтузиазмом, по велению совести! Он и меня пробрал за то, что отставала. Слова находил, которые пробирали.

В Голодной степи развернулся, и пошел, пошел! Что ни поручат — выполнял, да еще, помимо недюжинной энергии, приносил свою выдумку, свою инициативу. Часто подбирал нестандартный ключ к решению задачи. Другие ищут отговорки, а он впрягался и тянул. Не сделать означало для него, наверное, то же самое, что и умереть. Да, он не брался за дело, он вгрызался в него. Досуга никогда не имел. Слово «надо» обрело над ним удивительную силу. И это в нем ценили, а я — больше всех. И было до слез обидно, что именно то, что я ценила в нем так высоко, теперь отдаляло его от меня. В любых ситуациях работа имела у него приоритет над всем остальным. Все, кому Дмитрий Павлович подчинялся, спрашивали с него работу и только работу. Один Саркисов, пожалуй, спрашивал шире, более емко и глубоко. Саркисов мог осведомиться, почему в детский сад не завезено молоко. Почему в доме у рабочего такого-то холодные батареи. Почему в столовой не подают винегрет, свежие фрукты, соки. Саркисов считал: неудобно, стыдно спрашивать у подчиненного, как вверенное ему строительное подразделение выполняет государственный план. План — это норма, это закон, и тот, кто его не выполняет, попросту никудышный руководитель, безответственный человек. Саркисов всегда спрашивал больше, чем включал в себя план. Он спрашивал по всем вопросам, выдвигаемым жизнью. И план при нем выполняли неукоснительно. Но и при Саркисове уже наметилось отставание с обустройством земель, на которые подавалась вода. Саркисов не позволял, чтобы работа заслоняла собой человека. Но он — необычный, незаурядный руководитель, счастливо сочетавший в себе призвание партийного работника и строителя-первопроходца. И мне было понятно стремление Дмитрия походить на Саркисова.

В Чиройли Ере Дима опять с головой окунется в работу, и работа заслонит семью. Рядом с ним я чаще, чем можно представить, оставалась одна. Я имела счастье видеть мужа за поздним ужином и за ранним завтраком. Суббота ничего не меняла в его распорядке дня. В воскресенье он уделял дому и семье пять-шесть часов. «Папа дома!» — удивлялись мальчишки. Для них это всегда было праздником. А я во всех домашних делах уже давно полагаюсь на себя. В своих обещаниях, связанных с домашним хозяйством, он не считал нужным быть обязательным. Готовый в лепешку расшибиться для работы и для своих людей, он не умел просить для себя. Не умел, и все.

Я опять пришла к мысли, которая давно уже не давала мне покоя. Я должна быть решительной, даже непреклонной. В конце концов, его доводы несостоятельны рядом с моими. Они, конечно, весомы, я не возлагаю на себя неблагоприятную задачу малить Димину работу, она во многих отношениях выше моей. Но главное-то, главное! Я должна дать людям то, что могу дать. Пусть оно в десять, в сто раз меньше того, что дает Дима, оно во много раз больше того, что я даю в Чиройли Ере. И так потеряно столько лет!

Я подумала, что трагедия семьи наступает тогда, когда один из

супругов, посчитав, что он всего добился, перестает заботиться о ней. Семья — это здание, нуждающееся в постоянном уходе. «Но у меня хорошая семья! — сказала я себе. — У меня отличный муж и замечательные дети!» Я не имела права даже подумать о том, о чем подумала. Его невнимание — это не отчуждение, а привычка. «Придет привычка, и кончится любовь», — вспомнила я чьи-то слова, и вспомнила интонации горечи и тоски, их сопровождавшие. Неправда. Любовь не кончилась, она не умрет никогда. А вот неудовлетворенность уйдет из моей жизни, как только я вернусь в гидравлическую лабораторию.

Продолжение следует.



Ало Ходжаев

Из Афганской тетради



На площади главной Кабула,
Где новая жизнь зарождалась,
Стоит, гордо выдвинув дуло —
Танк Ватанджара!¹

Цветами живыми обласкан,
Людской благодарности жаром,
Героем в легендах и сказках —
Танк Ватанджара!

Надежд всенародных опорой
И символом мощи державы,
Брат младший великой «Авроры» —
Танк Ватанджара!

И в это все больше мне верится,
Что будет идти побеждая,
Страна, у которой есть сердце —
Танк Ватанджара!

Митинг в политехническом

В огромном зале
напряженье
боя —
Такое
память
не забросит
в давность, —

¹ Ватанджар — национальный герой, ныне член ЦК НДПА, член президиума Ревсовета и министр связи ДРА.

Кабул весенний

Весна пришла. Урюк зацвел в Кабуле.
Пьянящий запах сердце бередит.
Сады в цвету. А город, словно улей,
Взволнованно и радостно гудит.

Весна пришла. Природа жадно дышит.
Уже сошли снега с окрестных гор.
И медленно оттаивают души,
Что мерзли в стуже до недавних пор.

Весна пришла. Зима была суровой,
Но добрым светом озарилась высь —
И Солнце над большим афганским кровом
Взошло. И торжествует Жизнь!

Вечер узбекской поэзии Афганистана

Поэтами узбекского народа¹
Устроен вечер в клубе «Матбуот»
На тему «Долгожданная свобода,
Поэзия, Афганистанский Новый Год!»².

Страны своей сияющее утро
Воспел Лойик³ — мажорный первый такт.
К собратьям по перу легко и мудро
Воззвал пуштунский сын Ажмал Хатак⁴.

Преодолев барьер вражды печальной,
Стихи прочел белудж Худайназар,
Отбросив навсегда удел молчанья,
Туркмен Ураз явил свой пылкий дар.

И наряду с другими, общим гимном,
Звучали рифмы языка дари —
Поэт Абхар⁵ набафно и призывно —
О Ленине дастан свой подарил.

Но был мотив особого аккорда
Разноголосой той мушоиры —
Язык узбекский прославляли гордо
Здесь Шогулам, Нури, Шараф Кору⁶.

То праздник был. На лицах — вдохновенье.
А со стены бессмертный Навои,
Как символ братства, музы воплощенье,—
Благословенья будто слал свои.

Стихи читались, и на всех наречьях
Звенели страстно строки на лету.
Большой поэзией прекрасен был тот вечер,
И равенством народов, и культур!

¹ В ДРА проживает более 1,5 млн. узбеков.

² Тема вечера — «Саурская революция, поэзия, Навруз».

³ Сулейман Лойик — Президент Академии наук ДРА, известный поэт.

⁴ Ажмал Хатак — популярный пуштунский поэт.

⁵ Мир Абдулкадыр Абхар — персоязычный поэт, друг Советского Союза.

⁶ Местные узбекские поэты Афганистана.

Язык дружбы

Преподавательницам русского языка,
Алле Владимировне Лабунской,
Валентине Борисовне Ивашковой,
Галине Михайловне Чаузовой,
Лидии Андреевне Жагирновской —
посвящаю.

Увидеть и познать сумел я ныне,
Чего не всем понять наверняка,—
То, как несладок труд ваш на чужбине,
Полпреды русского святого языка.

Вы как солдаты — каждый день в походе
За души, не прозревшие пока.
Ваш подвиг — дань эпохе, а не моде,
Полпреды русского святого языка.

Урок ваш каждый, как этап сраженья,—
Так ручейками полнится река.
В пути нелегком с вами Пушкин, Ленин,—
Полпреды русского святого языка.

Ваш труд не скоротечной славы ради,—
Рассчитан не на жизнь, а на века:
Не языку Вы учите, а Правде,
Полпреды русского святого языка.

Вокруг друзья, но и врагов немало —
Угроза, как и храбрость,— велика,
Но трудятся, чтоб дружба вечной стала,
Полпреды русского святого языка!



Мужчины — а как же иначе?—
Не склонны вообще к слезам.
Но видел я, как они плачут
Над письмами, пряча глаза.

В себе замыкаясь мгновенно,
Сидят, потирая виски,
Во власти минутного плена
Сомнений и острой тоски.

Терзают, наверное, сильно
Мольбы, что острее ножей,
В строках еще школьника—сына
И дочки — невесты уже:

Родной, возвращайся скорее,
Семья твоя верит и ждет,—
Такое письмо и согреет
И в сердце смятенье внесет.

Суровые, взрослые люди,
Познавшие жизнь без прикрас,
О, как оказался им труден
Разлуки мучительный час.

Но вновь выпрямлялись мужчины
С уверенной правдой в себе,
И вновь они взглядом орлиным
Смотрели навстречу судьбе.

Амиркул Пулканов

Боец

Отцу моему Умаркулу сыну Пулкана посвящаю.

Отец солдатом был в шестнадцать лет,
Врагов громил, в бою Отчизну спас.
Пришлось ему изведать много бед,
И смерти он в лицо смотрел не раз.

Но юная душа была крепка,
В сраженья шел он доблестно и смело,
Хотя порой на кончике штыка,
Как говорится, жизнь его висела.

Над ним войны ревушие крыла,
Вокруг огонь, и смерть, и черный дым...
Был он, как щит, что пуля не брала,
Как вечная скала,— несокрушим.

Не утонул он, не сгорел в огне,
Песчинкой малой не пропал бесследно.
Живым отец остался на войне,
Дошел он до черты ее победной.

Когда ж домой вернулся, наконец,
Его цветами вешними встречали.
Теперь живет счастливо мой отец,
В воспоминаньях лишь храня печали.

Года прошли, и постарел солдат,
Но сердцем чист он и душой открыт.
«Лишь был бы мир!»— он говорит стократ,
«Пусть жизнь цветет!»— без усталости твердит.

Боец за торжество святых идей,
Вся жизнь его— служение Отчизне.
За мир и труд, за счастье всех людей
И ныне он отдаст остаток жизни.



Если грезы́ разум затумят
И душа моя уснет в тиши,
Если сердце бунтовать устанет,
Мир!
Меня заветного лиши!

Если пери, о любви мечтая,
Не заплачет в думах обо мне,
Если не погибнет вражья стая,
Мир!
Сожги меня в своем огне!

Если успокоюсь и остыну,
К счастью не найду прямых путей,
Погружусь в болотную пучину,
Мир!
Меня поддерживать не смей!

Если Правды и Добра заветы
Я забуду, душу очерня,
Счастья, Мир, лиши меня за это,
Гнев твой пусть да поразит меня!

Если чувства вдруг покроет иней
И, как ветер, сгину без следа,
Если доброта меня покинет,
Мир!
И ты покинь меня тогда.

Если на цветок взгляну с любовью,
А в ответ не улыбнется он,
Мир!
К чему пустые суесловья?
Кто поймет и утолит мой стон?!

Перевод с узбекского Николая Стрижкова.

Сабит Мадалиев



И заново ты вместе с ним с пеленок
проходишь предначертанный свой круг,
когда ходить твой учится ребенок —
в глазенках удивленье и испуг.
Заплачет он — и ты страдаешь вместе,
он засмеется — засмеешься ты,
и он такой единственный на свете,
так повторивший все твои черты.
Восторженность горит в твоих глазах,
когда ты вместе с ним смеешься звонко,
ты связываешь с чудом каждый шаг
и каждый вздох растущего ребенка.
Как дерево цветущее, воздушна
любовь твоя к ребенку своему...
Что человеку в этом мире нужно,
когда ручонки тянутся к нему?

Цветы

Узбек — он жить не может без цветов...
Сухую землю в пальцах перемнет,
за пятерых прольет несладкий пот,
он воду станет приносить в ведре,
и, относясь скептически к жаре,
пока дышать и чувствовать способен,
ее пережить не станет в полдень.
Узбек — он жить не может без цветов.
Покинет без раздумья теплый кров,
свою одежду он протрет до дыр,
но оживит запущенный пустырь.

Сайяр

Перевод с узбекского Дины Рубиной.



Рисунки Ж. Умарбекова.

ПОВЕСТЬ

Глава первая. В начале пути

Вокзальная суета с мельтешением лиц, гудками паровозов, репродукторами, бесстрастно объявляющими о прибытии и отправлении поездов, оставалась прежней. Но она уже не волновала его, как три недели назад, когда на рассвете он вышел из вагона на этот перрон и, поживаясь от утреннего холода, оказался на привокзальной площади. Здесь для него начинался город. И, может быть, отсюда, с этой троллейбусной остановки, начинался для него путь в большую, настоящую жизнь. Тогда и светящиеся в утреннем сумраке окна домов таинственно волновали его..

... Равшан усмехнулся, поддел носком ботинка грязный окурочок на асфальте. Странно, подумал он, как много всегда окурочков на вокзалах.

Впрочем, это понятно. Люди встречают близких и провожают их, уезжают сами неведомо куда и возвращаются спустя много лет. Волнуются, закуривают, не докурив, бросают сигареты. Вокзал... Сплетение человеческих судеб, пересечение радостей и тревог, надежд и огорчений. И разочарований... Равшан вздохнул — ну, что ж, видно, не с этого вокзала начнется твой путь. Ну, и довольно, уезжай. Дома сейчас, наверное, дед ужин готовит. Вот, кряхтя, садится на курпачу, ломает лепешку старческими узловатыми руками...

— Дитя мое, любой дворец с земли начинается. Этим краем отдал жизнь свою я, твой старый дед, здесь погибли твои родители, здесь вырос ты. Куда ты рвешься, словно аллах отмерил жизнь тебе неделями, а не годами? Не торопись в город. Отдай долг земле, взрастившей тебя. Поработай пару лет для колхоза...— дед говорил не торопясь, поглаживая бороду.

Две ночи обдумывал речь, не иначе. Сейчас еще скажет что-нибудь предостерегающее насчет строгостей с поступлением в вуз.

— Да, вот еще соседский Азиз рассказывал, что теперь спрашивают: где, мол, работал, сколько лет? А если не работал, так зачем приехал? Иди-ка ты, говорят, да потрудись для людей, на благо общества, а потом за высшим образованием гонись...

Дед говорил и воодушевлялся от собственных слов, казавшихся ему очень убедительными. Он сидел на деревянных перекладинах для винограда, большие ножницы лежали у него на коленях (с раннего утра он обрезал виноградные лозы), высокий коричневый лоб блестел жемчужинками пота. Внук сидел молча рядом. Из всех доводов деда поколебать его решение мог только один. Дед знал это и берег его под конец. Приняв молчание внука за согласие, он встал, взял ножницы слегка дрожащими старческими руками.

— Вот так-то, дитя мое...— И пошел в сторону сада...

— Дед, а как же довод твой, последний, самый-самый?

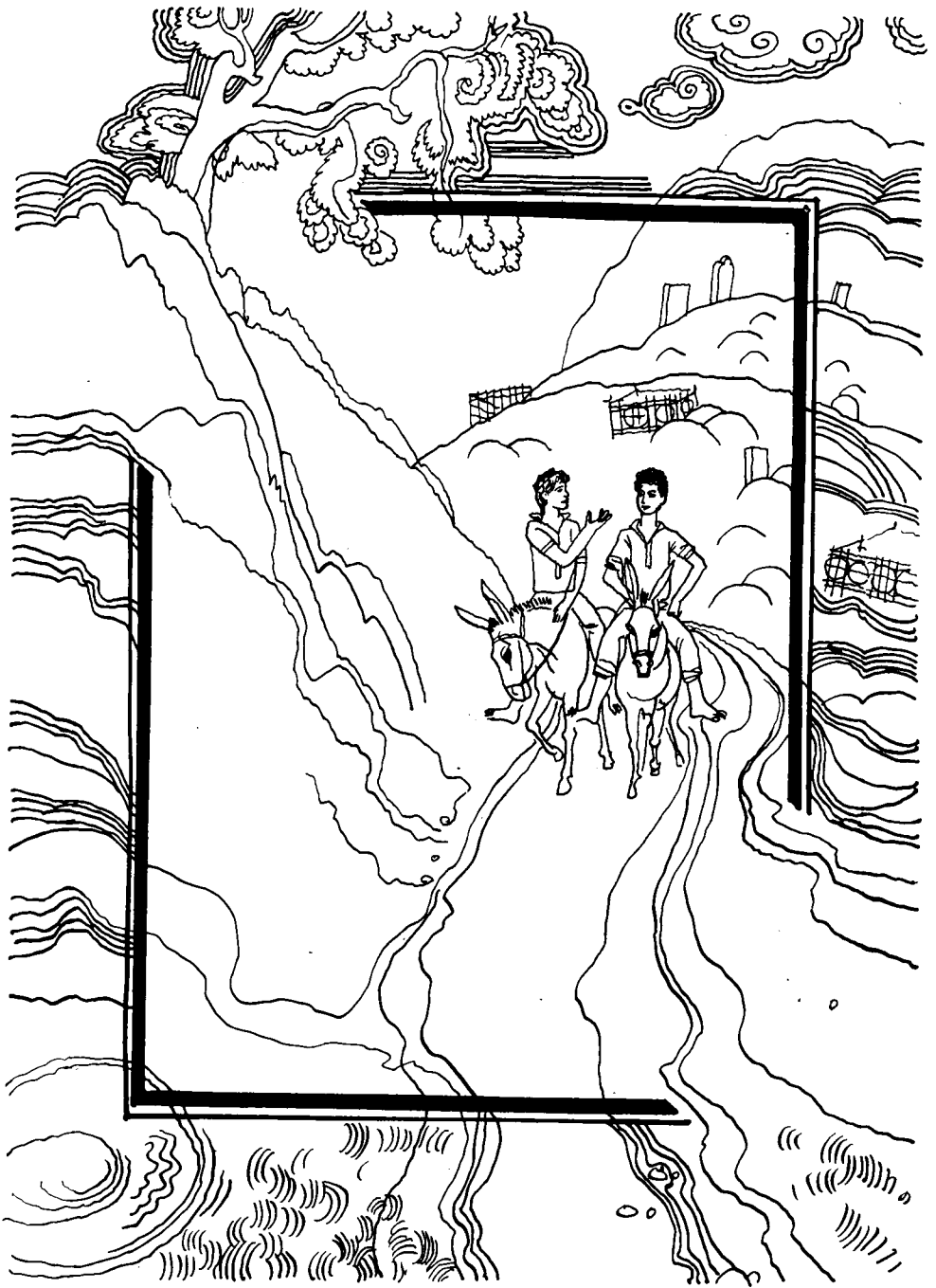
Дед, словно услышав вопрос внука, обернулся.

— Стар я, дитя мое, стар... Хлопотно будет тебе из города-то, на похороны...— И пошел не торопясь по тропинке между урочищами, сгибающимися под тяжестью щедрых веток. В сад, который посадил и взрастил своими некогда сильными и красивыми руками...

«Дед мой, опора моя, мой корень! Когда и чем отдам я тебе тот немислимый долг, который — чем старше я становлюсь — и тяжело пригибает меня, и поднимает, и мучит, и делает выше? Жизнью своей и всем, что во мне и со мной, я обязан тебе. Когда я думаю об этом, представляется мне дерево, срубленное безжалостной рукой. Но крохотный зеленый росток у подножия пня, росток, пьющий соки от корней, тянется вверх вопреки судьбе. Пройдут годы, и он станет деревом, и зашумит ветер в его кроне, и даст это дерево благодатную тень земле и корням, что вскормили его... Я стану деревом, дед, поверь, но для этого я должен уехать отсюда. Я поступлю в институт, выучусь, ты будешь гордиться мной. Ты будешь гордиться мной, и только этим смогу я отдать тебе мой неоплатный долг...»

... Дед уходил по тропинке в сад, и внук смотрел ему вслед.

— Равшан! — Юноша вздрогнул от неожиданности, обернулся. Над дувалом, поднятый чьей-то рукой, сверкал на солнце отточенным лезвием серп. — Сносим дурные головы! Подходи, соблюдая очередность.



Равшан улыбнулся шутке друга.

— Ладно, я за тобой.

Над дувалом показалось лицо Надира: чуть приподнятые, словно всегда чему-то удивляющиеся, брови, круглые черные глаза, прогибающиеся усики.

— Слушай, договаривались же! А ты не готов.

— Я сейчас!

Равшан побежал в сарай, снял с гвоздя старый, с большой деревянной ручкой серп, быстро вывел из-под навеса дедушкиного осла.

Надир уже ждал за калиткой, сидя на своем маленьком, всегда понуром ослике.

— Ну, поехали. Пока доберемся до усадеб, стемнеет.

— Подожди.— Равшан заглянул во двор, позвал громко:— Олапар! Э, Олапар!

Где-то в саду, услышав его зов, залаял Олапар, и через несколько секунд он появился — огромная овчарка, ростом с осленка и такая же серая. Олапар бросился к хозяину, встав на задние лапы, быстро обнюхал его руки и разочарованно отбежал в сторону. Равшан достал из кармана засаленный, с прилипшими крошками хлеба кусок сахара и подбросил его вверх.

— Олапар!

Пес схватил на лету лакомый кусок, разгрыз его.

— Верный пес,— усмехнулся Надир,— особенно, когда у тебя сахар в кармане.

Равшан, не отвечая на насмешку, гладил пса, трепал по шее.

— Олапар, хороший, умный мой пес, пойдешь с нами за травой. Сторожить будешь...

Он, усевшись на дедушкиного осла, свистнул, и Олапар, виляя хвостом, потрусил следом.

— Надирка, умница мой Олапар, а?

— Хвались, хвались! А может, он и траву косить умеет?

... Тропинка карабкалась на холм, обегала тихое кладбище и стремилась дальше, дальше — к самой реке. Проезжая мимо кладбища, Равшан растерянно и как-то очень уж тяжело вздохнул. Надир заметил, вытаращил глаза. Брови, и без того вздернутые, полезли еще выше.

— Ты что? — спросил он, встревоженный.

— Здесь люди лежат, понимаешь... — неохотно ответил Равшан. Не было у него сейчас настроения, но все-таки объяснил: — Дед говорит, покойники точно упрекают живых в равнодушии к себе и словно напоминают: «Были и мы такими, как вы, но станете и вы такими, как мы...» Дед велит не забывать, проходя мимо кладбища, успокаивать их «фатихой», вот так: «Да будет место ваше в раю».

— Бр-р! Мистика! А вдруг здесь лежит какой-нибудь мерзавец, который уж точно для рая не подходит?

— Болтун ты, вот кто!

Когда они подъехали к усадьбам, солнце уже опустилось за кладбищенский холм. По траве скользила длинная тень, кто-то у реки срзал траву.

— Муаззам! — сказал Надир. — Это она. И вчера приходила. О тебе спрашивала, я сказал, что ты пошел за билетом на поезд.

«Странное дело! Бывает так — пусто и тихо на душе, когда и несчастья не случилось, но и радости нет, когда стоишь перед выбором и сам не уверен в правильности своего решения, когда неизвестно — что впереди. И вдруг кто-то рядом произнесет имя, просто произнесет твое имя — Муаззам! Казалось бы, что случилось на свете, когда произнесено оно? А вот случилось! И я уже глубже вдыхаю воздух этого поля, на котором ты заготавливаешь траву, и я уже точно знаю, что придет время, и я докажу тебе, что достоин твоей любви. Сумерки этого летнего вечера мне кажутся более яркими, чем завтрашнее утро без тебя».

На берегу речки рос старый, наполовину высохший тутовник. Надир и Равшан привязали ослов к его стволу и пошли в ту сторону, где была Муаззам.

— Не уставать вам, Муаззам-ой!— торжественно и громко произнес Надир. Резвый он — с места в карьер. И зачем Равшан уговорил его сегодня траву срезать! Знал бы, что здесь Муаззам...

— Здравствуй,— буркнул он, не глядя на девушку.

Олапар вертелся тут же, радостно взвизгивая, словно шенок.

— Ну что, мужички, потягаемся?— азартно крикнула Муаззам, не останавливаясь.

Равшан не ответил. Ему казалось, что вот сейчас, скоро, он сократит расстояние между собой и Муаззам, догонит ее, и стал даже лихорадочно придумывать, что скажет ей, когда поравняется,— что-нибудь веселое, непринужденное, как Надир. Но расстояние между ним и Муаззам никак не сокращалось. Пожалуй, Надир мог догнать ее скорее.

«Зря я отошел так далеко,— с досадой подумал Равшан.— Ну-ка, приналяжем: вот так! вот так! эх! эх! Сейчас догоню...»

Вдруг раздался голос Муаззам:

— Эй, ребята, отдохнуть не думаете?

Равшан с облегчением отложил серп в сторону. Только сейчас он почувствовал, что устал, и, искоса бросив взгляд на Муаззам, побрел через луг к старому тутовнику.

Муаззам сидела на траве, прислонившись к дереву, руками обхватив колени. Левая сторона ее лица была в тени, правая же, освещенная светом луны, казалась прекрасной чеканкой по серебру — выгнутая дугой горделивая бровь, длинный, красивого разреза, глаз, нежная линия щеки, сбегающая к подбородку. Равшан заворожено глядел на освещенное светом луны лицо девушки и думал: «Вот оно, последние веков... Ничего не исчезает, ничего... Вот оно, ожившее лицо с фресок древних мастеров... Жила когда-то гордая царевна с лицом Муаззам, а сейчас, под деревом, в простом платье, обняв колени загорелыми, в ссадинах, руками, сидит вчерашняя десятиклассница с лицом прекрасной царевны Афросиаба...»

Олапар вдруг залаял и бросился в заросли густой травы — за добычей. Через несколько секунд он вернулся, возбужденный и раздосадованный.

«Наверное, еж был,— подумал Равшан,— укололся, вон какой разобиженный».

— Ну что, купил билет?— вдруг спросила Муаззам. Вопрос был неожиданным, голос девушки звучал насмешливо.

Равшан нахмурился, взглянул на растянувшегося рядом на траве Надира и твердо сказал:

— Купил.

— Он теперь почти столичный житель, ты с ним так запросто не щебечи,— усмехнулся Надир. Он лежал на спине, покусывая травинку. Лица в густеющих сумерках было не разглядеть, лишь глаза блестели.

— Да, купил,— повторил Равшан, словно не замечая насмешки приятеля. — Хочу счастья попытать.

— Счастье не лотерейный билет, его по таблице не выиграешь, — возразила девушка.— Хотя поступить ты можешь, попробуй...

— Попробую,— упрямо повторил Равшан. Он чувствовал, что Муаззам не договаривает чего-то.

— Станешь студентом, привыкнешь к большому городу, к кино-театрам, метро, суете... Потом женишься, родишь детей, машину купишь, будешь солидным горожанином... Ташкент, говорят, крепко держит...— Голос ее дрогнул, но она тут же продолжала иронично:— Смешно тебе будет вспоминать, как мы здесь... траву срезали...

Равшан молчал, задумчиво глядя на черный горб холма.

— Ведь не вернешься же?— стараясь говорить беснечно, спросила Муаззам.— Конечно, не вернешься... Там — цивилизация! Что по

сравнению с ней эти луга, это старое кладбище, Олапар, твой девушка...

Сердце Равшана сжала тоска при ее словах, и даже не столько слова подействовали на него, сколько звук ее голоса. «О себе не напомнила,— с болью подумал он...— не хочет — о себе... черт меня дернул Надира сюда позвать!»

— Да ладно тебе, пристала к парню!— воскликнул Надир, поднимаясь с земли.— Уезжает, и правильно делает! Здесь что — кишлак, одно слово!— Он стал собирать траву в сноп.— Будущее за городом!

Равшан встал, отвел рукой в сторону сухие ветви туювника. Теперь лицо Муаззам было освещено полностью. Девушка, заметив, что он смотрит, тряхнула головой и улыбнулась. «Господи,— подумал он,— неужели это та самая вредная девчонка Муаззам, которая пищала: «Будешь за косички дергать — скажу дедушке!»

Девушка встала, отряхивая платье от травинки, принялась вязать сноп.

— Подожди, — негромко сказал Равшан. — Дай-ка помогу.

Они навьючили снопы на ослов, тронулись через луг, мимо кладбища, в кишлак.

— Луна-то какая!— воскликнул Надир.— Это тебе напоследок такой вечер, Равшан! В честь отъезда.

Он отбежал, прошелся по траве колесом, вскочил на ноги.

— Муаззам-ой!— Надир произнес имя девушки торжественно, даже с каким-то тайным упоением.— Муаззам-ой, ты — луна нашего кишлака. Если тебя нет на улице, кругом становится темным-темно!

— Долго думал?— обиделась Муаззам.

— Он восхваляет тебя,— усмехаясь, сказал Равшан,— разве плохо, что он с луной тебя сравнивает? Жаль только, что прозой, в стихах-то — куда ему!

— Пожалуйста, могу в стихах!— возмутился Надир.

— Сияет полная луна,
Но ярче светит Муаззам,

Это... сейчас... ммм...

И в самый светлый день
Темно становится глазам,
Когда сияет Муаззам.

— Не болтай глупости!— Девушка не выдержала, рассмеялась. Равшан тоже расхохотался. Долго злиться на Надира было невозможно, как невозможно было принимать всерьез все его затеи и увлечения.

Понурый ослик Надира остановился и ткнул мордой в знакомые ворота.

— Погулять выйдете?— спросил Надир.— Посидим у речки все вместе, напоследок, а?

— Да нет, собраться надо...— замялся Равшан. Он не глядел на Муаззам.

— И у меня дома дел много,— сказала та.

У ворот Муаззам Равшан помедлил и, отвязав сноп, положил его на землю.

— Завтра на рассвете уезжаю...— сказал он тихо,— выйдешь посидеть?

— Не знаю,— упрямо глядя мимо него, ответила девушка и уже со двора крикнула:— На всякий случай — счастливого пути!

...Он сидел на теплом, нагретом за день камне, под ногами почти бесшумно текла речка. Не умолкали в траве цикады, в окнах глинобитных домов горел свет, изредка лаяли собаки...

«Ну вот, семнадцать...— думал Равшан,— семнадцать. Школа позади...» — Хотелось, чтобы мысли текли широко и вольно, чтоб дума-

лось неторопливо, но сердце то и дело замирало, прислушиваясь к шороху травы,— не идет ли Муаззам...

«Вот и расстаемся...— думал он,— а я так ничего и не сказал ей...»

Деду он все объяснит сегодня, уговорит его как-нибудь. Уже билет купил, скажет. Счастье свое испытаю, дедушка, скажет. Благословите меня... И дед покряхтит, покачает головой, а потом смирится, достанет коран, прочтет что-то непонятное, протяжно и тихо проговорит: «Аллах с тобой, дитя мое. Пусть удача сопутствует тебе. Возвращайся в родные края с победой. Аминь!»

Олапар вскочил, наострил уши и... завил хвостом. Равшан обернулся. В нескольких шагах от него стояла, кутаясь в мамин платок, Муаззам. Сжав дрожащие губы, она молча смотрела на Равшана.

— Пришла?...— тихо сказал он и поднялся.

— Уезжаешь?...— эхом ответила она.

* * *

Вот и все... Через полчаса отправляется его поезд. Вот тебе и покори столицу. Дедушка-то обрадуется... «Ничего, дитя мое. Ничего страшного!»— скажет он. А как глядеть в глаза Муаззам? Провалившийся абитуриент... Ну, что ж, съездил, и хватит. Покатался на метро, даже на футболе был. Хватит с тебя города, приятель, поезжай в кишлак выращивать кукурузу и хлопок, словом, занимайся своим делом... И Надир потешится... Ох, Надир... Лучше вообще не думать о нем. Не зря дед говорит: «Язык Надира острее бритвы».

Нащупав в кармане мятый билет на поезд, он вошел в здание вокзала. Все скамьи были заняты, проходы между ними заставлены узлами, чемоданами, баулами. Плакали грудные младенцы, визжали, гоняясь друг за другом, ребятишки. Через противоположную дверь он вышел на привокзальную площадь. Ну, допустим, он вернулся. А дальше что? Так и будет жить на колхозные трудодни? А мечта стать инженером? Ведь на следующий год он снова будет пытаться... Или вообще остаться здесь, в городе? Остаться! Но где, у кого?

Поезд отходит через пятнадцать минут. Пора. Он повернулся, чтобы идти на перрон, и вдруг его взгляд упал на большое объявление, наклеенное на щит.

«Ташкентскому тракторному заводу

ТРЕБУЮТСЯ:

токари, слесари, электросварщики, сборщики...»

«Вот тебе на!— прошептал Равшан, задыхаясь от волнения.— И общежитие предоставляют! Как же туда добраться? Вот — первый автобус... Поеду. Обязательно!»

Но тут он опять подумал о дедушке и словно услышал его голос: «Равшанбек, дитя мое, работу ты и в своем кишлаке нашел бы. Оставил ты меня одного на все хозяйство...»

С перрона донесся гудок отправляющегося поезда. Равшан бросился туда, пробежал несколько шагов... и остановился. Будь что будет. Дед простит... Он скомкал билет и выбросил в урну. Тут же в вокзальном буфете купил стакан чая с бисквитом, усыпанным орешками, и стал машинально жевать, запивая мелкими глотками. Потом, не торопясь, вышел на остановку, сел в троллейбус. Жить опять стало интересно...

Уже смеркалось, когда он вернулся в институтское общежитие, где жили абитуриенты во время экзаменов. Здесь было весело. Ребята собирались группками, курили, рассказывали, перебивая друг друга, невероятные истории, происшедшие с ними на экзаменах. Девчонки бегали с утюгами из одной комнаты в другую, шушукались. Кто-то

играл в шахматы, кто-то читал лежа. Можно было безошибочно определить по лицам — кто прошел мандатную комиссию, а кто уже купил билет на поезд или на автобус...

Равшан лег на койку у окна, отвернулся, чтобы никто не задавал вопросов. Перед его глазами на стене, выкрашенной голубой масляной краской, была нацарапана химическая формула, а ниже написано чернилами: «Матлюба—идиотка». Маленький суетливый муравей бежал своей длинной дорогой, пересек формулу, нерешительно остановился перед разоблачительной надписью, но, видимо, что-то решив для себя, пересек и ее... «Завтра на завод...— думал Равшан...— Автобус номер один... Не забыть: автобус номер один».

Потом потянуло холодом с реки, где-то далеко залаял Олапар, и дедушка, откуда ни возьмись, протягивал Равшану кусок лепешки, густо намазанный жирным каймаком. «Ешь, дитя мое, ешь,— говорил он,— похудел ты что-то...» И долго, долго во сне одолевали его заботы — и ослу корму не задал, и травы мало накопил, и дувал пообсыпался, надо глину замесить и обмазать...

...Он проснулся на рассвете, быстро умылся и, стараясь не разбудить ребят — не хотелось вопросов, ненужных советов,— бесшумно собрал чемоданчик и вышел на улицу. Прежде всего надо было позавтракать, и Равшан повернул в сторону Алайского базара.

С раннего утра базар жил своей хлопотливой жизнью. Равшан купил у маленькой сморщенной старухи горячую, пахнущую тмином лепешку и зашел в чайхану. Здесь еще было безлюдно, только чайханщик у громадного самовара споласкивал в алюминиевом тазу пиалушки. Они поздоровались. С того дня, как Равшан приехал в Ташкент, он каждое утро завтракал здесь, чайханщик уже узнавал его и часто болтал с парнем о том о сем.

— Ну, что, приятель, поступил?— Выбрита до блеска голова, лукавые карие глаза, двойной подбородок, большой живот, перетянутый белым фартуком,— чайханщик был сама доброжелательность.

Равшан помялся, нагнулся ниже к пиале, прихлебывая чай.

— Нет, не получилось.

— Не огорчайся. Будет цела голова, тубетейка найдется. Поступишь на следующий год. Главное — верить в это, надеяться. Правильно я говорю, приятель?— Он подмигнул парню, ловко подхватил пирамиду чистых пиалушек и ушел на кухню.

Равшан бросил в пиалу гривенник и вышел. Перед ним буйным пышноцветьем колыхался цветочный ряд.

«Ну, ехать, так ехать...»— подумал Равшан и решительно повернул к остановке автобуса.

Он долго шел вдоль высокого серого забора, пока отыскал проходную и отдел кадров.

«Народу-то... — подумал он, оробев, глядя на широкий людской поток, стекающийся к проходной.— Тьма...» Нигде еще, никогда в жизни, ни на праздниках в кишлаке, ни на сборе хлопка, не видел он такого количества людей, собравшихся вместе, идущих в одном направлении. Он стоял у двери отдела кадров, не решаясь войти, и все глядел на спешащих мужчин и женщин, бегущих с остановок трамвая и автобуса. Поток людей начал редеть, редеть и, наконец, иссяк. Последняя девушка, запыхавшись, вбежала в проходную.

«Ну, что встал, кишлачный!»— ругнул себя Равшан и решительно толкнул дверь в отдел кадров. Здесь было тихо и прохладно. Равшан не сразу заметил сидящую за деревянным барьером маленькую худощавую женщину. Склонившись к столу, она что-то писала.

— Здравствуйте...

Женщина подняла голову, мельком оглядела его, кивнула.

— Я... в общем... на работу...— пробормотал он и ужаснулся собственному голосу — робкому, извиняющемуся.

«Дурак!— разозлился он на себя.— К баю, что ли, наниматься пришел?» И сказал громче:

— Гожусь?

Женщина посмотрела на него уже с любопытством: паренек невысокий, худощавый, с мягкими чертами лица, хоть девчонкой наряжай. Только брови срослись и взгляд из-под бровей внимательный и упямый.

«Ишь, сердитый,— подумала она,— непонятно, на кого злится...»— улыбнулась и подала ему листок.

— Годишься! Заполняй...

* * *

Первый день его на заводе тянулся бесконечно. И эта бесконечность, чужие лица вокруг, собственная неприкаянность среди занятых своим делом людей, тяжелый вибрирующий гул работающих станков — все это слилось в его воображении в длинную тягучую пеструю ленту. Вокруг было столько нового, удивительного, что скоро Равшан вообще перестал удивляться чему бы то ни было. Даже огромный, похожий на зал ожидания в аэропорту, зал столовой, где обслуживалась сразу почти тысяча человек, он воспринял как должное. «Гигантский завод,— подумал он и сказал себе насмешливо:— Это тебе не кишлак, дитя мое».

Когда в пять часов вечера людской поток вынес его через проходную на улицу, Равшан, все еще ощущая напряжение во всем теле, будто за ним наблюдали сотни глаз, купил в киоске мороженое и долго сидел на скамье, машинально, не чувствуя вкуса, глотая холодные куски и прислушиваясь к тому, как медленно оставляет тело дневное напряжение.

В общежитие идти не хотелось. Ему дали место в комнате на четверых. Парни все были взрослые, уже отслужившие в армии — свои разговоры, свои, непонятные ему, шуточки. Особенно старался один из них, Саид,— длинный, тощий, с жесткими волосами и щербатым ртом. Равшан, взглянув на него, почему-то сразу подумал, что Саиду удобно сплевывать. В первый же вечер тот принес бутылку «Пшеничной», широко жестом пригласил:

— Отметим новенького! За пополнение рабочего класса!

— Я не пью,— сказал Равшан.

Саид скорчил такую гримасу, что остальные — красивый, с лукавыми черными глазами Сурен и маленький, коренастый, с глубоко посаженными глазами Коля — так и покатались со смеху. Саид прошелся по комнате плавно и горделиво, как танцовщица из ансамбля «Бахор», разводя руками, приглашая зрителей подивиться на чудо, затем плюхнулся на кровать рядом с Равшаном, спросил с притворным состраданием:

— Не пьем, значит?

— Нет,— сдержанно ответил Равшан, уже чувствуя, как все вокруг рады этой потехе.

— И не курим?

— Нет.

Саид заглянул под кровать и изобразил на физиономии горестное разочарование.

— А горшочка-то нет! Как же без горшочка? Няня «а-та-та» делает!

Сурен и Коля просто катались со смеху. Коля так и сидел в одном ботинке, не успев его снять.

Равшан молча, серьезно смотрел на веселящуюся компанию. Сейчас, как никогда за последний месяц, ему особенно остро захотелось открыть калитку своего дома, войти во двор, увидеть дедушку, Олапара.

— Ладно,— вдруг негромко сказал Коля, снимая второй ботинок.— Оставь человека. Поржали, и будет... Пусть живет, как знает...

Только веселый Сурен еще долго смеялся, изредка подмигивая Равшану.

...Сегодня в комнате, к счастью, никого не было. Равшан лег на кровать, задумался, глядя в потолок. Он не мог сказать, чем утомил его этот длинный, длинный день. Ведь Равшан и не работал вовсе. Так, вертелся между станков, присматривался к работе других. Он вспомнил огромный заводской двор, забитый новенькими тракторами. Прицепы — те девать некуда, налезают друг на друга, не успевают их забирать. А вот в кишлаке тракторов не хватает. Сколько их простаивает в мастерских из-за нехватки запчастей! Интересно, почему?

Он вдруг решил написать письмо Надиру, рассказать ему подробно о заводе, о своих новых, торопливых, городских мыслях. «Подумает, что я подался в рабочие, потому что в институт не поступил...— Он тяжело вздохнул, мысленно махнул рукой на все свои переживания.— Пусть думает; что хочет. Не сегодня, так завтра узнает правду. Лучше уж я сам...»

Равшан долго, обстоятельно писал письмо и все время уговаривал себя: ведь, обращаясь к Надиру, не стоит писать о Муаззам? Потом пробежал глазами строчки, еще раз мысленно похвалил себя за мужскую сдержанность и дописал: «Передай привет Муаззам. Приезжайте в Ташкент, я покажу вам свой завод».

«Осень, городская осень шелестит сухими листьями по асфальту. Городская осень выкрасила деревья в блеклые рыжие тона. Какая она несмелая, негромкая — городская осень...

А у нас сейчас мчатся по небу клубящиеся белые облака и высятся на полях огромные хлопковые холмы. Ляжешь на теплую еще землю, посмотришь вверх, и не понять — то ли это груды хлопка по небу плывут, то ли облако огромное на поле опустилось...

Синь и белизна, и платиновые гривы деревьев...»

— Равшан! Что с тобой? Невеселый какой-то, своих не узнаешь...

Перед ним, в легком голубом плаще, придерживая рукой детскую коляску, стояла, улыбаясь, Анна Васильевна. Сейчас эта молодая сероглазая женщина с родинкой на нежном подбородке совсем не была похожа на его строгую деловую наставницу — Анну Бурчину. Он смутился.

— Здравствуйте... Анна Васильевна...

— Здравствуйте, здравствуйте!— расхохоталась Анна.— Давно не виделись, с сегодняшнего дня... Куда собрался?

— Да вот... письмо другу написал... Почтовый ящик ищу.

— Ну, беги до угла, а я тебя здесь подожду.

Равшан кивнул, побежал к зданию почты и, отыскав ящик, бросил в щель конверт. Возвращаясь, он видел хрупкую фигурку в голубом плаще и удивлялся про себя — остановила, заговорила, неужели не надоел он ей за день?

— Посидим в парке?— предложила она.— Ты не торопиться?

— Нет, что вы!— поспешно выпалил он:

— А я так осень люблю... Все-таки она особенная — осень в Азии... Молчаливая, безветренная... Смотри, как листья падают, словно плывут...— Она быстро наклонилась и подобрала большой кленовый лист с опаленными желтизной краями и сухим коричневым черенком.

Другой рукой она подталкивала перед собой коляску. В парке было тихо, на дорожках, на пустых скамейках густо лежали листья. Анна Васильевна села, и Равшан послушно опустился рядом.

Ребенок в коляске заворочался, зачмокал губами. Равшан с любопытством заглянул в коляску.

— Нравится?— спросила Анна Васильевна, улыбаясь.

— Нравится,— ответил он,— а как его звать?

— Его звать Светочка...

Они помолчали, словно прислушиваясь к медленному шороху падающих листьев.

— А у нас в кишлаке...— вдруг сказал он и замолчал. Подумал неожиданно, что уж ей-то совершенно неинтересны и его кишлак, и его переживания.

— Равшан,— негромко сказала Анна Васильевна,— ну-ка, выкладывай, что у тебя... Скучаешь? По родным местам, по родителям? Большая семья у тебя?

— У меня... семья...— трудно выговорил он, не зная, как и что сказать дальше, но уже испытывая страстное желание говорить, говорить, выговорить этому едва знакомому, но уже чем-то родному человеку все, что накопилось у него за последний месяц.— Дед — вот моя семья... Вся моя семья... Дед-отец, дед-мать...

Он невесело усмехнулся и мельком взглянул на Анну Васильевну. Она с немym удивлением, серьезно и строго смотрела на него. И тогда, торопясь и сбиваясь, внезапно замолкая, словно спотыкаясь о невидимый камень, он рассказал о деде, о своем кишлаке, о родителях, погибших в автомобильной катастрофе, о своей мечте стать инженером, о недавней тоске на вокзале...

Она молча слушала, не перебивая, все так же серьезно и пристально глядя на парня. И когда он умолк, негромко сказала:

— А знаешь — молодец, что не вернулся в кишлак. Все у тебя здесь устроится, вот увидишь... Получишь квартиру, заберешь деда... И снова будете вместе.

— Да что вы!— воскликнул он.— Вы деда моего не знаете, Анна Васильевна! Он без клочка земли, без сада жизни своей не представляет... Да он всех городских жалеет, если хотите знать, считает их обделенными.

— Ну что ж, может, он в чем-то и прав...— задумчиво проговорила она...

Глава вторая. Анна Васильевна

— Знаешь, я ведь тоже родом из деревни... Может быть, слышал: село Благодатное? Это под Оренбургом. Большое село, красивое, степное... Сады кругом, а весной за околицу выйдешь — степь расстилается, пока глаз хватает... Я была вторым ребенком в семье, а всего нас шестеро. Дружная у нас семья была, веселая. В голодные годы, бывало, на одной картошке сидим, а все равно вечером все соберем, кто запоет, кто расскажет что-то — весело. Мама медсестрой работала, отец — монтером в колхозе... Я очень люблю о детстве вспоминать. Может быть, человек так любит вспоминать о детстве потому, что не вернешь его?— Она задумалась.

— А сейчас где семья?— осторожно спросил Равшан.

— Мама-то жива,— откликнулась она,— а вот отец... Стояла суровая зима, морозы все не отпускали. Зимой у нас в оренбургских степях не сладко... И в ту страшную зиму дули такие ветры, что гудели про вода, жутко, жалобно... В один из таких дней к вечеру вдруг погас свет. Представляешь, все село, все семьдесят дворов, без света...

Отец — за дело, надел на ноги стальные крючья, полез на столб. Люди сбежались, детишки окружили столб. Тоже развлечение в тоскливую зиму — посмотреть, как монтер «свет наладит»... И вдруг... Не знаю, что там произошло, но только полыхнула молния, и отец замертво рухнул. У меня подкосились ноги, как во сне, я услышала страшный крик матери, к столбу бросились люди. Да что там! Было поздно, отца спасти не смогли...

Анна Васильевна тяжело вздохнула, нахмурилась. Равшан не задавал вопросов, не хотел прерывать ее страшный и такой простой рассказ.

— Перебились мы с мамой эту зиму, а весной старший брат в Ташкент подался, на работу. Через год и я вслед за ним уехала. Мне повезло, я попала к хорошим людям. В то время начальником цеха был Волошин, нынешний замдиректора. Он заботился о нас с братом, как родной, устроил в общежитие, бегал, выбивал какую-то денежную помощь... Наставницей у меня оказалась Маша Колпакова, вот ей-то я и обязана всем, что умею. Да разве только ей? Ты Петра Семеновича Вулкидиса знаешь? В нашем цеху он, сменным мастером!

— Это который? С усам?

— Точно. Золотой человек! Вообще, сколько на нашем заводе хороших людей!

— Вы сами хорошая, Анна Васильевна! — вырвалось у Равшана. — Вот и другие для вас хороши...

Она засмеялась.

— Ой, погоди! Вот запорешь деталь какую-нибудь важную, узнаешь мой характер, увидишь, какая я «хорошая».

Крохотная Светочка проснулась, закричала, поворачивая голову, ища глазами мать. Анна Васильевна вскочила, засуетилась над ней.

— Ой, Равшан, извини, столько времени отняла у тебя, — проговорила она. Ей, молодой матери, склонившейся над своим ребенком, было уже не до парня. Равшан попрощался, медленно побрел по дорожке, ведущей из парка. Еще зеленый, но уже со ржавчиной увядания лист платана спланировал на его плечо. Улыбнувшись, он снял этот подарок осени и повернул в сторону общежития...

... В комнате никого не было.

На улице совсем стемнело. Он разделся и лег, прислушиваясь к разноголосому говору за окном. Дневная усталость давала о себе знать, в ушах все еще стоял шум станков, перед закрытыми глазами проплывали едва знакомые лица...

Он вспомнил рассказ Анны Васильевны и вздохнул прерывисто, горько. Его судьба в чем-то была схожей с судьбой этой женщины. Отцы обоих погибли ради людей, делая добро... Как несправедлива жизнь. Дед говорит: «У хороших — жизнь коротка...»

«Отец и мать... Мама... Папа... Как это прекрасно, когда у тебя есть отец и мать, как это здорово — чувствовать за своими еще хрупкими плечами их родные и крепкие плечи...

Я напрягаю память, силясь вспомнить хоть смутно, дорогие лица, но тщетно: что может помнить о родителях человек, оставшийся сиротой в младенчестве?.. Дед говорит, они были, словно Тахир и Зухра, и, когда шли по кишлаку, люди не могли наглядеться на них... Я представляю обоих в белых халатах, они работали врачами в кишлачной больнице. Еще я представляю ту страшную ночь и ливень, размывший дороги... И силюсь представить себе даже лицо той молодой женщины из горного кишлака Боймазар, которая никак не могла разродиться. Эту весть принес ее муж — маленький, забрызганный грязью, промокший насквозь... Он шел пешком, он бежал, он умолял о помощи...

Отец поехал с мамой, побоялся отпускать ее одну в такой ливень...

Бог ли помог, мамина ли рука оказалась легкой — не знаю, только женщина благополучно родила. На рассвете они сели в больничный «газик», чтобы вернуться домой... Чтобы вернуться ко мне, своему единственному сыну. А я в это время лежал в люльке, пуская пузыри...

И тут я всегда говорю себе: не надо! Довольно, к чему представлять себе дальше, как по размытой горной дороге мчится грузовик, мчится прямо на больничный «газик». И вот искореженный «газик» летит в пропасть. Нет, не надо! Но проклятое мое воображение уже не в силах остановиться, в ушах моих визжат и хрипят бесполезные уже тормоза. И я, зажмурив глаза, проглатывая душасший комок в горле, беспомощно молю неведомого кого — не надо, не надо, не надо!»

* * *

Анна Васильевна взяла деталь цилиндрической формы, строго взглянула на Равшана.

— Это видишь?

— Вижу, — улыбнулся он.

До сегодняшнего дня Анна Васильевна показывала ему работу станка, рассказывала, объясняла, но к самостоятельной работе не допускала. Сегодня впервые он начнет учиться управлять станком.

— Измерь, сколько нужно просверлить сверху и снизу.

Он повертел в руках деталь и так и этак, словно приноравливаясь к ней, взял прямоугольный измеритель.

— Это измеритель для прямоугольных деталей. А для таких, цилиндрических, вот этот!

Из-под туго повязанной косынки на ее хрупкие плечи упало несколько светлых пепельных прядей. Строгие серые глаза внимательно следят за каждым движением парня. Она подала ему измеритель, напоминающий трубку, и деталь, изготовленную еще вчера.

— Да по этой детали можно на глаз мерить! — уверенно заявил Равшан.

— Не торопись доверять глазам. Размеры должны быть точны до миллиметра. Малейшая ошибка — брак!

Равшан взвесил на ладонях две детали, сравнил их; неуклюжую, шероховатую — с уже готовой, сделанной руками наставницы. Никакого сравнения! Вот что значит — «золотые руки».

— Ну, так мы с тобой, дружище, сегодня даже нормы не выполним! — нетерпеливо воскликнула Анна Васильевна. — Работать надо, работать, а не мечтать, понятно?

Равшан подошел к станку, вытер его промасленной тряпкой, раскрыл «зубы» и установил деталь. Затем, сосредоточенно нахмутив брови, нажал кнопку и, чувствуя необыкновенное напряжение в руках, подвел деталь к резцу. Казалось, не только станок, но он сам сотрясался от вибрации и гула. Пот струйками стекал со лба.

«Тяжело как! — думал он. — В школе мы древесину запросто обрабатывали, а здесь... железо железом... тяжело!»

— Это тебе не древесина! — перекрывая шум станка, воскликнула Анна Васильевна, словно прочитала его мысли. Он кивнул, продолжая работать. Вдруг ему показалось, что станок перегрелся, и он нажал на кнопку.

— Ты что?! — спросила Анна Васильевна. — Нельзя останавливать. Резьба потом не сойдется.

И хотя на лице ее не было и следа раздражения, Равшан почувствовал холодок в груди и ощутил, как мгновенно прилила кровь к вискам, как в тот день, когда он не прошел мандатную комиссию.

Анна Васильевна спокойно продолжала, словно не замечая его состояния:

— Если станок перегреется, загорится вон та лампочка. Тогда и останавливай, а то перегревшийся станок начнет брызгать железными опилками. Не дай бог, в глаза попадут — тогда беда...

Она даже не смотрела на него, упорно не желая замечать его растерянности. А он думал: «Ничего из меня не выйдет... Ни к чему я не пригоден...»

— Анна Васильевна, — понурясь, сказал он, — давайте я лучше буду таскать готовые детали, чистить станок...

— Детали подает подъемный кран, он же забирает готовые. А чистить станок — обязанность каждого, — сухо ответила она, мельком, но внимательно взглянув ему прямо в глаза. — А ты, насколько я понимаю, хочешь стать современным квалифицированным рабочим?

— Кажется, такого из меня не выйдет... — угрюмо пробормотал он.

— Вот те на! — вдруг засмеялась наставница. — Трагедия какая! Ну-ка, смотри еще раз, как это делается! — И пустила станок, просверливая оставшуюся часть детали.

Но исправить настроение Равшана не могло уже ничто, даже ободряющая улыбка.

«Неумеха... — думал он, — к чему руки ни приложу, ничего не выходит... Двух шагов самостоятельно сделать не могу, все из рук валится... Может, пора признаться себе в своей полнейшей бездарности и податься назад в кишлак, сено косить?..»

Пока он горько размышлял о своих неудачах, Анна Васильевна просверлила и отшлифовала одиннадцать деталей. Эта маленькая хрупкая женщина работала с такой отдачей и энергией, что, глядя на нее, Равшан совсем скис. До конца смены он слонялся возле станков, не зная, куда деть себя, свои руки. Прошел мимо него начальник цеха и сказал, поглаживая усы:

— Ну, как дела? Не получается пока? Ты, парень, работай, а не бездельничай, тогда получится, все получится!

«Говорит, как оплеухи раздаст, — подумал Равшан. — Поласковой, не может... Видать, это и есть знаменитая «рабочая прямота».

В половине пятого Анна Васильевна остановила станок и сказала Равшану устало:

— Посчитай, сколько отшлифованных деталей.

— Я считал! — восторженно воскликнул он. Действительно, от нечего делать Равшан успел пересчитать изготовленные наставницей детали. — Пятьсот одиннадцать!

— Пятьсот одиннадцать... — прикидывая что-то в уме, повторила она. — Ну что ж, достаточно. Норма — триста тридцать. Это мои. Остальные — тебе...

— Нет! — с внезапной горячностью воскликнул он. — Я не хочу быть нахлебником! — Краска стыда залила его лицо, глаза из-под сросшихся бровей смотрели на Анну Васильевну упрямо и виновато. — Пусть вычтут этот день из моей зарплаты.

— Слушай, петух, — так же устало, не обращая внимания на его возмущение, проговорила она. — Я тебе кто? Я твоя наставница. Я за тебя отвечаю, понял? И ты должен во всем мне подчиняться. Вот получишь станок, тогда будешь распоряжаться и собой, и своим временем, и своими деталями. — Она вытерла пот со лба и, не глядя на Равшана, открыла кран над раковиной и стала мыть руки.

А он сидел на ящике с деталями и казнил себя. Что теперь делать, как повести себя? Попросить извинения? Хорош гусь — бездельничал целый день, а потом разыгрывает оскорбленное достоинство. И вдруг, как часто бывало за последние дни, он ясно увидел перед собой деда, его умные, все умеющие руки, услышал его голос: «Повинную

голову, дитя мое, и меч не сечет... Вовремя осознать свою вину — это дело мужское».

Он подошел к наставнице, понурясь, постоял сзади, ожидая, пока она вымоет руки, и сказал, тронув ее за локоть:

— Простите меня, Анна Васильевна...

Она медленно сняла с вешалки полотенце, не торопясь вытерла руки, и когда он уже отчаялся вообще что-либо от нее услышать, вдруг оглянулась и просто подмигнула ему, весело и ободряюще.

* * *

Вечером в комитете комсомола состоялось собрание. Так сказать, знакомство с молодежью, поступившей на завод за последний месяц...

После собрания Равшан шел по безлюдной темной улице и вспоминал все, что было на собрании интересного. Жизнь для него наполнилась новым, волнующим смыслом. Оказывается, при заводе есть вечернее техническое училище, это — раз! Он обязательно пойдет туда учиться. При Дворце культуры открыты курсы по подготовке шоферов, это — два! Запишется непременно. Разве помешает ему в жизни профессия шофера? И, наконец, на собрании создали группу ДНД по борьбе с хулиганами на территории заводского городка. Записался. А как же! Надо бы узнать еще относительно какой-нибудь спортивной секции — дзюдо, например, или каратэ. Он просвистел какой-то веселый мотивчик, подмигнул в темноте самому себе: «Вот так, Равшанбек! Это тебе не кишлак!»

Все огорчения сегодняшнего дня как рукой сняло. «Завтра все будет по-другому, — решил он. — Вы еще будете гордиться мной, Анна Васильевна!»

Равшан поднимался к себе в комнату, перепрыгивая через две ступеньки.

— Равшан! Где тебя носит? — окликнула его вахтерша тетя Нюра. — Танцуй!

Тетя Нюра, в неизменном пуховом платке на плечах, показывала ему два конверта. Равшан подбежал к ней.

— Оба — мне?

— Танцуй, танцуй!

Он раскинул руки, прошелся по кругу.

— Хоть адрес дайте посмотреть — от кого?

— Танцуй! — смеялась тетя Нюра. Ей редко выпадало такое веселье на дежурстве.

Наконец Равшан завладел письмами, в несколько прыжков поднялся наверх, вбежав в комнату, захлопнул за собой дверь. К счастью — никого. Коля и Сурен, по обыкновению, на танцах, Саид где-нибудь в компании.

Равшан быстро разорвал конверт и сразу узнал почерк. Но, словно бы желая окончательно убедиться, перевернул листок, ища подпись. «Ваша сестренка Муаззам». Он чуть не вскрикнул от радости. Лихорадочно прыгая взглядом по строчкам, забегая вперед, перечитывая одни и те же строки по два-три раза, он буквально проглотил письмо за две минуты. Муаззам писала чинно, обращаясь к нему на «вы», как это еще принято в кишлаках.

«Здравствуйте, Равшан-ака!

Если бы не дедушка, не стала бы распечатывать ваше письмо. Но он решил, что если письмо писал его внук, то он имеет право прочесть, о чем он пишет другу своему Надиру. Настоящий же хозяин письма, наш НаDIR, уже три дня как призван в армию. Вы же помните, он был самым старшим в классе.

У нас все по-прежнему, все здоровы. Была свадьба у вашего соседа, Абдурахмана-ака. Он вернулся из армии и привез невесту. Знае-

те откуда? С Украины! Тетя Башорат сначала плакала, возражала, но ваш дедушка вовремя вмешался. «Не гневи аллаха, Башорат, не противься его воле. Ведь сюда привез невестку Абдурахман, а мог сам там остаться». Вчера мы с Мунавар ходили смотреть на невесту. Если бы не говор, то и не отличишь ее от нас. Брови черные, глаза большие, карие — такая красивая! Молодец, не побоялась в чужие края ехать. Значит, любит Абдурахмана-ака...

А я теперь работаю почтальоном. Знаете, на чем почту развожу? На вашем велосипеде. Мне его дедушка отдал. А вам он купит новый, когда вернетесь. Ваша корова отелилась. Хорошенький такой теленок, бурый, в белых «чулочках». Корову я дою, не беспокойтесь. Тетя Таджи еще не приехала. А что вытворяет ваш Олапар! Ни на шаг от меня не отстает. Может быть, это он не меня сторожит, а ваш велосипед? Пока я на почте, ждет меня у двери как привязанный, а иногда выбегает на дорогу, по которой вас провожали, и воеет, задрыв голову. Соскучился, бедняга. Ведь он — животное и не может терпеть, как человек.

Ну, вот и все наши новости, мы с дедушкой передаем вам привет, а дедушка вас благословляет. Письма можете писать прямо на почту, все равно попадут в мои руки. С уважением — ваша сестренка Муаззам».

«Я поднесу к лицу этот листок, исписанный твоей рукой, вдохну его запах. Хорошо, что меня сейчас никто не видит. Подумать только, сколько счастья может таить в себе простой листок, вырванный из учебной тетради и исписанный твоей рукой! Лукавая девчонка, ты нарочно написала такое степенное, чинное письмо, ты словно давала понять: неизвестно, Равшанбек, что стало с вами там, в Ташкенте, с кем вы встретились и кто у вас в сердце. Поступайте, как хотите, а я, как видите, не умираю без вас...» Хитрюга! Ты же знаешь сама, что в сердце моем, кроме тебя, никого не было и нет! Я представляю, как ты писала это письмо, а рядом сидел дед и диктовал, поглаживая бороду и кивая головой, словно бы соглашаясь с собственными словами. Как соскучился я по тебе, дед... Да и тебе, должно быть, не сладко одному там, в нашем доме, в нашем огромном дворе. Впрочем, сколько помню я деда, он никогда не скучает. Как выпадает свободная минутка, берет толстенную книгу Ибн Сины и читает, шепча что-то, вода по строчкам сухим коричневым пальцем. Удивительный он человек. «Терпение, дитя мое, — самое главное лекарство. И в трудную минуту, и в хороший час — одно только терпение спасает нас от разочарования, обиды, горечи. Только терпеливый, выдержанный человек не болеет, спит спокойно, живет долго...» Дед многое знает. Кое-кто у нас в кишлаке его за глаза «колдуном» зовет. Дед может, глядя в лицо человеку, сказать, что того беспокоит, рассказать о его жизни. «Откуда ты знаешь про все, дед?» — спрашивал я его. «Чувствую, дитя мое, чувствую... Сердце мне подсказывает». Еще он говорит мне: «Настанет время, настанет, дитя мое, и я передам тебе свои знания... И я учился лекарскому делу у дедушки своего. Ведь раньше вся наука была у людей в уме, в памяти, и ее передавали из поколения в поколение. И люди меньше болели, и вера в лекарей была крепче... А сейчас придумали какие-то рецепты, по которым совсем другие люди делают снадобья. А я сам смотрю на больного, и прислушиваюсь к нему, и беру его за руку, и сам готовлю ему целебный отвар из трав. И человек верит мне, моему лекарству, пьет его и выздоравливает. Потому что это сама природа его лечит. Разве может быть что-нибудь на свете целебнее трав? Нет, дитя мое, природа все предусмотрела, сама создала лекарства от всех болезней, надо только знать травы и уметь пользоваться ими...»

Дед мой, дед... Видать, и я по тебе здорово соскучился, вон сколько твоих слов вспомнил сразу! Живи долго, дед, лечи людей, учи их любить природу... А Муаззам... Так и вертятся в голове ее слова: «Ведь Олапар — животное, и не может терпеть, как человек...» На что это она намекает?! А помнишь, Муаззам, когда прошлой весной в нашем саду созрела черешня, и я, сорвав пару, повесил тебе за ушко, ты зарделась, как эта черешня, и улыбнулась мне хитро-хитро? Может быть, уже тогда ты догадывалась о моих чувствах?»

Да, а второе-то письмо от кого же? Конверт очень красивый, с большими синими цветами, а адреса нет, написано только «Азизову Равшану». Видно, занесли прямо в общежитие...

Равшан вскрыл конверт. «Равшан, завтра, в шесть, мы ждем тебя дома. Приходи обязательно. Анна». Ниже значился адрес, и был даже рисунок, изображавший, как найти дорогу к ее дому от общежития.

«Странно,— подумал Равшан,— весь день работали вместе, могла бы и так сказать... Церемонии какие-то.

* * *

Назавтра Равшан пришел на работу чуть ли не раньше всех в цехе. У станка вместо Анны Васильевны стоял ее сменщик. Антон Ильич уже работал. Равшан подошел и, чтобы тот услышал, громко крикнул: «Здравствуйте!» Антон Ильич кивнул, продолжая работать. Тогда Равшан быстро надел рукавицы, свой новенький, но уже запятнанный маслом фартук и стал близко, рядом с Антоном Ильичом, наблюдая за тем, как точно и ловко, без единого лишнего движения тот устанавливает деталь, сверлит ее. Заметив его интерес, Антон Ильич обернулся и спросил:

— Что, дома не сидится, парень? Работать пришел? Вы же сегодня с наставницей выходные...

— Правда? А я и не знал!— удивился Равшан и сразу понял, почему Анна Васильевна пригласила его запиской — просто до вечера они сегодня уже не встретятся.

— Вот и отдыхал бы,— строго сказал Антон Ильич.

— А от чего мне отдыхать?— задорно возразил Равшан.— Пока я не очень-то переработал. Поучусь лучше.

— Ох, как захочешь еще отдохнуть, погоди,— усмехнувшись, сказал Антон Ильич, но, внимательней посмотрев на парня, остановил станок и передал его Равшану. Тот, чувствуя, как напряглось все тело, как забилося сердце, установил на станке новую деталь и нажал на кнопку пуска. Он очень волновался. Станок работал быстро, и Равшану казалось, что он не успевает... Но Антон Ильич, наблюдавший за ним, похвалил:

— Спасибо твоему учителю. Некоторые, пока привыкнут к запаху цеха, шляются по месяцу без дела... Молодец твой учитель, не зря говорят — новатор!

Горячие капли пота ползли по лицу, плечи и руки ныли от напряжения, спина, казалось, просто разламывалась, но Равшан работал до самого обеда. Когда он остановил станок на обеденный перерыв, Антон Ильич сказал:

— Не ходи в столовую. Вон сколько еды мне тетя Маруся завернула! Не съешь одному. Присаживайся, компанию составишь.

Признаться, Равшан так устал, что ему совсем не хотелось есть. Но, чтобы не обидеть дядю Антона, он присел рядом на перевернутый ящик, взял с расстеленной газеты вареное яйцо, хлеб, густо намазанный маслом.

— Ешь, ешь, — приговаривал дядя Антон. — Ты теперь рабочий,

физическим трудом занимаешься, много сил тратишь... Раньше хозяин как работника нанимал, знаешь?

— Знаю,— улыбнулся Равшан.— Мне дедушка рассказывал...

— Вот... Мы — кто? Мы — производители материальных ценностей! Мы, все вместе, знаешь, какая сила? На нас государство держится. Да ты, небось, в школе это проходил... И ты, парень, никого не стесняйся, не сторонись... Здесь все свои.

«Да,— подумал Равшан,— и в самом деле, знал ли ты, каких людей встретишь здесь, на заводе, когда одинокий и растерянный читал на вокзале то объявление? И вправду тебе повезло. Вот уж действительно, удивительные люди — рабочий класс!»

«А Саид?— спросил себя Равшан.— А как же Саид? Ведь он тоже — рабочий класс...»

Равшан вздохнул. Хорошо бы спросить об этом дядю Антона.

— Что задумался?— спросил Антон Ильич.

— Да так. Я вот думаю, наверное, и среди рабочих не все такие, как вы и Анна Васильевна.

Антон Ильич рассмеялся.

— Ну ты, парень, хватил! Как Анна Васильевна... Да если б все рабочие, как твоя Анна Васильевна, работали, мы бы давно при коммунизме жили. Да ты знаешь, кто она такая, твоя наставница? Сколько орденов у нее? А то, что она — депутат, делегат съезда, член бюро райкома, знаешь?!

Равшан, пораженный, слушал его. Трудно было поверить, что его наставница, совсем еще молодая женщина, невысокая, хрупкая, могла добиться такого в жизни.

После обеда он включил станок и, не обращая внимания на усталость, работал до конца смены.

* * *

После работы Равшан забежал в соседнюю парикмахерскую и потом долго и удивленно рассматривал себя в зеркале. Модная стрижка, пробор... Из зеркала на него глядел современного типа парень, ну, не отличишь от горожанина. Он вспомнил кишлячного парикмахера, дядю Наджата, грузного пожилого человека на скрипучем протезе. Дядя Наджат знал только одну стрижку — «покороче», и стриг под нее исправно весь кишлак уже тридцать пять лет. Сидишь, бывало, на стуле в дощатом закутке, смотришь на себя в большой осколок старого зеркала и слушаешь, как поскрипывает протез дяди Наджата... Равшан вздохнул, достал из кармана все свои деньги и пересчитал. Два рубля тридцать четыре копейки... Да-а, с таким капиталом первый раз в гости к Анне... Впрочем, на цветы хватит. Правда, зарплата только через два дня, ну, да ничего, ребята в общежитии не дадут с голоду умереть.

На углу у общежития он купил несколько больших белых астр, истратив на это почти все деньги, потом достал из кармана записку Анны и принялся изучать рисунок. Вот прямоугольник — это общежитие, вот остановка автобуса. Завернуть за угол, пройти квартал пешком... Да тут совсем близко! Он свернул записку и пошел к остановке.

Дверь открыла сама Анна. Она была в светло-сером платье, которое так шло к ее глазам, чуть подкрашенные губы улыбались, глаза сияли.

— Наконец-то!— сказала она.— Все уже за столом, где ты ходишь?

— Здравствуйте, Анна Васильевна,— смущенно пробормотал Равшан. Он растерялся. Вот это да! Здесь, оказывается, гости, наверное,

какое-то торжество, а он-то, хорош! С какими-то жалкими цветочками...

— Ох, какая красота!— воскликнула она.— Какие огромные чудные астры! Это мне?

— Да, вам...— неуверенно проговорил он.

— Давай сюда, я поставлю их в воду... Спасибо, Равшан, милый, откуда ты знал, что астры — мои любимые цветы?

— Кто там, Аня?— крикнул из комнаты мужчина.

— Сейчас!— откликнулась она и, обняв Равшана за плечи, ввела его в комнату.

У него даже в глазах зарябило от яркого света, множества незнакомых лиц.

— Знакомьтесь, это Равшан Азизов, мой ученик!— громко представила его Анна.— Обратите внимание, сегодня за моим столом собрались представители разных поколений завода.

Все засмеялись, зашумели, оживленно переговариваясь, а Равшан, как-то неловко кивнув всем и мысленно проклиная свою скованность, быстро опустился на свободный стул. Через несколько минут, переведя дух, он смог незаметно разглядеть всех за столом. Напротив него сидел высокий костистый старик с пышными усами. Его Равшан не знает, хотя лицо кажется знакомым. Рядом со стариком — начальник их цеха, дальше — женщина с гладко зачесанными седыми волосами, ее фотография висит перед входом в цех, на Доске почета. Напротив женщины — тихая маленькая старушка, то и дело подносящая платочек к глазам, видать, мама Анны. Рядом со старушкой совсем юная девушка — короткая светлая стрижка, серые глаза. Очень похожа на Анну Васильевну, может быть, сестренка?! Девушка сидела рядом с Равшаном, он то и дело искоса взглядывал на нее и видел только чуть вздернутый нос, щеку с ямочкой и чуть прищуренный глаз. И вдруг она, повернувшись к нему, громко спросила:

— А почему вы ничего не едите? Вам ветчины положить?

— Нет, спасибо...— пробормотал он, не зная, куда деваться от смущения.

— Вы что — вегетарианец? — так же громко и весело спросила она. Все расхохотались, а Анна, улыбаясь, крикнула ей:

— Наталья! Не обижай парня! Ишь, взъелась!

— Да я его не обижаю!— возразила Наталья.— Я его накормить хотела...

Все вновь расхохотались. А Наташа, схватив тарелку Равшана, стала накладывать кусочки колбасы, сыра, ветчины. Все это она продельвала с озабоченным серьезным видом. И, поставив перед ним тарелку, так же серьезно объяснила ему:

— Это я за вами ухаживаю. Вы рады?

Он с удивлением посмотрел на нее. Эта светловолосая смелая девушка совсем не была похожа на сдержанную стеснительную Муаззам. И все-таки — она ему нравилась. Правилась ее манера говорить, нравилось, как она держалась — просто и спокойно. Иногда она вставала и шла на кухню помочь сестре. Равшан выпил немного шампанского и уже скоро почувствовал себя намного свободней.

— Давайте тост!— воскликнул кто-то.

— Кому слово?

— Слово вам, Саттар Мурадович,— сказал начальник цеха старику с пышными усами.— Вы ветеран нашего завода, вам есть что сказать молодым.

Теперь Равшан вспомнил, что фотография старика висит на Доске почета чуть ли не первой, и фамилию его вспомнил — Мурадов, Саттар Мурадов... Ох, а какие представительные усы у ветерана, точь-в-точь, как у Карима-усаха в их кишлаке!

Саттар-ака поднялся с бокалом в руке, и только теперь Равшан увидел, какой это высокий, могучего сложения человек. А может быть, это сейчас ему так казалось?

— Что я могу сказать тебе, Анна...— негромко начал Саттар-ата. Анна Васильевна, улыбаясь одними глазами, молча, внимательно смотрела на него.— Я ведь помню тебя совсем девчонкой... вот такой, как твоя сестренка сейчас... И кажется, что немного прошло времени с тех пор, как я учил тебя, с какого боку к станку подходить. А вот видишь, настало время — и ты стала учителем, наставником. Да что там говорить! Всех нас обогнала, всех заставила равняться на себя... Будь же счастлива, радуй нас своей работой, своей необыкновенной душой...— Он запнулся и развел руками:— Ну, что еще? Выпьем, и все тут!

Все захлопали, зашумели, а Саттар-ата крикнул, перекрывая шум за столом:

— Ну-ка, Аня, надень-ка все ордена!

Анна Васильевна долго отнекивалась, махала руками, но, наконец, ушла в соседнюю комнату и минуты через две появилась, счастливая, с ласковой светлой улыбкой. На груди ее красовались три ордена. Все опять захлопали, а женщина с гладко зачесанными седыми волосами вскочила и бросилась целовать Анну. «Какая она красивая, Анна...— невольно залюбовался Равшан.— Верно дедушка говорит: «Счастье украшает человека больше, чем роскошные одежды и драгоценности». Эх, да разве сама Анна не драгоценность?»

Мать Анны Васильевны вытирала глаза платочком, всхлипывала. Интересно, а как бы вел себя дед, если бы Равшан появился вдруг перед ним возмужавший, с тремя орденами? Он подумал об этом, представил себе, как бы это выглядело, и одернул себя: «Размечтался, ветеран-ударник! Дорасти сначала, заслужи...»

Только сейчас он обратил внимание на мужчину, сидящего рядом с Анной Васильевной. Обратил внимание потому, что он, единственный из всех присутствующих, не любовался Анной, а, нарочито отвернувшись, продолжал копать вилкой в своей тарелке. Он не произнес ни слова, и выражение лица у него было раздраженно-скучающим. Равшан наклонился к Наташе и сиротил ее шепотом:

— Наташа, а кто сидит рядом с Анной Васильевной, слева?

— Муж... — неохотно ответила Наташа.

— Чей?! — поразившись, переспросил Равшан.

— Анин, чей же еще... — вздохнув, ответила девушка и сказала, взглянув на него:— Не нравится? То-то. Вот и нам не нравится. Ну, не тарашь так свои глаза, ешь, а то все салаты кончатся.

Он еще раз удивился про себя ее манере прямо и свободно говорить о том, о чем в других семьях при незнакомых молчат. Он размышлял о том, что такое судьба и почему, например, у такой замечательной Анны Васильевны должен быть такой неподходящий муж. «Ты-то все знаешь — подходящий, не подходящий! — оборвал он себя.— Первый раз в доме, а туда же — берешься судить». Тем временем Наташа поставила на проигрыватель пластинку, печальная мелодия обняла комнату, заколыхалась в портьерах, поманила из-за стола.

— Ну, что сидишь? Пойдем потанцуем!

— Я не умею...— пробормотал он, чуть ли не испуганно посмотрев на девушку.

— Ничего, я научу.— Она взяла его за руку и вытянула на середину комнаты. Он стоял возле нее — Наташа оказалась совсем крошечной, по плечо ему — и чувствовал себя истуканом. Щеки его пылали, лоб вспотел.

— Ты что, не танцевал ни разу? — удивилась она.

— Ну, вот еще! — буркнул он, хотя то, что она сказала, было

правдой: еще ни разу в жизни Равшан не танцевал с девушкой медленный танец, тот, в котором девушку надо взять за руку, обнять за талию. Он топтался с Наташей на середине комнаты, под люстрой, на виду у всех, чувствовал на своем плече ее руку, и ему казалось, что все гости смотрят на них, хотя на самом деле мужчины вышли покурить на балкон, женщины оживленно разговаривали о чем-то — на Равшана с Наташей никто не обращал внимания... Вдруг он подумал, что этот первый в своей жизни танец с девушкой он танцует не с Муаззам. Он изменяет ей, пусть в малом, в пустяке... но такой ли уж это пустяк, если задуматься? Едва дождавшись, когда кончится мелодия, он, извинившись перед Наташей, выскочил в коридор и надел плащ.

— Равшан, ты куда?!— воскликнула выглянувшая из кухни Анна Васильевна.— А чай?! Я торт испекла.

— Простите, Анна Васильевна, дела еще... в общежитии...

— Жаль. Может, останешься на полчаса? Торт с орехами, с кремом...

— Спасибо, Анна Васильевна, спасибо за все, но я пойду...

— Наташа! Проводи Равшана!— крикнула Анна и пояснила парню: — У нас улица длинная, кривая — заблудишься...

— Да что вы!— запротестовал он, но Наташа уже вышла в коридор.

На улице все было проще. Они шли и разговаривали о заводе, потому что Наташа после окончания десятилетки приехала в Ташкент поступать на завод, к сестре. Она буквально засыпала его вопросами, а он отвечал — подробно, с удовольствием, и даже удивился про себя, что, оказывается, успел уже полюбить завод... Незаметно они дошли до общежития.

— Ну, теперь я провожу вас!— решительно сказал Равшан. Он все еще не мог перейти на «ты», хотя Наташа обращалась к нему так, словно они были знакомы уже много лет.— Провожу до самого дома, а то потом всю ночь буду думать — как Наташа дошла?...

Глава третья. Наставления деда

Середина октября — золотая середина осени — баловала в этом году людей ясными теплыми днями.

Вместе с субботой и воскресеньем и тремя днями по бюллетеню у Равшана набегало несколько свободных дней. Недолго думая, он купил билет на поезд и на следующее утро уже вышел из вагона на знакомой с детства станции. Маленький рейсовый автобус довез его до кишлака.

Равшан шел по своей усаженной тополями улице, и сердце его радостно билось от мысли, что сейчас он обнимет деда, увидит Муаззам. Он невольно ускорял шаги и готов был обнять каждое дерево, каждый дом на родной улице.

Но деда дома не оказалось, должно быть, ушел по своим делам, а может быть, сидел у кого-то из соседей. Да и на дворе у Муаззам было тихо. Равшана так и подмывало побежать на почту, но, представив себе любопытные взгляды кишлачных кумушек, их острые язычки, он решил отложить встречу с Муаззам до вечера. Тихо затворив калитку, он пошел к родителям, на кладбище...

Полуденное солнце мягко освещало кладбищенский холм, на фоне безмятежно голубого неба словно парили, устремляясь ввысь, четкие силуэты тополей.

«А вон и две чинары над родной могилой... Стоят рядышком, еще зеленые, на чинарах листья поздно опадают... Ровно на год моложе

меня эти деревья... А вот миндальное деревце. Отец любил его цветенье... Я сам посадил этот миндаль лет пять назад. Я копал яму, Муаззам держала тонкий пруттик, пока я забрасывал яму землей... Как давно это было, Муаззам заплетала тогда волосы в многочисленные тонкие косички.

Ну, вот я и приехал, родные мои... Я никогда еще не уезжал от вас. Но жизнь идет, и так повернулась моя судьба, что я буду уезжать, а вы останетесь лежать здесь навеки. Но я буду возвращаться, я неизменно буду возвращаться к вам.

Когда я был маленьким, то представлял себе, как вы лежите там, глубоко под землей, обнявшись, и вам поэтому не страшно и не холодно. Но вот я вырос и уже знаю, что мертвые не чувствуют ни холода, ни страха, за них это чувствуют живые...»

Равшан не заметил, сколько он просидел у могилы. Он поднялся, отряхнул плащ от прилипших к нему травинки и пошел домой. Открыв дверь, он остановился на пороге и улыбнулся — спиной к нему на молитвенном коврике дед читал молитву. Тихо повернувшись, Равшан на цыпочках вышел во двор. Ну и дед! Двор чисто подметен, нигде ни пылинки... Привязанный у коровника, смиренно стоял серый осел. Увидев подошедшего Равшана, осел вытянул шею и, раздув ноздри, мягкими губами потянулся к карману плаща, ища сахар.

— Нет, приятель,— засмеялся Равшан, глядя осла,— не водится теперь в моих карманах сахар...

— Равшанбек!— в калитку заглянула тетя Мехри, мать Муаззам.— Смотрите-ка, Равшанбек приехал! А я-то вижу, Олапар сам не свой по двору бегаёт, тянет меня к калитке!

Олапар радостно бросился к Равшану, пытаясь лизнуть его в лицо.

— Олапар, Олапар... собачка моя! Соскучился...— Равшан гладил собаку, обнимал ее, заглядывал в черные преданные собачьи глаза...— Ну, тихо, тихо! Дедушка молится, Олапар! Не будем мешать ему!

Он вышел за калитку, а к нему со всех сторон уже подходили соседи.

— Возмужал Равшанбек, мальчик наш!

— Ну, как жизнь городская? Не сладкая, а?

— Соскучился, небось, по дедушке, по дому, что скажешь, Равшан?

Вот и мать Надира — всегда с озабоченным лицом, всегда торопящаяся куда-то.

— Надир-то в армии, ты слышал, Равшан? Не пишет он тебе?— И обняла Равшана, прослезившись.

Тут и дядя Хамро, сторож колхозного сада, инвалид войны на костылях, и тетя Башорат, в дом которой недавно пришла невестка-украинка, и дядя Кизим, и хромой Наджат-парикмахер. Сбежались со всех соседних дворов смотреть на него, как на диковинку заморскую. Впрочем, легко сказать — ведь Равшан вырос на глазах у них, все они, простые, добрые люди, заменили ему отца и мать. И он говорил всем, улыбаясь, прижимая по обычаю руку к сердцу:

— Спасибо, спасибо за приветливые слова, дорогие, я здоров, все у меня хорошо. Работаю, учусь... Вот приехал дедушку проведать.

Улыбался всем, а сам поглядывал вокруг — не появилась ли Муаззам? Нет, не видно...

Кончил ли там молиться дедушка? Равшан зашел в дом и остановился в дверях, прислонившись к косяку.

— Ассалом алейкум!— тихо сказал он.

Дед быстро обернулся, легко поднялся на ноги, зорко оглядел внука с головы до ног.

— Ваалейкум ассалом, дитя мое!

Равшан бросился к деду, обнял его и стоял так долго, чтобы успели высохнуть слезы на глазах. Дед, видно, тоже расчувствовался. Вытирая повлажневшие глаза рукавом халата, он вышел из комнаты.

Равшан опустил на курпачу, лег навзничь, раскинув руки... Хорошо дома... Пахнет чем-то родным, знакомым с детства. Пахнет дедушкой, тмином, травами, висящими на веранде под потолком... Как будто и не уезжал отсюда никуда. Сейчас завод, общежитие, Ташкент казались чем-то далеким-далеким, вроде приснившимся.

— Дедушка, трудно вам без меня?— крикнул он.

— Нет, сынок, ведь я среди своих,— отвечал с веранды дед.— Муаззам, благословит ее аллах, не оставляет меня. Убирает, корову доит... Да ты видел коровник... И квасит молоко, и сливки делает из вечернего молока.— Дед передвигал что-то на веранде. Может, травы доставал, может, ужин готовил. И говорил беспрестанно. Еще бы, соскучился...

— Дедушка, а почта у нас когда закрывается?

— Не торопись, дитя мое,— отвечал дед, словно угадав его желание.— Мужчина должен быть выдержанным. Он должен сдерживать свои порывы. Любая неосторожная выходка может повлечь за собой пересуды людей. Каково девушке, когда о ней сплетничают соседки?

— Что тетя Таджи пишет? Когда она, наконец, соберется приехать?— спросил Равшан, переводя разговор на другое.

Дед вошел в комнату с подносом, на котором лежали грозди винограда, сушеный урюк, куски лепешки.

— Не знаю, дитя мое... Настанет время, приедет...

— Чай поставить?— спросил Равшан. Он поднялся и вышел на кухню. Смеркалось. В черной воде арыка блистала, ломаясь на куски, полная луна. Да, осень, вечерет сейчас рано...

Равшан включил в кухне свет и огляделся. И здесь чистота, все блестит, куда ни глянь. Такого и при нем не было. Ай да дед!

— Олапар!— крикнул Равшан.— Олапар!

Никто не отозвался... Вот тебе и верный пес. Не видел хозяина почти три месяца, а уже где-то бегаёт...

Дед не любил чай, приготовленный на газе. Поэтому Равшан наломал веточек, разжег самовар. Кто-то со двора позвал:

— Равшанбек!

Парень метнулся на голос, ему показалось, что за калиткой мелькнул силуэт Муаззам. Нет, это ее мать, тетя Мехри. До чего похожи у них голоса!

— Равшанбек, я пришла пригласить вас с дедушкой на чай. Посидим, поговорим, о городе расскажешь... И Муаззам с работы пришла, увидишься с одноклассницей...

Его как будто окатили с головы до ног чем-то горячим.

— Спасибо, Мехри-апа, спасибо, обязательно придем!— забормотал он, второпях гася огонь в самоваре.— Сейчас же придем!

Как он посмотрит на нее, что скажет? Как они поздороваются друг с другом? Куда ему спрятать глаза, чтобы никто не заметил его чувства к Муаззам?

Тети Мехри приготовила на ужин чучвару¹ в горячем бульоне. Дед неторопливо ел, похваливая хозяйку и приготовленное ею блюдо, и дом ее, гостеприимный и щедрый. А Равшан оглядывался по сторонам, изнемогая от нетерпения, недоумения — где же Муаззам?

¹ Чучвара — национальные пельмени.

И вдруг она вышла из кухни с кипящим самоваром в руках. Равшан от неожиданности проглотил пельмень, который держал во рту, и обжег горло. Он закашлялся, густо покраснев, а тетя Мехри ладонью добродушно похлопала парня по спине. Муаззам, лукаво улыбнувшись, так что на щеках появились ямочки, спросила Равшана:

— Когда приехали, Равшан-ака?

Дед за него ответил:

— Да он, оказывается, давно приехал. Наверное, успел у родителей побывать...

Муаззам поставила самовар, взяла из рук матери чайник, стала заваривать чай. Равшан поймал себя на том, что, не отрывая глаз, следит за движениями Муаззам, любит ее тонкими длинными пальцами, ее опущенными глазами, едва заметной усмешкой на капризных губах. Он заставил себя отвести в сторону взгляд, чтобы не показаться невоспитанным.

— Умница ты моя, ласточка... — нахваливал дед Муаззам. — Помощница моя, пусть сохранит аллах от болезней тебя и твою мать. Пусть радость придет в этот дом...

Тетя Мехри хлопотала вокруг дастархана, Муаззам наливала в пиялушки чай. Равшан рассказывал о заводе, о своих новых друзьях.

Дед долго пил чай и рассуждал о разных сторонах человеческого характера, а Равшану не терпелось выйти скорее на улицу, побегать на речку и, взяв Муаззам за руку, сидеть допоздна на стволе поваленной ветлы и говорить, говорить...

Наконец, дед поднялся и стал церемонно благодарить хозяйку. Такие уж они, эти старики, без традиционных церемоний шагу не ступят. Но, если вдуматься, есть в этих традициях нечто такое теплое и родное, такое исконно древнее, что накрепко привязывает нас к нашей земле.

— Да будет твой дом полон добра, да не переведется хлеб на твоём столе, — размеренно и вдумчиво говорил дед, разводя руками и как бы благословляя все, что находится в доме...

— Как рано темнеть стало... — проговорил дед, открывая калитку. Он покачал головой — не то с сожалением, не то просто в лад своим мыслям.

— Дед, я погуляю, ладно? — попросил Равшан. Он знал, что дед может обидеться, но — что поделаешь! — сердце рвалось к Муаззам.

— Подожди, — строго сказал дед, — я должен кое-что сказать тебе... — Он помолчал, поднимаясь на веранду, и бросил внуку, не оборачиваясь: — Приготовь чай, я буду пить его во дворе, на айване... Подожди меня здесь.

Под виноградником во дворе у них стоял айван — большая деревянная кровать, застеленная паласом. Равшан принес с веранды курпачи, расстелил их на айване, поверх курпачи постелил скатерть. Деду будет удобно. Равшан протянул из кухни провод, прикрепил его к стволу старой айвы, приладил лампочку. Теперь — принести самовар, заварить чай и накрыть чайник полотенцем... Готово!

— Подойди сюда, дитя мое!

Что-то слишком уж торжественный голос у деда. Что он там придумал? Равшан поднялся на веранду и вошел в комнату. Дед стоял у старого сундука, на котором обычно зимой спал Равшан. Сейчас с сундука были сняты толстые ватные одеяла, и крышка его, когда-то, должно быть, ярко раскрашенная, а теперь старая и потрескавшаяся, выглядела довольно неказисто. Дед вынул из шкатулки, стоявшей в стенной нише, ключ от сундука, вставил его в замок и с трудом открыл крышку.

На памяти Равшана этот сундук открывали один раз — в день бабушкиных похорон. Тогда со дна его достали погребальную материю.

Сейчас дед, низко наклонясь, перебирал в сундуке какие-то вещи, бумаги, узлы.

Наконец он достал завернутую в чистый носовой платок вещьцу размером со спичечный коробок.

— Вот,— сказал дед, с трудом поднимаясь с колен и разворачивая платок.— Вот, это я дарю тебе с моим благословением. Где бы ты ни был, это сохранит тебя от болезней и горя. Возьми, дитя мое!

Равшан взял в руки вещьцу и чуть не вскрикнул от удивления. Это был миниатюрный тумор.

Странно, чего ради дед решил подарить ему эту безделицу? Равшан представил себя возле станка в своем промасленном фартуке, среди новейших машин... Он — и тумор!

— Не возражай мне!— строго и торжественно продолжал дед, положив на плечо внука свою легкую старческую ладонь.— До тех пор, пока с тобой будет этот талисман, ты не забудешь о чести, о справедливости и будешь спокоен и счастлив.

— Дедушка, Маркс сказал, что счастье — это борьба,— улыбаясь, сказал внук, но тумор взял, не решаясь обидеть деда.

— Не будем спорить о счастье,— примирительно ответил дед.— Каждый его понимает по-своему.. Важно всегда оставаться честным и хорошим человеком. Верно, дитя мое?

— Дедушка, чай, наверное, остыл уже...

— Ладно, беги, прогуляйся...— разрешил дед.— Я же вижу, ты сам не свой от нетерпения.

Вдруг во двор вбежал Олапар и, бросившись к Равшану, уронил к его ногам какую-то бумажку.

— Наш Олапар стал почтальоном, как Муаззам,— заметил дед как бы невзначай. Равшан быстро поднял записку, но читать при дедушке постеснялся и выбежал за калитку.

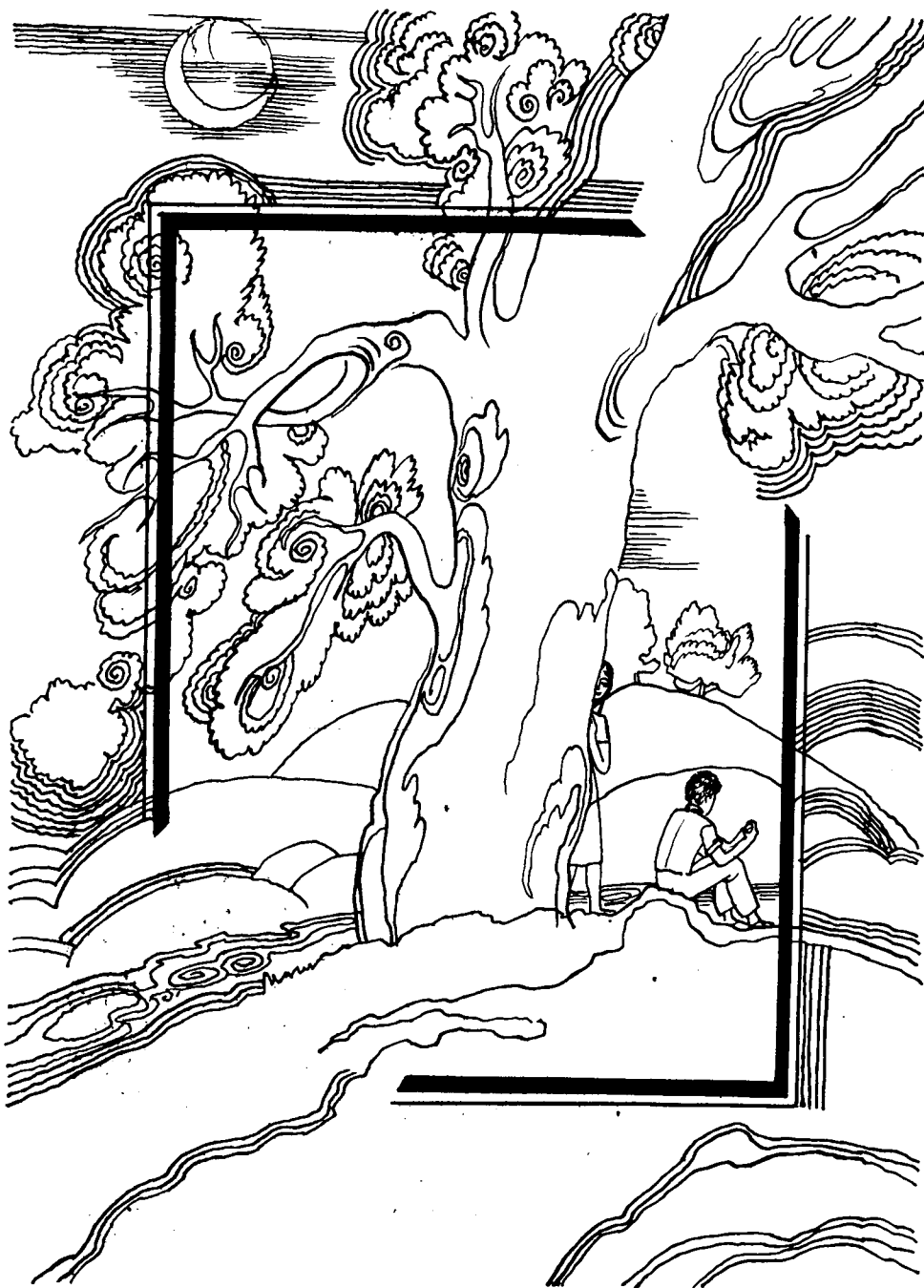
«Равшан! У меня письмо Надира, адресованное тебе. Можешь получить его. Встретимся на прежнем месте. Муаз».

Одинокая чинара на берегу речки возвышалась над кустами шиповника, над пожелтевшей травой. Наверное, вечно одинокая, она считала себя самым высоким деревом на свете и, гордая этим, молча несла свое одиночество, переговариваясь шепотом листьев лишь с полной луной.

Впрочем, нет, луна не совсем полная, слева у нее щербинка, но дня через два щербинка заполнится, и луна засияет на черном небе большой круглой серебряной монетой.

Сегодня луна такая же, как в день его отъезда в Ташкент. Тогда, вечером, он точно так же, прислушиваясь к шагам Муаззам, сидел на камне, возле поваленной ветлы, и смотрел на почти полную луну, и думал, что жизнь человеческая совсем как один оборот месяца — от тоненького бледного серпа до полной луны. Но месяц рождается заново, а человек уже не родится никогда. Или, может быть, все-таки родится? Может быть, и он когда-нибудь снова будет рожден на земле, и у него будут в той, новой, жизни и отец, и мама. Дедушка говорит, что голос Равшана напоминает ему голос погибшего сына. Неужели на земле после человека не остается ничего, кроме голоса? Нет, конечно, остается. Остаются его добрые дела. Остался жить тот мальчик, которого с трудом родила женщина из горного кишлака. Ведь недаром того парня зовут Мурад, в честь его, Равшанова, отца! Интересно, каким он стал, этот парень...

— Равшан!



Он вздрогнул, обернулся.

— Третий раз зову, сидишь на камне, точно изваяние!— воскликнула Муаззам, укоризненно-весело глядя на него.— Размечтался!

— Размечтался,— тихо подтвердил он, не сводя глаз с ее тонкой фигурки, длинных кос, перекинутых на грудь, блестящих карих глаз. Он взял ее маленькие руки в свои.

— Ты замерзла. Руки, вон, холодные...

Они сидели рядом на стволе поваленной ветлы, и он грел в своих горячих ладонях ее руки. Говорить не хотелось,— только сидеть так,

бесконечно долго, и чтобы бесконечно долго светила с неба луна, и шелестели прибрежные травы и камыши.

— А письмо где же, почтальонша?— наконец спросил он.

— Вай! Дома оставила! — Она вскочила. — Сбегать?

Он испугался, что она уйдет и развеется это молчаливое очарование вечера.

— Не ходи,— сказал он, удержав ее за руку.— Завтра прочитаем.

Она продолжала стоять, пристально глядя на парня.

— Ну, что смотришь?— спросил он, смутившись.— Рога у меня выросли, что ли?

— Похудел ты,— серьезно сказала она,— бледный какой-то. Не на пользу тебе город. Воздуха там, что ли, не хватает?

Он невесело рассмеялся.

— Ты так ругаешь город, словно я послушаюсь тебя и вернусь в кишлак...

— Что, очень понравился город?

— Ну еще бы! А иначе я бы там не остался. Ты бы видела наш тракторный завод!

— У нас тоже недавно открыли курсы трактористов.

— Механизаторов, ты хотела сказать? Это курсы вождения тракторов. Прибывают к вам сюда готовые новенькие трактора — садись и учишься водить. Вам и невдомек, как они делаются!

— Ну да, где нам, кишлачным!— сказала Муаззам насмешливо. И Равшан понял, что она обиделась. «Еще не хватало нам поссориться!»— подумал он и снова взял ее руки в свои, усадил девушку рядом.

— Ну, не обижайся, Муаззам,— тихо сказал он.— Понимаешь, хочется мне в жизни добиться чего-нибудь большого, стоящего. Тянет меня теперь к заводу, к машинам, к станкам. Мне кажется, что мое призвание — там.

— А мое — здесь,— сказала она, как отрезала. И они замолчали... Прибежал Олапар, повизгивая, ткнул мордой в колени Равшану и сел, умильно поглядывая на Муаззам.

— Любуется тобой!— сказал Равшан, и они оба рассмеялись.

— Если б ты знал, как он привязался ко мне. Ходит по пятам. Пока я письма разношу, он за мной весь кишлак обойдет. Я в дом вхожу, а он сидит у ворот, меня поджидает да велосипед твой сторожит... — Она вздохнула, поежилась от вечернего холода. — Он тоскует очень по тебе. Часто выбегает на шоссе и сидит на обочине, подвывает, автобусы встречает...

Она подняла голову и спросила его как бы между прочим:

— Теперь не скоро приедешь?

— Скоро!— быстро сказал он и запнулся.— Буду часто приезжать, потому что... потому что дедушка совсем ведь старенький...

Он разозлился на себя, на свою нерешительность. «Объяснился, джигит!»— подумал он с досадой и спросил:

— Надир пишет?

— Пишет,— коротко ответила Муаззам.

Значит, Надир ей пишет... Наверное, в любви признается на восьми страницах. Он всегда был бойкий, и глупо было бы думать, что Надир упустит возможность завоевать сердце Муаззам.

— Ну и что же он там пишет?— спросил он жестко. На скулах парня двигались желваки. Муаззам посмотрела на него и улыбнулась.

— Тайна военной переписки,— ответила она.

Равшан сорвал веточку вербы, нависающей над водой, и молча сидел, ожесточенно ломая ее на короткие палочки. Да, не так он мечтал встретиться с Муаззам... Ну что ж, сам виноват. Стал хвастаться своим заводом, своими новыми друзьями. Мало ли что могла подумать Муаззам: там, где новые друзья, там и новые подружки... Кто знает, что

творится в сердце девушки, особенно такой скрытной, как Муаззам!

— Холодно стало, пойдем,— она поднялась и тихо пошла по тропинке, ведущей в кишлак. Равшан пошел рядом с ней, проклиная свою нерешительность и завидуя Олапару, который каждый день видит Муаззам, лижет ее руки, ждет ее возле ворот...

... На следующий день забывчивая Муаззам опять не захватила из дома письмо Надира. Принесла она его только на третий день, к поезду, когда уже Равшан занес в вагон узлы с домашним сушеным урюком, изюмом, виноградом. Муаззам прибежала за пять минут до отхода поезда, вошла в купе и сунула в руки Равшана бумажный пакет со свеженспекенными лепешками.

— Наконец-то!— воскликнул он, увидев ее.

— Счастливого пути, Равшан-ака,— скромно потупив глаза, лукаво пожелала она.

— Муаззам!— воскликнул он, торопясь сказать ей самое важное.— Будешь ждать?— И крепко сжал ее ладонь, только сейчас вдруг ощутив, что поезд уйдет и он снова долго не увидит Муаззам. Если бы на то его воля, он бы не выпустил ее ладонь из своей руки никогда.

— Ой, поезд тронется!— испуганно воскликнула она, вырывая руку.— Побегу!

И уже когда поезд плавно пополз вдоль перрона, крикнула Равшану:

— Ответь Надиру, обязательно! Сам ответь!

Глава четвертая. Дела земные

В Ташкенте, не успев еще выбраться из вагона, он вдруг увидел Наташу. Она стояла в светлом плаще, прислонившись к фонарному столбу, и, вытягивая шею, высматривала Равшана среди выходящих из вагонов.

— Наташа!— крикнул он, опуская узлы на асфальт. Девушка быстро подошла, улыбаясь странной, какой-то вымученной улыбкой.

— А я думала, что прозвала тебя. Здравствуй, Равшан.

— Здравствуй. А как ты узнала, что я приезжаю?

— Ты же сказал, что в воскресенье вернешься... А поезд этот только раз в день. Вот и высчитала...

— Спасибо,— смущенно проговорил он, — но зря ты, ей-богу, беспокоилась... Я все равно с вокзала прямо к вам собирался. Вот, привез кое-что... Домашнего приготовления, из своего сада. Дед для Анны Васильевны передал... Не знает, как благодарить ее за своего внука...

Равшан все еще не мог оправиться от удивления, что Наташа пришла встретить его. Он был благодарен ей, и в то же время странная скованность мешала ему относиться к этому просто.

— Ты невеселая?— спросил он девушку, заглядывая ей в глаза.— Случилось что-то?

Наташа не ответила, отвернувшись, тряхнув светлой копной волос, но Равшан успел заметить, как наполнились слезами ее глаза.

— Анну жалко...— сдавленно прошептала она.

Равшан побледнел, чувствуя, как ледяная тяжесть оседает в груди, остановился.

— Ты что?!— тихо спросил он.— Что ты сказала?!

— Анну бросил муж,— горько выдохнула Наташа.

— Но она-то здорова? А Светочка?

— Здорова... Что ей теперь с этого здоровья, когда семья распалась... Светка теперь без отца.

— Когда это случилось?

— Позавчера... Собрал вещи и ушел.

— К другой, что ли?

— Кто его знает... — Наташа вздохнула и замолчала. Они тихо брели к автобусной остановке.

— Постой!— сказал он, вновь останавливаясь.— Но почему? Из-за чего?

— Кто его знает,— опять неопределенно ответила Наташа.

— «Кто знает, кто знает!»— рассердился он.— А почему ты не знаешь?

— Думаешь, она делится с кем-то? Она сидит, молчит, в одну точку смотрит. Понимаешь, Алексей ее и раньше ревновал...

— К кому?!— удивился Равшан.

— К заводу, к людям... к славе ее. Хотел, чтобы она работу оставила, дома со Светкой сидела... Пить стал... Обидно ему было, что жена у него такая известная, а он, вроде бы, при жене — муж.

Обсуждая несчастье Анны, они не заметили, как доехали на автобусе до заводского Дворца культуры, как прошли пешком два квартала и остановились перед домом Анны.

— Наташа,— сказал Равшан, подавая ей узлы.— Вот, передай Анне Васильевне и Светочке... от деда моего.

— А ты?— спросила Наташа.

— Я не зайду... И так несчастье в доме, меня только Анне не хватало.

— Человек человека греет,— серьезно возразила Наташа, не забывая у него узлов.— Сам занеси, сам отдай.

Пока они переговаривались на лестничной площадке, дверь открылась, и вышла Анна.

— Ну, Равшан, долго тебя уговаривать Наташа будет? В чужой дом пришел?

Он сильно покраснел, опустил голову.

— Здравствуйте, Анна Васильевна...

— Здравствуй, мальчик мой...— Она подошла к нему и обняла. Он стоял неподвижно, боясь шелохнуться.

— Ну, проходите в дом, ребята...

Анна была внешне спокойна, только у рта обозначились две скорбные черточки.

— Спасибо, родной мой,— сказала она, принимая подарки.— Спасибо дедушке твоему...

В комнате, в круглом манеже, ползала Светочка. Равшан подошел к ней, протянул руку. Ребенок, ухватившись за его палец, поднялся на слабые еще ножки, но, потеряв равновесие, сел. Равшан взял девочку на руки, поднял повыше и улыбнулся ей.

— Светка!— позвал он.— Светик!— И подул на легкие белые волосики. Светка засмеялась, показывая красные десны с двумя зубами.

«Ах ты, Светка,— подумал он, прижимая к себе ребенка.— При живом-то отце — сирота... Нет, не будешь ты сиротой, Светка, не будешь!»

— Борщ я подогрела,— сказала Анна, заглядывая в комнату,— обедать, ребята...

... В общежитие он пришел засветло. В комнате было пусто и тихо. Еще до отъезда Равшана перевели в другую комнату, на первом этаже. Здесь из трех кроватей теперь были заняты только две, кроме него в комнате жил формовщик из седьмого цеха — Виктор, молчаливый, вечно занятый чем-то парень. Виктор учился в вечернем институте, поэтому всегда ходил с каким-нибудь учебником под мышкой. Сегодня, должно быть, он уехал к родным в Янгиюль.

Равшан, все время думая об Анне, о Наташе, вдруг вспомнил о

доме и заскучал... «Давно я не копал, не мотыжил,— подумал он,— оторвался совсем от земли».

Он попросил у завхоза лопату и вышел во двор. Здесь, у забора, была полузатоптанная клумба с чахлыми запущенными кустиками роз. Равшан молча принялся копать. Вскоре к нему присоединились несколько ребят, которые до этого играли в теннис. Девушки вытащили проигрыватель, поставили его на подоконник и включили... Работать стало веселее. Часа через два двор общежития был подметен, клумбы вскопаны.

Завхоз Екатерина Ивановна ходила по чистому двору, качала головой и ахала.

— Я ведь субботник планировала на следующую субботу... Объявление хотела повесить.

Вскоре после приезда начались неприятности в училище. Пока ездил домой — занятия шли, а Равшан пропустил их. Особенно пропустил «Устройство трактора». Несколько лекций он сидел за последним столом, прячась за спины, и все надеялся, что нагонит упущенное сам. Но однажды преподаватель Федор Филиппович вызвал его, и Равшан совершенно опозорился. Он молчал, в душе проклиная себя за разгильдяйство и лень, хотя дело, конечно, было не в лени. Просто за последнюю неделю начальник цеха перевел его на самостоятельную работу, и он теперь, чувствуя особую ответственность и за свой станок, и за продукцию, которую выпускал лично, работал не покладая рук, упорно, иногда даже задерживаясь на час-полтора.

— Что это с тобой? — удивленно спросил Федор Филиппович. — Ты всегда знал материал, а сегодня... ну, ни в какие ворота! — Он внимательно посмотрел на красного, уставившегося в пол Равшана и добавил: — Подойдешь ко мне после занятий...

После лекций они сидели в пустой аудитории, и Равшан рассказывал Федору Филипповичу о своей жизни. Он и сам не понимал, с какой стати разговорился с этим, в общем-то чужим, человеком, но уж очень располагал к себе Федор Филиппович — высокий, чуть нескладный, с длинными руками и ногами, с резко выступающими скулами и внимательными, глубоко посаженными глазами. Он расхаживал по комнате, изредка останавливаясь и долгим взглядом изучая парня.

— Ну, вот что, — наконец сказал он, — в свободное время будешь приходить ко мне в конструкторское бюро на дополнительные занятия. Знаешь, где конструкторское бюро?

— Конечно, — ответил Равшан.

На следующий день после смены он зашел в конструкторское бюро. Его встретили молча, кто-то кивнул головой на приветствие, а кто-то и вовсе не обратил на него внимания. Федора Филипповича не было, и Равшан присел на краешек свободного стула — ждать преподавателя. Вскоре комната опустела, все ушли домой, лишь пожилая уборщица пришла с гремящим ведром и тощим веником — подметать бумажные обрезки. Равшан вскочил, бросился помогать ей передвигать столы и стулья.

Уборщица подмела и ушла. Равшан продолжал сидеть один в пустой комнате, прислушиваясь к шумам огромного завода. «Где же Федор Филиппович? — подумал он. — Может, уйти?»

В общежитие он не торопился. Третьего в их комнату так и не дали, а с Виктором не очень-то поговоришь — уткнется в учебник, и молчок. Нет, здесь лучше. Здесь можно сидеть за свободным столом, готовиться к лекциям. А отсюда — прямо в училище...

За дверью слышались возбужденные голоса, и в комнату во-

шли Федор Филиппович и директор завода Тимур Пулатович. Они были заняты беседой и не заметили поначалу Равшана.

— Вся штука в одновременном движении тормозных рычагов. Команда из кабины — раз! — и все прицепы одновременно останавливаются. Понял, Длинный?!

Директор был возбужден, он размахивал руками, объясняя что-то Федору Филипповичу.

— Понял, Тимур Пулатович, понял, — разводил руками «Длинный». — Есть у нас синхронизатор, испытанный... Работает хорошо, но установить его на все тяги... — Он, сомневаясь, покачал головой.

Тимур Пулатович схватил подвернувшийся клочок чистой бумаги, достал из кармана ручку, стал что-то чертить. Но ручка не писала. Он чертыхнулся, огляделся по сторонам, ища карандаш, и тут увидел Равшана.

— Ты что здесь делаешь?

— Это мой, Тимур Пулатович, — улыбаясь, сказал Федор Филиппович. — Пусть смотрит.

— Ручка есть у тебя? — спросил Равшана Тимур Пулатович. — Дай-ка сюда... И не отходи, три головы лучше, чем две...

Федор Филиппович, положив длинные руки на плечи Равшана, молча наблюдал за рукой директора, выводившей формулы, рисующей схему.

— Вот... вот... — приговаривал Тимур Пулатович, чертя. — Ну, понял, голова садовая?

Федор Филиппович странно улыбался, не отводя взгляда от рисунка.

— А ведь правда, а?! — воскликнул он. — Неужели — все?! Неужели — нашли?!

Тимур Пулатович смеялся, хлопал по плечу Равшана. А тот, как будто заразившись их волнением и радостью, стоял, молча улыбаясь, переводя взгляд с одного на другого.

— До утра схема будет готова, Тимур Пулатович!

— Но смотри, Федя, пока никому — ни слова. Созовем техсовет, представим комиссии, тогда...

Федор Филиппович подмигнул Равшану, воскликнул:

— Шесть месяцев! Решена шестимесячная головоломка... Представьте: трактор-поезд... Один трактор ведет за собой двенадцать прицепов.

— То-то, мыслитель! — добродушно заметил Тимур Пулатович. — Продолжай, твори. От меня тебе — всяческая поддержка. Сотворить — это смерть победить. Кто это сказал, парень? — обратился он к Равшану.

— Не знаю... — пожал плечами смутившийся Равшан.

— Ромен Роллан, вот кто!.. — и обнял Федора Филипповича. А тот своими длинными руками привлек к себе Равшана.

Равшан, с любовью глядя на этих людей, с гордостью думал, что он — рабочий ТТЗ, и он тоже причастен теперь к новому открытию, и он приложит все усилия, чтобы быть достойным таких людей, как Федор, Тимур Пулатович, Анна, и что пока на свете существуют они с их добротой, чуткостью и любовью, он — не одинок.

* * *

В субботу на рассвете выпал первый снежок. Всю ночь дождь барабанил по подоконнику, шелестел по асфальту, устланному опавшими листьями, ровно и нудно шумел в водосточной трубе. Но когда в окне уже стало лиловеть небо, шум дождя, стихая, уступил едва слышному шороху — это бесшумно летели редкие снежинки, вначале истаивая

без следа. Но вскоре побелел подоконник, и на фонарном столбе осела белая легкая шапочка снега. А снежинки летели все быстрее, кружились; бились о стекло...

«Снег...— сквозь сон подумал Равшан.— Неужели снег пошел?»

«Вот и пришла первая моя зима «не дома»... Как там дед без меня? Бедный, бедный... Старый... Сколько дел навалится на него! Нужно укрыть виноградные лозы, закутать кусты граната, разрыхлить землю на грядках с огурцами и посыпать ее удобрениями. Тогда весной земля будет мягкой, как пух, и легко будет сажать огурцы... Ох, хоть бы он не забывал надевать теплый чапан и меховую мою шапку! Сейчас у нас тихо, сумрачно, хозяйки встают доить коров и во всем кишлаке только позвякивают ведра и бидоны и слышны сонные голоса лениво перекликающихся собак...»

На рассвете он задремал и проснулся поздно, часов в десять, благо, была суббота. Он перевернулся на другой бок, потянулся и посмотрел на кровать Виктора. Она была аккуратно застелена, учебники на тумбочке лежали стопкой. «А сам, должно быть, уже трясется в автобусе»,— подумал Равшан.

Он, не торопясь, оделся, умылся, вспоминая вчерашний разговор в конструкторском бюро. Вспомнил слова Федора Филипповича: «Трактор тянет за собой не три, а целых двенадцать прицепов. Представляешь, какая польза народному хозяйству?» Вчера, после занятий в училище, они еще долго сидели в пустой аудитории, а потом Равшан пошел провожать Федора, как теперь называл он мысленно своего нового друга. Федор затащил парня в свою однокомнатную квартирку и часа полтора поил чаем, рассказывал о своей профессии, о заводе. Незаметно они разговорились и на другие темы и спохватились тогда, когда часы показали четверть двенадцатого. Федор Филиппович угваривал Равшана остаться ночевать, но парень все-таки вернулся в общежитие. Мало ли что может подумать Виктор, еще поднимет на ноги милицию!

...Напротив общежития, через дорогу, недавно открылась столовая «Национальные блюда», в субботу и воскресенье Равшан стал завтракать и обедать в маленьком уютном, обитом деревом, зале. Ему нравилось, что здесь еще мало было посетителей, обслуживали быстро, кормили хорошо, и в выходные дни он позволял себе есть не торопясь, внимательно рассматривая на стене напротив чеканку в национальном узбекском стиле...

Снег на тротуарах растаял, только на деревьях и кустах живой изгороди лежал он, казалось, случайным грузом — вот выйдет из серой пелены туч неяркое солнышко, чуть прогреет, и конец робкому первому снегу.

Переходя через дорогу, Равшан вдруг увидел Анну. Она стояла возле магазина в очереди за картошкой. И Равшан сразу вспомнил, сколько дней он у них не был, и почувствовал огромную вину за свое малодушие — тяжело было видеть несчастье Анны, скорбные черточки у губ, печальные строгие глаза. Да и чем он, Равшан, мог помочь ей? «Время, дитя мое, излечивает самые страшные раны,— говорит дед.— Там, где бессилён совет друга, там всевластно время. Так уж природа создала, что человек выносит свои несчастья только на своих плечах».

— Анна Васильевна!— крикнул он с середины дороги, ожидая, когда остановится поток машин. Анна обернулась и молча ждала, когда он подойдет.

— Здравствуйте, Анна Васильевна! — выдохнул он, подбежав. — Берите побольше картошки, я помогу нести.

— Здравствуй, Равшан,— сдержанно поздоровалась Анна.— Куда

ты пропал? Неужели столько дел у тебя, что некогда зайти, друзей проведать?

Он почувствовал в ее словах обиду и осуждение и, опустив голову, медленно чертя носком ботинка что-то на асфальте, виновато сказал:

— Простите, Анна Васильевна, но, понимаете, у нас, узбеков, говорят, что незачем парню запросто околачиваться в доме, где есть девушка. Ну... это может повлечь за собой сплетни, пересуды...

— Вот уж не думала, что ты придаешь значение каким-то пред-рассудкам!— сказала Анна.— Ты же современный парень, Равшан! Может, откопаешь еще в бабушкином сундуке свод законов — шариат, и будешь жить по указке муллы?— Она глядела на него прямо и осуждающе. А Равшан даже вздрогнул внутренне и весь покрылся испариной.

— Что худого в том, если вы изредка пойдете с Наташей в кино или в театр? Откуда у тебя эти допотопные представления? Сидишь у себя в общежитии, как сыч, а дни, между прочим, уходят, уходят безвозвратно, и их не остановишь. Прозеваешь свою юность...— Она вздохнула, смерила его взглядом.— Стоишь, горе мое, как на экзамене... Ну, бери сумки, неси, если вызвался!

Он подхватил две тяжеленные хозяйственные сумки с картошкой и пошел рядом с ней, радуясь, что она, кажется, простила его.

Наташа встретила их как ни в чем не бывало.

— Пропавший пришел!— воскликнула она, открыв дверь.— Где ты его поймала, Ань?

— Я его долго выслеживала, и он не ушел из моих лап,— устало пошутила Анна, чуть улыбнувшись. Но улыбка вышла у нее вымученной. Наташа надела плащ и ушла в магазин за хлебом.

— А где Светка?— спросил Равшан, заглянув в комнату.

— Дышит воздухом с бабушкой... Мама-то теперь насовсем к нам,— сказала Анна.— Так и живем теперь — четыре бабы, включая Светку.

Она поставила на плиту чайник, стала доставать из холодильника какие-то кастрюльки.

— Анна Васильевна, что это вы собрались делать? Кормить меня?— спросил Равшан.— Не надо, я только что завтракал. Знаете что?— Он лукаво улыбнулся и помедлил, в голову пришла гениальная идея:— Пойдемте в кино!

Анна, опешив, стояла с кастрюлькой в руке и озадаченно смотрела на парня. «Разучилась улыбаться,— подумал он, и жалость к этой молодой, красивой и такой уже несчастной, женщине сжала его сердце.— А какая у нее замечательная улыбка! Нет, Анна Васильевна, не дам я вам киснуть! Я верну вам вашу улыбку!»

— Ну?— спросил он задорно.— Мысленно согласовываете со своим шариатом: удобно ли идти в кино с бывшим учеником?

— А как же Наташа?— неуверенно сказала она.— Наташа сейчас из магазина вернется и... вместе...

— Наташу я приглашу в следующий раз,— сказал он, снимая с вешалки в коридоре ее бежевое пальто.— Может быть, я сегодня по-секретничать с вами хочу, тайну какую-нибудь страшную открыть? Да и не успеем мы на двенадцать, если Наташу будем ждать... Ну? Решайтесь, товарищ наставник!

Анна решительно поставила кастрюльку в холодильник. Быстро расчесала свои волнистые пепельные волосы и надела пальто и яркую косынку.

— Пойдем!— скомандовала она.

Фильм был впечатляющий. Молодой парень влюбился в красивую вдову с ребенком. И хотя она, не желая ломать ему жизнь, уехала в другой город, влюбленный юноша все же разыскал ее и настоял на том, чтобы быть вместе...

Равшан в темноте то и дело оборачивался и смотрел на тонкий профиль Анны, на прядь волос, упавшую на лоб, и сердце его все больше и больше сжимала нежность и тоскливая жалость к ней. Парню казалось, что теперь эта молодая жизнь погублена и обречена на одиночество, пока какой-нибудь благородный и мужественный человек не придет, как сказочный принц, и не принесет Анне радость. «Какое это, должно быть, счастье — жить ради такого человека, как Анна!» — подумал Равшан. Он от волнения и обуревавших его непонятных чувств уже не мог следить за ходом сюжета. Не отдавая себе отчета в том, что делает, он накрыл дрожащей ладонью маленькую руку Анны и сжал ее пальцы. Анна руки не отняла, все так же молча и почти безучастно смотрела она на экран, даже не повернув к Равшану лица. В голове у парня все перемешалось: он сам, Анна, Муаззам, Наташа... Муаззам! Как же Муаззам? Ведь он любит ее с пятого класса, как же она? «Ну, что ж, — подумал он. — Муаззам устроит свою судьбу, а вот Анна... для нее я, может быть, единственная опора и надежда, ей я нужней. Что ж, Муаззам... прости меня, родная, я жертвую своей любовью для высшего блага — для блага других».

В толпе людей они вышли из кинотеатра и тихо пошли по направлению к дому Анны. Дорога лежала через парк, сейчас совершенно пустынный. Скамейки были сырыми и холодными от недавно растаявшего снега, мокрые, прибитые к земле листья плотным слоем покрывали желтую осеннюю траву. По небу ползли тяжкие дождевые тучи.

Анна шла молча, даже двух слов не сказала Равшану после фильма, она как будто и не вдалась в его содержание. «Нет, надо что-то решать, — подумал парень. — Сейчас или никогда! Надо остановить ее и все прямо сказать, а то вот-вот кончится этот пустынный парк, они подойдут к дому, встретят Наташу, и все очарование фильма, а вместе с ним и решимость Равшана улетучатся».

— Анна Васильевна! — воскликнул он, остановившись. Анна, словно очнувшись, обернулась и посмотрела на него с удивлением.

— Анна Васильевна! — повторил он, волнуясь, задыхаясь от этого неожиданного приступа волнения. — Я... хочу попросить... А вы возьмите меня к себе жить! — Внутренне он уже ужасался своей дерзости и глупости, но не мог остановиться. — Я, честное слово, сделаю все, чтобы вы и Светка были счастливы!

Да, он знал, что такое сиротство, и сейчас не только хотел действительно стать Светке отцом, но был даже уверен, что никто, кроме него, не может относиться к ребенку Анны с большей нежностью и любовью.

Анна, онемев от сбивчивой странной речи парня, несколько секунд стояла молча, глядя на него своими строгими серыми глазами. И вдруг, опустившись на мокрую скамейку, заплакала, закрыв лицо ладонями...

У Равшана дрожали губы, сердце рвалось от жалости, но он не смел приблизиться к Анне. Ему уже казалось невыносимым, что в кинозале он брал ее за руку и, словно в кошмарном сне, повторял про себя слова, которые сейчас бормотал ей в полубреду... Вдруг Анна подняла лицо, и Равшан увидел ее светлую улыбку. Заплаканные глаза глядели на него с нежностью и удивлением.

— Ах ты, мальчик ты мой! — негромко сказала она. — Пожалел меня... Да, ты прав, я сейчас одинока, несчастна. Но... неужели я так жалка, чтобы принимать от тебя такую жертву? Спасибо за этот порыв, но, поверь мне, Равшан, что ты не раз пожалел бы, что совершил

необдуманный поступок. Твоя жизнь впереди. Будут у тебя и свои светлые, счастливые дни, и свои невзгоды. И вот тогда ты подставишь под них свои плечи... Вот и все. А теперь иди.— И, видя, что он все еще стоит перед ней, растерянный, расстроенный, повторила:— Иди-иди. Мне нужно побыть одной...

Он, не оборачиваясь, шел по голому пустынному парку. У выхода Равшан оглянулся. Все так же Анна сидела на скамейке, только чуть закинула голову, то ли смотрела на оголенные ветви деревьев, то ли провожала взглядом косяк птиц, улетающих вдаль...

... На углу возле общежития в своем светлом плащике, слишком легком для такой погоды, стояла Наташа, и по ее побледневшим щекам и посиневшим губам было видно, что стоит она давно.

— Наташа?!— смутившись, пробормотал Равшан, не зная, как вести себя после всего, что произошло, ведь Анна, наверное, поделится с сестрой своими впечатлениями...— Наташа, а мы... Прости, мы не могли дожидаться тебя и пошли в кино, на двенадцать...

— Мне надо поговорить с тобой,— холодно проговорила Наташа, не слушая его.

— Хорошо... Но ты замерзла, пойдем в комнату, я чай поставлю.

— Да нет, зачем же,— упрямо пожав плечами, как-то беззащитно и в то же время вызывающе продолжала она.— Я, собственно, на минуту... Мне только один вопрос выяснить.

Она взглянула прямо в глаза ему и тихо спросила:

— Равшан, я кто для тебя?

Он почувствовал, как лицо и руки его обдало жаром, и он твердо и ласково ответил ей:

— Сестренка.

— А Анна?!— крикнула она, побледнев.

— И Анна сестра... Вы обе дороги мне, как родные сестры.

Наташа, резко повернувшись, побежала прочь.

— Наташа!

Она бежала, не оглядываясь. Вот скрылась за углом...

— Наташа...

И он долго еще стоял на углу, поеживаясь от сырого промозглого ветра, бормоча себе что-то, доказывая и стараясь понять — что же это творится с ним, с Наташей, с Анной...

Глава пятая. Рассказ Саттара Мурадова

Всякий раз, когда Равшан встречал на заводе высокого костистого черного, как цыган, Саттара Мурадова, он вспоминал собственного деда. Это было странно, ведь Саттар-ата совсем был не похож на деда. Но, может быть, правду говорят в народе, что все старцы схожи между собой... Впервые Равшан увидел Саттара-ата у Анны Васильевны в тот вечер, когда был приглашен к ней в гости письмом. И тогда этот, на первый взгляд нелюдимый и углубленный в свои мысли, человек, кавалер ордена Ленина, известный всему заводу, даже отпугнул парня своим молчанием и строгим взглядом. Но как-то в столовой они разговорились, и Саттар-ата оказался человеком словоохотливым и доброжелательным. Однажды Равшан даже проводил его до дома, так интересно и живо рассказывал Саттар-ата о своем детстве.

— А знаете, Саттар-бобо, вы мне дедушку моего напоминаете,— сказал Равшан,— хотя внешне дед совсем другой. Он среднего роста, с белой бородой и белыми усами. И тюбетейку почти никогда не снимает. Поверх тонкого белого халата он надевает теплый стеганный халат, потому что теперь часто мерзнет — старенький...

— Мудрый дед у тебя, много в жизни видал, много передумал, та-

кого хорошего парня воспитал! — похвалил деда Саттар-бобо. — И я в жизни многое пережил, вот и напоминаю тебе твоего дедушку...

Сегодня, возвращаясь с работы, Равшан всю дорогу думал о дедушке, соскучился очень. Вспоминал, как дед умывается и как, бывало, Равшан поливал ему на руки воду из кувшина: дед в одной руке держит тубетейку, как пиалу, а другой мочит бритую голову...

Вот произошло бы сейчас чудо, и Равшан очутился дома, хоть на часок, хоть на пять минут! Только бы уткнуться в дедов халат и вдохнуть его запах, и поцеловать деда в старую морщинистую щеку!

Равшан открыл дверь в комнату и оторопел — скинув с уставших ног ичиги, на стуле, спиной к нему, сидел его дед собственной персонею. Далеко отставив листы, он вчитывался дальноркими глазами в текст газетной статьи. Старые, в допотопной оправе очки сидели на кончике носа и чтению помогали скорее символически, потому что дед, когда читал что-то или пристально рассматривал, глядел всегда поверх очков.

— Дедушка! — вскрикнул внук. Дед от неожиданности выронил газету, в теплых вязаных носках вскочил со стула и бросился к Равшану. Они обнялись.

— Долгий путь испытывает коня, трудный путь — джигита, — сказал дед, ревниво оглядев внука. — Да, человеком стал, как я вижу...

— Я чай поставлю, дедушка! — Он схватил чайник. — Ну, как дела в кишлаке, что нового?

— Не торопись, сынок, оставь чайник... — улыбнулся дед. — Мы приглашены в гости.

— Какие гости, я куда вас не отпущу! — возмутился Равшан.

— Подожди, дитя мое, дай все объяснить. Ходил я тут, искал тебя... Вдруг смотрю — по коридору идет старик, представительный такой, высокий, чернявый. Как выяснилось, он здесь от заводского народного контроля что-то проверял. А я-то не знал, ну и спросил про тебя. А он, оказывается, знает тебя, сынок...

— А-а! — догадался Равшан. — Дедушка Саттар, что ли?

— Он, дитя мое... Наверное, уважаемый человек... Разговорились мы, знаешь, стариковские разговоры о том, о сем... Словом, Саттар-бобо пригласил нас с тобой в гости... — И дед, как бы извиняясь перед внуком за самоуправство, развел руками.

Саттар-бобо и в самом деле уже ждал их. Его жена, тихая незаметная старушка, быстро накрыла дастархан, принесла на лягане большие грозди зимнего винограда, огромные гранаты.

— Все из своего сада, — похвастался Саттар-бобо. — Предлагали нам квартиру, в новом районе, со всеми удобствами... А я сказал — нет! Не нужно мне никаких удобств без моего клочка земли... Пока глаза видят, пока руки держат кетмень, я хочу любоваться плодами своего труда... Угощайтесь, дорогие... — И он разломил гранат, заигравший пунцовыми зернышками.

— Правда, все равно нас года через три сносить собираются. Здесь будет... целый ансамбль зданий... мне говорили, я забыл, как называется...

— Площадь Искусств! — подсказал Равшан. — Я слышал, в конструкторском бюро говорили... На одной площади будут музыкальные и художественные училища, консерватория, концертный зал...

— Вот-вот, — подтвердил Саттар-ата, — как будто нельзя все это устроить немно-ожко в стороне от моей калитки! Обидно, сорок лет здесь прожил...

Равшан даже не предполагал, сколько общего обнаружится у деда и Саттара-бобо. Они, не умолкая ни на минуту, проговорили до темноты, когда же спохватились и стали собираться домой, было уже очень поздно, и Саттар-ата уговорил их остаться ночевать.

Равшану постелили на стареньком диване в проходной комнате, так что он мог слышать все, о чем говорили неугомонные старики, улегшиеся в соседней комнатке...

— Да-а...— продолжал начатый разговор Саттар-ата, и слышно было, как время от времени он наливает в пиалушки чай из маленького чайника...— Хлебнул я, конечно, как все... Начал с отцовского занятия — арбакешем сделался... Тому подвезу, другому помогу, и людям добро, и мне копейка... Ну, а потом на строительство Ташкентского канала подался. Парень был молодой, здоровый, женился... сила во мне выхода требовала, дела настоящего... На строительство шли целыми колхозами. Каждому колхозу выделяют соответствующую площадь, так сказать, долю работы. Сделал свою долю — можешь уходить. Привезли нас, и тут же, днем, собрание состоялось. Выступил сам Юлдаш Ахунбабаев и все объяснил нам про сложность работы, про ответственность... Надоело мне сидеть сложа руки, молодой был, глупый, возьми да крикни со своего места:

— Сделаем, Юлдаш-ата! Говорим много, работаем мало!

Все обернулись на меня, зашикали, зашумели, а Юлдаш-ата, спокойно посмотрев в мою сторону, заметил:

— Ну что ж, настоящий джигит не ударит лицом в грязь.

И слышалась мне в его словах насмешка... Понятно — молодость обидчива. Поужинал я наскоро и быстро спать улегся. А те, кто рядом со мной укладывались, все острили:

— Где же тот петушок хвастливый, что-то не видать его. Раньше курицы спать улегся...

А я лежу, зубы стиснул и голоса не подаю. Жду, когда все уснут... Наконец все стихло, вскочил я, вышел на участок выделенный, выбрал себе кетмень побольше, двумя платками поясницу обвязал да голову обмотал потуже и — да поможет аллах! Пошел махать... Луна над головой висит, все вокруг видно, ветерок степной обдувает лицо и плечи. А на участке моем, как назло, много пней.. Ну, к рассвету успел выкорчевать двенадцать пней. Красиво это было: из-за гор вот-вот солнце выползет, змеевидные корни на земле растянулись, пни валяются, ни дать ни взять крокодилы спящие... А платок у меня на голове от пота совсем мокрым сделался, тело, словно маслом смазанное, блестит. Добрей я до своего халата, расстеленного на земле, и упал, обессиленный. Думал, спать не буду, так, полежу с закрытыми глазами... Не знаю, сколько так проспал, но когда глаза открыл — вокруг меня толпа собралась, качать меня собираются. Насилу вырвался. А назавтра в газете моя фотография с подписью: «Равняйся на Саттара Мурадова!»...

Саттар-ата умолк, и в темноте раздался спокойный голос деда:

— Да, повезло вам, Саттар-ата, в самой гуще жизни побывали.

— Э, да разве только это!— воскликнул старик.— Для меня моя настоящая жизнь началась с завода! Когда война началась, взяли меня в строительный батальон, и вот этот самый завод я своими руками, можно сказать, строил. Днями и ночами кирпичи таскали. Знали — от строящегося завода многое зависит. Тогда с фронта нехорошие вести шли, фашист наступал. Бросил я все, побежал в военкомат: «Посылайте меня на фронт!» Отвечают: «Погоди, придет твое время, ты в тылу нужен...»

Кто только у нас в цеху не работал — даже дети, а о женщинах и говорить нечего... Да что я рассказываю, Азиз-ата, вы не хуже меня знаете, что войну женщины здесь, в тылу, на своих плечах вынесли... Словом, страшные дни пришли... Однажды подошел ко мне тогдашний директор завода Иван Васильевич Иванов, на готовую продукцию кивает и спрашивает:

— Ну как сегодняшняя норма, Саттар?

— Да вот, — говорю, — Иван Васильевич, двести пятьдесят процентов сегодня дал.

— Хорошо, — говорит он мне, — но только, Саттар, надо еще поднажать! Фашист проклятый жмет, на Москву разевает свою поганую пасть.

Смотрю я на директора — лицо у него темное, щетиной заросшее, глаза впали — все мы тогда недоедали, — но взгляд твердый и требовательный. Встал Иванов рядом со мной, и мы с ним до ночи вместе работали. А ночью нас женщины сменили... Тогда ночами из соседних колхозов подходили телеги, верблюдами запряженные. Грузили мы их ящиками с минами и отправляли на станцию Кадрия. Я тогда уже и ночевал на заводе. Для меня не существовало ни часов, ни дней, ни месяцев, а только одно в голове — количество мин... Позже я узнал, что в это время у нас на заводе готовили к выпуску «Катюшу М-13». Так, находясь в Ташкенте, мы дрались с фашистом. А когда его от Москвы-то отвадили, Иванов собрал рабочих со всего завода и прочел благодарность Верховного Главнокомандующего за участие в обороне Москвы.

Саттар-ата, взволнованный воспоминаниями, перевел дыхание и сказал спокойнее:

— Заговорил я вас совсем... Заморочил голову. Давно уже спать пора.

— Сон смерти подобен, — возразил дед. — Довелось уж встретиться, хоть наговоримся вдоволь, Саттар-ата. Жизнь у каждого долгая, есть что рассказать...

— Да, жизнь долгая... — подхватил Саттар-ата. — Взять хотя бы директоров — сколько я их перевидал на своем рабочем веку! Завод наш креп, рос, разворачивал плечи, как богатырь. Много всякой продукции мы выпускаем, но, конечно, главная наша гордость — трактор... Новый директор оказался, как говорится, с легкой рукой...

— Это имеете в виду Тимура Пулатовича? — подал голос со своего дивана Равшан.

— Ты не спишь еще?! — возмутился дед. — Охота стариковские разговоры слушать, когда завтра тебе чуть свет на работу подниматься?

— Пусть послушает, ничего, — успокоил его Саттар-ата, — пусть знает больше об истории своего завода... Да, Равшанбек, я имею в виду нынешнего директора Тимура Пулатовича... Светлая голова у него оказалась, не зря в Москве учился. Поначалу, признаться, мы, старики, не очень-то его жаловали. Молчун он. Слушает всех, а сам молчит. Однажды я даже спросил у него: «Сынок, а кроме «здравствуйте», вас там в Москве учили чему-нибудь?» Он улыбнулся и опять молчит... А теперь вижу — не зря молчал. Вчера созвал техсовет и все рассказал. Оказывается, с группой конструкторов они создали добавочный организм для трактора.

— Тормоз-синхронизатор! — вставил Равшан.

— А ты откуда знаешь? — удивился Саттар-ата, заскрипела под ним кровать, очевидно, он сел.

— Знаю вот... — похвастался парень. — И двенадцать прицепов теперь будет. Вместо обычного буксира — тягач. На обеих осях — пневматические тормоза... Ну, что вас еще интересует, уважаемые? — И он замолчал, улыбаясь в темноте.

— Ну и ну, — раздался голос Саттара-ата, — и впрямь тебе завод родным стал, если ты в курсе всех новшеств...

... Старики долго еще беседовали о жизни, вспоминали, ворошили и хорошее, и плохое, так и заснул Равшан под звуки их негромких голосов, когда за окном уже брезжила полоска рассветного неба.

Глава шестая. Романтика юности

Равшан улыбнулся и еще раз прочитал последние строчки письма Муаззам: «Ответьте, наконец, Надиру, почта завалена его солдатскими письмами!» Ах, Надир, Надирбек, ловкий вы ухажер, издалека, как дальнобойное орудие, — по цели! Он вспомнил письмо Надира, которое сунула ему в карман Муаззам в поезде в последнюю минуту. То ли в спешке, то ли нарочно вместо письма к нему, Равшану, она подсунула письмо Надира к ней. Ничего не подозревая, Равшан прямо в поезде прочел это пылкое послание Надира. Тогда у него прямо в глазах потемнело от злости и ревности, а сейчас он перечитывает это письмо с насмешливой улыбкой. Да и Муаззам, хитрюга, наверняка нарочно заменила письмо, думала, что возмутит покой парня. Недаром крикнула тогда с перрона: «Ответь Надиру сам!» Где же оно, это письмо? Вот, в тумбочке... В самом начале страницы: «Привет из Львова!» Равшан представил себе бритого, в военной форме Надира, вытянувшего руки по швам. Умора, должно быть!

«Муаззамхон! Я знаю, ты удивишься, прочтя эти искренние строки, но, поверь, написаны они от сердца. Я хочу напомнить тебе случай, который произошел с нами в четвертом классе. Ты помнишь, я подрался с Мирзой-Буйволом, а ты растащила нас, отвела меня к речке, умыла лицо и уложила меня на траву, чтобы кровь из носа не текла? Я тогда еще понял, что нравлюсь тебе... А здесь, далеко от дома, все прошедшее вспоминается особенно часто и переживается остро. Я все обдумал, все взвесил и понял, что люблю тебя... Ты только не смейся. Конечно, письмо есть письмо, совсем другое дело, когда в любви признаешься, глядя в глаза человеку. Но ты все равно ответь окончательно и твердо. Без твоего утвердительного ответа я не могу строить планы на будущее. Признаться, я немного беспокоюсь за Равшана. Ты каждый раз, как видишь его, как-то теряешься... Но он, конечно, не помеха на моем пути. Ведь у тебя на месте глаза, и ты, конечно, не можешь не сравнивать нас... Короче говоря, я жду твоего немедленного ответа. Твой односельчанин (пока односельчанин!) Надир».

Равшан злорадно усмехнулся, аккуратно вложил письмо в конверт. Подождешь ты, Надирджан, ответа, ох, подождешь! Получил Равшан два письма от Надира и сам. В них друг писал о своей воинской части, о службе, о ранних, непривычных для него, морозах. И еще — о Кудрате Асадове. Да, Равшан, когда получил это письмо, весь день ходил задумчивым. Интересно, неужели для подвига, для того, чтобы твоя жизнь стала дорога людям, нужны обязательно особые обстоятельства — война, например? Этот парень — Кудрат Асадов, узбек, уроженец Янгйюля, встретил войну на границе. Четыре дня несколько человек сдерживали натиск полчищ фашистов, а потом погибли. Их командир, офицер Асадов, стал героем Украины, посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Теперь молодые солдаты дают клятву у его памятника. Дал такую клятву и Надир... Равшан все думал: интересно, как погиб этот парень, что увидел перед смертью, в самое последнее мгновение? Тополя на родной улице? Гроздь золотистого узбекского винограда? А может быть, лицо матери?

Да, он напишет письмо Надиру, потому что только сейчас вдруг с необыкновенной ясностью ощутил, что скоро тоже будет давать воинскую клятву под знаменем.

А пока он выдрал из тетради в клетку двойной лист, достал из пиджака авторучку и сел писать письмо Муаззам.

«Здравствуй, соседка, здравствуй, односельчанка, здравствуй, почтальонша! А что, Муаззам, приятно самой себе вручать письма? Я жив и здоров и письма твои добрые и милые (хоть иногда и с колючками)

получаю исправно. Дед у меня гостил, говорит — приехал кое-что из одежды купить, да, конечно, лукавит, приехал, чтобы внука проверить. Проверил и, как будто, остался доволен. О тебе чуть ли не в стихах говорит, нахвалиться не может. И если серьезно, Муаззам, я так благодарен тебе за твое чуткое и нежное отношение к деду! Ты представить себе не можешь, как болит у меня за него душа, как волнуюсь я за его здоровье. Но, как только вспомню, что рядом с дедом такой человек, как ты, мне сразу легче становится... А я, признаться, здорово скучаю по кишлаку. Как там мой Олапар, не надоедает тебе? Мне бы крылья, я бы взмахнул ими раз, другой — и очутился бы возле тебя и Олапара... Я с дедом послал для тебя «Клад Улугбека» и «Звезды над Самаркандом», прочла что-нибудь? О заводе я напишу тебе подробно в следующем письме, может быть, завтра. Что же касается Надира, то я в своем письме не стану ему отвечать на его роковые вопросы, которые, к тому же, он задает не мне, а тебе, голубушка! А ты? Ты ускользаешь от ответственности за разбитое сердце Надирбека? А может, ты уже подготовила положительный ответ? У нас новый цех вводится в действие — литейный. Так что скоро мы не будем ждать необходимых частей от других предприятий, а обеспечим себя сами. Училище меня одолевает, но так просто я не сдамся. Зубрю по вечерам. Ты бы видела картинку: кто на танцы идет, кто в кино, кто в красном уголке в шахматы и бильярд играет, а мы с Виктором лежим каждый на своей койке и зубрим про себя (вслух зубрить запрещается). А ты бы собралась, почтальонша, да приехала сюда, на завод мой взглянуть, да и на меня тоже... Ах, Муаззам, Муаззам, где те дни, когда мы с тобой на лугу траву косили? Ушли безвозвратно. Пиши мне, буду очень ждать. Равшан».

Он внимательно перечитал письмо, вложил в конверт и заклеил. По небу ползли тяжелые снежные тучи. Вот-вот снег пойдет, сумрачно... Виктор задремал с книгой в руке. Бедняга, вот, должно быть, трудно — и работать, и учиться в институте. Институт — не училище. Высшее учебное заведение! Он вздохнул, вспоминая свое неудачное поступление. Ну, ничего, не боги горшки обжигают. Вот закончим училище, да как рванем в атаку на это самое высшее учебное! Да, а армия? Сколько еще в жизни надо успеть!

Он долго писал коротенькое письмо Надиру. Мучился: может быть, все-таки просто и по-мужски написать ему о своем чувстве к Муаззам? Дать понять, что и она тоже... Он задумался и усмехнулся: что «тоже»? Откуда он может знать, что творится в сердце Муаззам? Она — девушка скрытная, молчит, улыбается — поди разберись в ее чувствах! Он дотошно, зная насмешливый нрав друга, описал завод, свою работу, своих друзей... И вдруг его осенило. Он вскочил, порывлся в тумбочке и достал фотографию. На фотографии — улыбающаяся Анна с орденами на груди, сам он, Равшан, только из парикмахерской, коротко, модно постриженный и заметно скованный. К нему, словно боясь не вмяститься в кадр, приникла сбоку Наташа. Светлая челочка едва не лезет в глаза, губы улыбаются. На этой фотографии они с Анной очень похожи. А вон, сзади, чуть виден хмурый муж Анны..., Фотографировались в тот вечер, когда Равшан впервые пришел в гости к Анне... Кажется, это было вчера...

Равшан, торопясь, приписал в письме несколько строк, объясняя, кто на фотографии, и добавил: «Наташа любит получать письма, а ты мастер их писать. Отчего бы тебе не черкнуть пару слов такой необыкновенной девушке?» И, довольный собой, усмехнулся: «Если вы, уважаемый Надирбек, думаете, что способны обхитрить всех, то вы очень, о-о-очень ошибаетесь!»

Заклеив оба письма, он надел пальто и вышел на улицу. Возвращаясь с почты, Равшан поднял голову и увидел, как, кружась и мчась

в свете уличного фонаря, в воздухе суетятся легкие снежинки. Он подставил ладонь, и осторожно и бесшумно на нее опустилась игольчатая звездочка-снежинка. Потом вторая, третья... Он поднял воротник пальто, вдохнул холодный воздух, сунул руки глубоко в карманы и пошел гулять по вечернему городу...

* * *

Уже дней пятнадцать Федор находился в комнадировке, в Москве, и Равшан, неожиданно для себя, сильно скучал. В эти дни он много занятий пропустил в техникуме, почти не заходил в конструкторское бюро. Без Федора все было неинтересным, скучным. Равшан даже не представлял себе раньше, что сможет так привязаться к этому неуклюжему, длиннорукому, длинноногому, неловкому человеку. Но это произошло. Дни без Федора катились мимо, и их было совсем не жаль.

Однажды он все-таки зашел в конструкторское бюро, походил между чертежными досками, заглянул в один из чертежей и, ничего в нем не поняв, махнул рукой... Несколько раз он заходил к Анне. Сидел на кухне, ел борщ или щи, приготовленные ею, и рассказывал о Федоре. Анна сидела напротив за столом, подперев голову рукой и внимательно слушала.

— А так, со стороны, и не подумаешь, что такой интересный человек, — задумчиво проговорила она. — А я ведь давно его в лицо знаю, но близко не знакома. Так «здрасьте, здрастьте...»

— А какой он замечательный человек, Анна Васильевна! — горячо продолжал Равшан. — Добрый, чуткий, последнюю рубашку с себя снимет и отдаст, если другу надо.

— Ну я очень рада, Равшан, что ты подружился с Федором. Эта дружба пойдет тебе на пользу... А нас ты как-нибудь познакожь поближе, мне тоже интересно стало...

— Обязательно познакомя, Анна Васильевна! Чтобы два таких хороших человека работали на одном заводе и не знали друг друга — это преступление! — воскликнул он и вдруг осекся. Только сейчас ему пришла в голову мысль, которой он и удивился, и обрадовался. Конечно, как он раньше не догадался познакомиться Анну и Федора! Он вспомнил запущенную холостяцкую квартиру Федора, его привычку есть где попало и что придется, его одиночество по вечерам...

— Анна Васильевна, — сказал он. — В субботу Федор приезжает, а в воскресенье вы собираетесь отмечать день своего рождения... Можно я приду с Федором?

— Чудак, — ответила, улыбаясь, Анна, и он отметил про себя, что это, пожалуй, первая ее улыбка за два месяца. — А если человеку некогда или просто он не захочет?

— Он не захочет?! — вскричал Равшан, возмущившись при одной мысли об этом. — Да вы что? Еще как захочет! Да он просто умрет от радости.

— Не надо, — усмехнулась она. — Пусть живет твой Федор. Приходите, конечно, вместе...

Единственное, что мучало Равшана, — это что Наташа почти не разговаривала с ним. Кивнет сухо и уходит в другую комнату. Иногда обмениваются двумя-тремя словами, и опять — молчок. А с Анной на эту тему он говорить не решался...

...В субботу днем он зашел к Федору. Тот открыл ему дверь полураздетый, с электробритвой в руках. Голубая майка висела на его плечах, как на вешалке.

— Привет! — воскликнул он, продолжая водить по щеке электробритвой. — Ну, заходи, заходи скорей, холодно!

— Какой вы худющий! — сказал Равшан, заходя в коридор и закрывая дверь. Но Федор не слышал его слов из-за жужжания электробритвы.

— Проходи в комнату, Равшанчик, я добреюсь! — крикнул Федор из ванной.

Равшан вошел в комнату и в который раз удивился про себя количеству фотографий и репродукций на стенах. Одни трактора, десятки, сотни тракторов. Всевозможные трактора... Вот американские — большие и маленькие, с колесами, напоминающими тело крокодила. Бельгийские с огромными круглыми, как у велосипеда, колесами. Английские, мексиканские, австрийские... Вот наши — минские, гомельские, владимирские трактора. А вот ташкентские: впереди одно колесо. Это трактора для хлопковых полей, чтобы не повредить посевы хлопчатника.

Равшан вспомнил, как в детстве они бегали по полю за трактором, вспахивающим картофельные грядки, и радовались, когда находили несобранные картофелины...

— Равшан! — позвал из кухни Федор. — Пойдем, картошка стынет.

На кухне Федор колдовал над сварившейся картошкой — бросал в кастрюльки куски масла, сыпал мелко нарезанный укроп.

— Теперь посолить, и мы с тобой пообедаем, как короли! — воскликнул он. — Садись, рассказывай, что новенького на заводе.

— Комсомольское собрание было, — сказал Равшан, устраиваясь на табуретке у окна. — Громили равнодушных к общественной жизни...

— Правильно делали, — подтвердил Федор, ставя чайник на газ.

— Правильно-то правильно, но стоило бы еще заклеить тех, кто равнодушен не только к общественной жизни, но и к своей личной!

— Ну? — промычал Федор с полным ртом.

— Вот вас, например...

Федор перестал жевать, удивленно уставился на парня.

— Ты чего? — спросил он.

— Вы посмотрите на себя! — сказал Равшан грустно.

Федор молча осмотрел свою застиранную синюю майку, свободно висящую на костистых худых плечах, окинул взглядом старые тренировочные брюки.

— А что, я тебе не нравлюсь? — иронично спросил он.

— Вы почему не женитесь? — так же грустно спросил Равшан. — Почему так наплевательски относитесь к своей жизни? Вы что, собираетесь всю жизнь прожить вот так, одиноким сычом? А ведь вам уже за сорок перевалило...

— Тебя какая муха укусила? — внимательно глядя на парня, спросил Федор. — Ввалился, понимаешь, напустился, не спросил, как съездил, не успеет двух слов сказать...

— Подождите! — скомандовал Равшан. — Быстро отвечайте: вам Анна нравится?

— Какая Анна? — оторопел Федор.

— Здравствуйте! Моя Анна, наставница...

— Ну, привет! — воскликнул Федор. — Еще чего придумал!

Он неожиданно покраснел, разволновался, желваки задвигались на его худых щеках.

— Во-первых, она замужем!

— Она разошлась и живет одна, с сестрой, мамой и Светкой.

— Подожди, подожди! — остановил его Федор. — Заморочил ты мне голову: «Сестра, мама, Светка...» Светка какая-то. Кто — Светка?

— Светка — человек, — серьезно сказал Равшан. — Ей десять месяцев и она уже сирота, без отца. А я знаю, что это такое — расти без отца. Безобразие какое! — воскликнул он. — Один из-за подлого харак-

тера семью бросает, другой, как сыч, в свою работу зарылся, по сторонам не смотрит, замечательных женщин не видит!

— Ты что, с цепи сорвался?! — закричал Федор. Видно было, что слова парня задели его за живое. — Умник нашелся — «не смотрит, не смотрит!» Да я, может быть, давно на нее заглядываюсь! Легко сказать! Она же красавица, твоя Анна! Ей не я нужен, а... знаешь, какой мужик!

— Знаю, — твердо ответил Равшан. — Костюм выходной есть у вас?

— Ты что?

— Завтра купите цветы и будете ждать меня возле проходной на скамейке. Ровно в шесть.

— Никуда я не пойду! С ума ты сошел, что ли?! Ты что — женить меня собрался?

— Да, — просто сказал Равшан.

Федор молча смотрел на него, не зная, что еще сказать.

— А... что она скажет, когда я вдруг появлюсь? «Здрасьте, явился!»

— Она будет очень рада. Завтра у Анны день рожденья. Будут только самые близкие друзья.

— И она... не будет против, что я ввалюсь вот так, за здорово живешь?

Равшан улыбнулся, вспомнил вдруг себя в августе, вышагивающим на вокзале, не решающимся сесть на поезд, и сказал:

— Вы словно только что из кишлака, Федор Филиппович!

Федор расхохотался — красный, взволнованный, повалил одной рукой парня, прижал его к полу, но Равшан ловко вывернулся, дал подножку Федору и через секунду уже сидел на нем верхом.

— Сдаётся?

— Сдаюсь! — прохрипел поверженный.

* * *

...Снежные поля раскинулись далеко вокруг, лишь на горизонте темнел кладбищенский холм... И на этом снегу особенно странно и призрачно чернели виноградные лозы. Лозы-то были обыкновенными, укрытыми на зиму, но вот почему-то забыли снять с голой ветви гроздь золотистого крупного винограда. И она сияла полными, светящимися изнутри медовым светом виноградинами. Одна кисть, что за чертовщина! Неужели дед забыл снять ее? И она не увяла, не замерзла... как странно! Золотистая гроздь винограда. Она висит, как надежда на тепло и радость будущего урожая... Золотистая гроздь на холодном снегу.

— Равшан, Равшан, проснись! Тебя спрашивают... — Виктор тряс его за плечо, а Равшан все никак не мог проснуться окончательно.

— Витя, который час? — промычал он, силясь открыть глаза.

— Проснись, тюлень, девятый час! Слышишь? К тебе пришли.

— Кто? — спросил он и открыл глаза. Виктор стоял над ним в спортивном костюме, с трубочкой свежих газет в руке.

— Девушка какая-то тебя ждет внизу. Я вышел в киоск за газетами, и она на меня наткнулась.

Равшан вскочил, стал быстро натягивать брюки, свитер.

— Светленькая? Сероглазая такая, с челкой? — спрашивал он быстро, а в голове крутились беспокойные вопросы: «Анна? Что с Анной? Почему пришла Наташа?»

— Да нет, черненькая, с карими глазами, — насмешливо ответил Виктор, — румянец в полщеки и ямочки такие симпатичные...

Но Равшан уже не стал слушать. Нахлобучив на голову ушанку,

на ходу поправляя стоптанные задники туфель, он мчался вниз по лестнице. Распахнул дверь на улицу и застыл. Вдох застрял где-то на полпути к горлу, горячая волна окатила сердце. Морозный воздух пощипывал лицо, глаза чуть слезились.

— Муаззам... — прошептал он горячими губами.

На скамейке рядом с полузатоптанной клумбой, покрытой снегом, сидела Муаззам и, улыбаясь, спокойно смотрела на Равшана.

— Муаззам! — крикнул он, все еще не двигаясь с места. Потом рванулся, подбежал к ней и застыл.

— Здравствуйте, Равшан-ака! — церемонно и вместе с тем очень лукаво, так, как могла говорить только она одна, проговорила Муаззам, протягивая ему руку. Он схватил ее холодную твердую ладонь и вдруг прижал к губам.

Лицо Муаззам вспыхнуло, она воскликнула нарочито насмешливо:

— Ого! Как в недавнем телевизионном фильме! Здорово вас город обтесал, уважаемый Равшанбек!

Он рассмеялся и потянул ее за руку к подъезду.

— Ну и язычок у тебя, болтушка! Пойдем, замерзла совсем! — И уже заводя девушку в комнату, вспомнил свой сон — золотистую гроздь винограда среди белого холодного снега...

* * *

Федор уже собирался выходить на встречу с Равшаном, как договорились, возле проходной, уже побрился и надел свежую рубашку, как в дверь позвонили. Федор открыл и удивленно замер на пороге. Рядом с Равшаном стояла миниатюрная стройная девушка в длинном платье, выглядывающем из-под куртки, укутанная в большой шалевый платок. Лицо у нее было необычайно живое, лукавое, большие выразительные карие глаза скромно потупились, на левой щеке красовалась родинка. Девушка молчала. Равшан же выглядел совершенно обалдевшим от счастья и болтал без остановки.

— Кто спутника бросит, тот сам в пути застрянет. Мы за вами зашли, Федор Филиппович. Принимаете?

— Пожалуйста, пожалуйста, — пробормотал Федор, засуетившись. Он снял с Муаззам куртку и, заметив, что девушка собирается снимать сапожки, воскликнул:

— Что вы, что вы, не разувайтесь! Моя берлога привыкла к беспорядку!

— Очень плохо, — заметила девушка, поднимая на Федора свои удивительно лукаво-серьезные глаза. — А я порядок люблю... — И, сняв сапоги, надела большие клетчатые тапочки Федора.

— Вот, Федор Филиппович, односельчанка ко мне приехала! В гости! — не унимался Равшан.

Федор искоса взглянул на Муаззам. Две черные косы, как змеи, висели вдоль ее гибкой фигуры, почти до самых колен.

— И много таких девушек в твоём кишлаке? — спросил он парня.

— Одна-единственная на всем белом свете! — воскликнул Равшан. Муаззам, присев на краешек тахты, смущенно улыбалась. Федор ушел на кухню и через минуту позвал Равшана.

— «Односельчанка, односельчанка!» — передразнил он парня шепотом, ставя чайник на газ. — На ее месте я бы просто оскорбился!

— А если законы у нас такие! — тоже шепотом возмущенно оправдывался парень. — Ну, не могу я ее невестой представлять, пока не посватаюсь, не получу согласия родителей. Традиции такие!

— Традиции традициями, а ты, смотри, не зевай! — примирительно заметил Федор. — Такую и уведут из-под самого носа...

Муаззам в комнате разглядывала картинки с тракторами.

— Нравится? — спросил ее Федор, заноса в комнату чайник и чашки. — Поступайте к нам на завод, Муаззам, тогда Равшану сразу квартиру дадут.

И тут девушка показала свой нрав. Гордо вскинув маленькую головку, она сказала сухо и твердо:

— Мы не сосватаны.

— Извините, — пробормотал Федор, кляня в душе свою излишнюю простоту и откровенность. Сейчас эта сельская юная девушка преподала ему урок тактичности и сдержанности. — Простите, Муаззам, и примите от меня вот эти красные гвоздики.

Он вынул из вазы на столе цветы, купленные утром для Анны. Федор решил, что для виновницы торжества он успеет купить цветы по пути, когда они будут идти через базар.

— Вы любите гвоздики?

Вид у него был виноватый.

— Спасибо, очень люблю, — просто ответила Муаззам и взяла цветы, мило улыбнувшись, отчего родинка на секунду исчезла в ямочке на щеке...

* * *

Возвращались от Анны поздно, за полночь. На снегу лежали бледные световые круги от уличных фонарей, город затихал, лишь изредка по дороге проезжали легковые машины. Шли вдвоем с Федором (Муаззам осталась ночевать у Анны) и почти не разговаривали, боясь нарушить очарование этого удивительного вечера. Равшан изредка поглядывал на друга, удивляясь про себя, как он раньше не замечал, что Федор весельчак и балагур, прекрасный рассказчик и завзятый ухажер. Кто бы мог подумать!

А Федор шел, молча выкуривая одну сигарету за другой, и удивлялся, вспоминая вечер, тому, как легко и азартно припоминал он и рассказывал какие-то давно позабытые смешные истории из своей студенческой жизни, лихо ухаживал за столом за Анной и Наташей одновременно, наливая в рюмки то одной, то другой, как говорил тихо улыбающейся Анне комплименты... Кто бы мог подумать!

Сегодня всех как будто подменили. Анна была притихшей, даже застенчивой, и удивительно юной в своем синем свитерке и ладно сидящей серой юбке. Она весь вечер, удивительно улыбаясь, слушала Федора, и глаза ее выражали нечто такое, что Равшан раньше у Анны не замечал. Сам он был необычайно серьезным и взрослым. То и дело вставал с намерением произнести какой-нибудь торжественный тост, но Федор тут же перебивал его шуткой, и за столом сразу раздавался дружный хохот. Особенно весело хохотали Муаззам с Наташей. Они сели рядом с краю стола и весь вечер шептались о чем-то, а Равшан то и дело бросал в ту сторону тревожные взгляды. Он был очень удивлен и даже уязвлен. Ему казалось, что Наташа встретит Муаззам враждебно, очень боялся этого. Но все произошло как раз наоборот. Наташа потащила Муаззам с собой в магазин за конфетами, и через полчаса они возвратились уже настоящими подругами.

«О чем могут говорить две девушки, знакомые друг с другом полчаса?» — недоумевал Равшан. Он даже немного обиделся, ему показалось, что о нем забыли...

Когда, убирая со стола тарелки с закусками, он вошел в кухню, то увидел, что Наташа тихо рассказывает о чем-то Муаззам. Они стояли близко друг от друга, одна мыла тарелки, другая вытирала их полотенцем, и непосвященному могло показаться, что девушки знают друг друга уже много лет и понимают друг друга с полуслова.

«О, женщины! Кто поймет ваше сердце!» — подумал Равшан.

— Равшан, — сказала Наташа, — тебе не знаком этот парень? — И достала с буфета фотографию.

— Посмотри внимательно, — продолжала она, подавая Равшану фотографию мокрыми пальцами. Равшан пригляделся и даже присвистнул от удивления. На карточке, вытянувшись и строго смотря перед собой, стоял Надир в военной форме.

— Прочти, что написано на обороте, — предложила Наташа.

На фотографии знакомым почерком было написано следующее: «Милая Наташа! Я полюбил вас сразу, как только увидел вашу фотографию. И решил написать вам письмо и прислать свое фото».

— Да-а... — протянул Равшан. Даже зная любвеобильный характер друга, он все же не думал, что Надир так скоро будет сражен светлой челочкой и серыми глазами.

— Как думаешь, написать ему ответ? — насмешливо спросила Наташа, протягивая Муаззам вымытую тарелку. Равшан даже вспотел от напряжения.

— Ну, Наташа... — забормotal он, чувствуя и себя причастным к идиотскому посланию Надирбека. — Тебе видней, а мне Надир — друг. — А про себя подумал: «Ну и ну! Сколько же сердец у Надира?» ...Федор сказал что-то Равшану, и тот очнулся от воспоминаний.

— Забыл поблагодарить тебя за сегодняшний вечер, — глухо сказал Федор. — Знаешь, бывают в жизни человека такие дни и даже часы, от которых жизнь его круто поворачивается... Вот сегодня, — он сильно затянулся сигаретой, выбросил ее в урну и закончил: — Вот сегодня, может быть, у меня был такой именно день. — И, посмотрев на парня, он вдруг улыбнулся и подмигнул ему. На меховой шапке Федора легким слоем лежали снежинки, глаз в темноте почти не было видно, но брови чернели, и губы, бледные при свете фонаря, улыбались тревожно и счастливо...

Глава седьмая. Опять разлука

Равшан обещал показать Муаззам свой завод. Но экскурсии на заводе проводились по средам, Муаззам же купила билет на вечерний поезд. Равшан долго добивался разрешения в заводском комитете комсомола и нервничал оттого, что Муаззам в это время сидела на скамейке у проходной, ждала. Наконец разрешение было получено, и Равшан выскочил из проходной на улицу. Муаззам спокойно сидела на скамейке и читала газету «Тракторист».

— Заждалась? — спросил он виновато.

Она подняла на него спокойные безмятежные глаза. Ну и терпение у тебя, Муаззам!

— Все в порядке? — спросила она.

— Пойдем, дали разрешение...

* * *

Равшан никогда не думал, что он столько уже знает о своем заводе, о всех его цехах. Муаззам шла рядом с ним, а он, увлекаясь все больше и больше, рассказывал ей о работе станков, показывал, как собирается трактор. У Муаззам уже устали ноги, а они еще не обошли и половины территории завода. В просторном зале Дворца культуры Муаззам остановилась около трактора с большой светлой кабиной.

— Зачем он здесь стоит? — спросила она.

— Как это зачем? Продукция нашего завода! Наглядная агитация для таких зеленых, как ты! Видишь, красота какая?

— Да, новенький... только с конвейера... А можно сесть за руль?

— Пожалуйста! — великодушно разрешил Равшан. Он вспрыгнул на подножку, проверяя, не закрыта ли кабина, но дверца легко открылась.

— Ну, Барчиной двадцатого века, прошу садиться на Байчибара! Ему и самому понравилась затея Муаззам, он даже развеселился. Муаззам, опираясь на его руку, забралась в кабину. Вид у нее был прямо-таки счастливый.

— Ой, как здорово! — воскликнула она.

А Равшан любовался девушкой, каждым ее движением. Он не мог насмотреться на свою любимую, и сердце его сжималось при мысли, что уже сегодня вечером она уедет. «Какая же она все-таки красавица, — думал Равшан. — Что ни делает — все ей идет».

— Ну, Барчиной, слезай с коня! — приказал он, уже ревнуя ее к трактору.

— Вот и не слезу! Здесь замечательно, мне здесь нравится, остаюсь жить в кабине! — она выглянула и показала Равшану язык.

— Ты хоть знаешь, на каком тракторе сидишь?

— А ты знаешь?

— Вот те на! — он даже обиделся, что она заподозрила его в невежестве, и стал горячо и торопливо объяснять преимущества новой марки трактора. Про то, что в кабине его установлен кондиционер, что трактор легче прежнего на три килограмма, что в нем сто двадцать лошадиных сил и с прицепами он может двигаться со скоростью сорок километров в час, а также легко маневрирует между рядами хлопчатника. Муаззам слушала его, удовлетворенно кивая головой, как экзаменатор.

— Без пыли, без гари, как в лаборатории, — азартно продолжал он. — Кабина выше прежней на двадцать два сантиметра. Далеко тебе видно оттуда?

Муаззам расхохоталась.

— Пока, кроме тебя, я отсюда никого не вижу, — сказала она.

Ее слова как будто обдали его горячим дыханием. Захотелось схватить ее и стащить с трактора, чтобы она снова стояла рядом.

Вечер, проклятый вечер расставания, все-таки наступил. Муаззам попрощалась с Анной и Наташей, немного посидели они с Равшаном у Федора. Провожать Муаззам Равшан захотел один. Федор порывался вызвать такси и поехать на вокзал вместе с ними, но в коридоре Равшан едва заметно коснулся его руки и выразительно посмотрел другу в глаза. Федор попрощался с Муаззам дома.

До поезда оставалось три часа. На улицах уже стемнело, лишь светились окна домов и музыка неслась из дверей кафе.

— «Молодежное», — прочитала Муаззам название кафе.

— Давай пойдем, — предложил Равшан. — Поужинаем, тебе ведь всю ночь ехать...

Они заказали традиционных здесь цыплят-табака и ждали, когда их обслужит официантка — немолодая грузная женщина с большими, распухшими ногами. Разговор не клеился. Мысль о том, что Муаззам уезжает, а он так ничего и не смог сказать ей определенного, мучала Равшана и мешала ему сосредоточиться. Он разглядывал меню и вдруг заметил на себе пристальный, как будто изучающий взгляд девушки.

— Ну, что? — стараясь улыбиться, спросил он.

— Ничего... — серьезно ответила она.

— Ты как-то странно смотришь на меня...

— С чего ты взял?

— Как будто изучаешь.

— У тебя богатое воображение, — она хмыкнула, отвернулась, де-

лая вид, что рассматривает небольшой, довольно уютный зал кафе. Он вновь, будто впервые, увидел ее удлинённые карие глаза, ямочки на щеках, капризные подвижные губы.

«Вновь ты ускользаешь от меня, Муаззам. Растворяешься вдали вместе с поездом, уносящим тебя. А я бессилен, Муаззам... Я бы мог схватить тебя на руки и не пустить от себя ни на шаг, мне кажется, я мог бы даже остановить поезд. Но я не могу ни остановить время, ни подогнать его. Хоть я дорого отдал бы за то, чтобы промелькнули два года, как два дня. Но нет, каждый должен выполнить свой долг, вынести на своих плечах, почувствовать ответственность за себя, за других. И пока не пройдут эти два года в армейской шинели, как могу я связывать тебя обещаниями, клятвами? Ведь ты для меня дорога, моя Муаззам! Ты для меня и родная земля, и детство мое, в тебе я вижу отражение своих дум и мечтаний, и даже облик своего дорогого деда вспоминаю я, когда думаю о тебе! Вот что ты значишь для меня, Муаззам!»

— И все-таки мне кажется, что ты хочешь что-то сказать.

— Ты проницателен, как Шерлок Холмс. Еще не хватало, чтобы ты по грязи на сапогах определил, из какого кишлака я родом!

Они посмеялись.

— Может быть, ты заподозрил, что я приехала проверять тебя? — задорно спросила Муаззам, но в голосе ее чувствовалась обида.

— А что, может быть...

— Но если у тебя совесть чиста, то сплетням грош цена, я им не верю! — И, поняв, что проговорилась, закусил нижнюю губу.

А у Равшана все внутри похолодело от ее слов. Мысли заметались. «Откуда? Когда успела? Кто же ей — Наташа? Но неужели Анна рассказала сестре?»

Тем временем официантка принесла цыплят, салат, поставила два бокала для шампанского.

— А вот этого не надо, — мягко сказала ей Муаззам.

— Что — трезвенники? — насмешливо спросила официантка.

— Да нет, просто пить пока не за что, — объяснила девушка.

Официантка ушла, и они молча принялись за еду.

— У меня совесть чиста, — медленно проговорил парень, — и если уж у нас зашел об этом разговор, то, пожалуйста, могу рассказать тебе об одной идиотской моей выходке... — Он помолчал, всем существом чувствуя, как напряглась в молчании Муаззам. — Да, был у меня порыв такой — отдать в жертву и свою любовь, и свои мечты... ради одного замечательного человека. Посвятить жизнь тому, чтобы были счастливы и она, и ее ребенок. Но этот человек... В общем, Анна дала мне понять, что ничьи жертвы ей не нужны, тем более — мои... И честно говоря, я ей страшно благодарен за это. Сейчас уже не представляю, что было бы, если бы она согласилась...

Он поднял глаза на Муаззам. Та сидела, отставив вилку и нож, и удивленно глядела на Равшана.

— Анна?! — наконец, выдавила она. — При чем тут Анна! Речь шла о Наташе... Дело в том, что Надир...

— Надир?!

— Ну да, Надир написал мне письмо, что... — Она стала лихорадочно рыться в сумке, небольшой дамской сумочке бежевого цвета, которую днем купил ей в подарок Равшан, но разочарованно отставила ее в сторону.

— Это не здесь, в куртке...

— Да объясни же, наконец, что написал Надир! Ты же видела его «прямое открытое сердце», любвеобильное до ужаса! Ты же читала надпись на фотографии!

— Это я знаю сейчас, — горько сказала она. — Но мне-то Надир прислал совсем другую фотографию! Там ты... Там к тебе Наташа прижалась, и вы стоите вместе, и Анна с вами, и еще кто-то... И он написал: «Посмотри на это фото и сделай вывод сама...»

— Тьфу! — он так громко чертыхнулся, что за соседними столиками стали оглядываться.

— Ешь быстрее, а то мы уже опаздываем! — сказал он. И пока Муаззам поспешно доедала дылленка, расплатился с официанткой...

Они вышли из кафе, вдохнули сырой холодный воздух и разом посмотрели друг на друга.

— Молчи, — сказала ему Муаззам. — Не стоит портить последние полчаса.

Они молчали, пока ехали в такси до вокзала, молчали, пока Муаззам устраивалась в купе. И только, когда до отправления поезда осталось две минуты и Равшан стоял уже на перроне, а Муаззам выглядывала в окно, он крикнул:

— Правду дед говорит, что разум дается не по росту... Глупый Надирбек! Из-за одной своей мерзкой фразы лишился сразу двух друзей...

Муаззам улыбнулась.

— Он просто не понимает, что делает. Мне даже жалко его, Равшан. И знаешь, даже хорошо, что так получилось, потому что...

Поезд тронулся, и Муаззам не договорила.. А поезд медленно уносил ее все дальше и дальше...

— Муаззам! — крикнул Равшан, прибавив шаг. — Что? Что ты сказала?

Но мимо него все быстрее и быстрее пробегали вагоны, и вот уже не различишь вдали маленькую руку, машущую из окна...

«А перрон все тот же, что и несколько месяцев назад, в августе. Только вместо пыли — снег... Теперь даже странно вспоминать, каким одиноким казался я сам себе. Ташкент был где-то за пределами перрона — чужой, многоликий, огромный город. И — пустой, совершенно пустой для меня. Потому что пусто в городе, когда здесь не к кому постучаться... А сейчас? Ого, сколько имен, сколько новых людей в моем сердце! И к каждому из них в любую минуту я могу прийти как к себе домой. Анна Васильевна, Федор, Саттар-ата, Наташа, Антон Ильич, Виктор... Все они со мной, даже когда их нет рядом... Может быть, поэтому не так щемит сердце от разлуки с Муаззам. Интересно, скажет ли Муаззам деду, что ездила ко мне? Если бы дед знал, что Муаззам увидит меня, он обязательно передал бы что-то в подарок. Намучился за эти дни, наверное. Коровник убирать, корм для скота засыпать, молоко кипятить... В кишлаке работы — непочатый край».

Глава восьмая. Мечта Мурада

Все чаще Равшан видел Федора с Анной Васильевной. Обедать теперь они ходили вместе, а однажды он встретил Федора возле аптеки на углу. Тот очень торопился, только успел крикнуть на ходу:

— Светка заболела, я вот гаммаглобулин достал!

Равшан радовался тому, как буквально на глазах преобразилась

Анна — оживилось ее нежное лицо, все чаще спокойная мягкая улыбка появлялась на губах, а Федора невозможно было узнать: подтянутый, даже на работе он теперь появлялся в выходном коричневом костюме.

— Ого, маэстро! — сказал ему как-то Равшан, зайдя в конструкторское бюро. — За последнее время я насчитал у вас четыре новых галстука. И это только грубый подсчет!

— Пять! — сказал Федор. — Не разоблачай меня, дружище, помни, что я прежде всего твой строгий преподаватель. Урок выучил?

— Не увиливайте в сторону от назревшего разговора! — возразил Равшан, хитро прищуриваясь. — Признайтесь сразу: намечаются ли в вашей холостяцкой жизни существенные перемены?

— Ой, не слезь! — деляя страшные глаза, прошептал Федор. — Я еще ничего не предпринимал, боюсь получить «от ворот поворот».

...Он и в самом деле боялся так вдруг, сразу менять свою привычную устоявшуюся жизнь. Часто вечерами чувство одиночества не только охватывало его душу, но как будто даже прочно поселялось в комнате, пряталось между книгами в шкафу. Но он гнал от себя мысли о семье, слишком тяжелое воспоминание молодости тревожило его душу. Он вспоминал свои студенческие годы, веселые студенческие годы в Москве, хрупкую синеглазую Надю на модных тогда тоненьких каблучках-шпильках, их последнюю ссору на студенческом вечере после защиты диплома.

— Останешься в Москве! — приказным тоном заявила девушка. Они стояли на балконе. Ветерок ласково играл ее золотистыми кудряшками, шевелил челку на лбу. — Это надо быть дураком, чтобы оставить Москву и уехать куда-то к черту на рога, в Среднюю Азию!

В зале за их спинами студенческий оркестр играл вальс. Федор докурив папиросу, молча выбросил окурочек за перила балкона.

— Понимаешь, — сказал он, — в Москву меня направил мой завод, и все пять лет он учил меня на свои средства. Как же я могу плюнуть в лицо стольким людям, целому коллективу, и не вернуться на завод?

Он обнял ее за талию, привлек к себе.

— Надюха, мы же теперь инженеры! Нам везде работа есть, а уж тем более на нашем заводе. Знаешь, какой завод у нас! Приедем, сразу распишемся, нам комнату дадут...

Она резко высвободилась из его объятий.

— Нет уж, миленький! — Ее прекрасные синие глаза недобро сощурились. — Я не из тех женщин, которые плетутся за мужчинами. Проживу здесь и без тебя, и без твоего хваленного завода. Умолять не стану! Мужчины не дефицит.

— Не дефицит? — негромко переспросил Федор, чувствуя, как в нем поднимается волна отчуждения. — А ты у матери своей спроси — дефицит или не дефицит. Она и сейчас в день Победы отцовскую гимнастерку гладит!

— То — мать, а то — я. Время другое! — Она смотрела на Федора вызывающе и неприязненно, и вера в ее любовь поколебалась. Стиснув зубы, он резко повернулся и вышел из зала... Через три дня, не попрощавшись с Надей, он уехал в Ташкент. Нет, Федор не жалел о Наде, и сейчас, спустя пятнадцать лет, твердо уже знал, что поступил тогда правильно, но легче ему от этого не было, и все чаще в мысли закрадывалось сожаление о молодости, пролетевшей почти мгновенно, без тепла семьи, без ребячьего голоса в квартире. Чувство к Анне, глубокое и бережное, возникло, как ему казалось, совсем не случайно, любовь эта была закономерной и истинной. Он боялся нарушить то понимание, которое было в последнее время между ним и Анной, боялся, что Анна ответит на его предложение отказом...

...Как раз в то время, когда он собрался объяснить все Равшану, в

конструкторское бюро влетела — она всегда именно не входила, а вривалась, влетала — бойкая девушка из бюро комсомола, Рано.

— Товарищи! Все — в зал Дворца культуры! — крикнула Рано. — На торжественное собрание, посвященное солидарности с народом Анголы!

— Ну и голосок у тебя, Рано!

— Иерихонская труба!

— Вы слышали, как поют дрозды?

— Затыкайте уши — Рано летит!

Но вездесущая Рано уже не слышит задиристые реплики конструкторов, она мчится дальше — объявлять о собрании в других цехах.

Большой зал Дворца культуры был уже полон. Из шестого ряда, приподнявшись с места, им энергично махала Анна. Они пробралась к ней и сели рядом. Зал волновался, как весенняя степь под сильным свежим ветром. Наконец все стихло, и Тимур Пулатович открыл торжественный митинг, посвященный солидарности с народно-освободительным движением Анголы. Он рассказывал историю тракторного завода, подробно говорил о продукции, выпускаемой их заводом. При этом он как бы обращался не столько к залу, сколько к маленькому черноволосому человеку в очках, сидящему рядом с ним.

— Узнал Агостиньо Нето? — шепнул Федор, нагнувшись к Равшану. Тот молча кивнул. Пока он рассматривал всех сидящих на сцене за длинным, накрытым красным сукном столом, раздались оглушительные аплодисменты. Это Тимур Пулатович предоставил слово гостю нашей страны, нашего города, нашего завода — Агостиньо Нето. Он говорил негромким, хрипловатым голосом. В его манере говорить было мало эффектности, зато чувствовались твердость духа и непоколебимость. Он рассказывал о самоотверженной борьбе своего народа за свободу, о его стойкости и мужестве. Говорил о трудностях в подъеме сельского хозяйства, делился проблемами, которые стояли перед народом Анголы, и закончил тем, что для его страны в ближайшее время необходимы две тысячи тракторов.

После речи товарища Нето поднялся Тимур Пулатович и торжественно заявил от имени трудящихся завода, что заказ борющейся Анголы будет с честью выполнен в кратчайшие сроки.

Раздались аплодисменты, все в зале поднялись со своих мест.

* * *

С этого дня завод гудел от непрерывной работы станков. Работали в три смены. Собранные трактора с грохотом и ревом выезжали на заводской двор. Под солнцем блестели буквы на прицепах: «Грузоподъемность четыре тонны». Перед каждой сменой Тимур Пулатович сообщал по радио информацию о показателях каждого цеха. Цех, в котором работал Равшан, стоял не третьем месте. Казалось, весь завод дрожал от напряжения. В красильном цехе не успевали покрывать краской только что собранные трактора. В сборочном цехе подъемные краны поднимали по тридцать тракторов. Работали напряженно... К концу третьей недели такой работы у Равшана ломило руки, болела поясница, но настроение, как и у всех на заводе, было отличное: обязательство, взятое на собрании, выполнялось.

В один из таких дней, часов в двенадцать, по радио раздался голос Тимура Пулатовича:

— Товарищи!

Было в этом голосе что-то особенное, приподнятое, торжественное. И все это сразу почувствовали и замерли, прислушиваясь.

-- Наш коллектив с честью выполнил взятое обязательство. Две тысячи тракторов ждут отправки в Анголу. Поздравляю вас, друзья!

— Анна Васильевна, обязательство выполнили! — крикнул Равшан, удивляясь, что Анна продолжает работать как ни в чем не бывало.

— Прекрасно, — улыбаясь, ответила Анна, — но ведь свою дневную норму я еще не выполнила.

«Вот, — подумал Равшан, — наверное, это и есть то, что называется сознательностью рабочего».

На обед они пошли втроем, как всегда. И за столом Анна вдруг спросила:

— Равшан, отчего ты не привезешь сюда Муаззам? Она бы устроилась на завод, жили бы вместе.

Равшан, чувствуя, как жаром полыхнули уши и шея, спросил:

— А вы возьмете ее в ученицы?

— Возьму!

Анна с Федором переглянулись, и Федор сказал:

— Не бойся, будет, где жить. Я для вас квартиру освобожу.

— А сами куда денетесь?

— Сам? — Федор хитро улыбнулся и вдруг протянул руку и обнял плечи Анны. — Сам пойду к Анне, в квартиранты.

Равшан с радостью смотрел на счастливые лица Федора и Анны, смущенно спросил:

— Это правда, Анна Васильевна?

— Правда, правда, Равшан Мурадович! — шутливо ответила она, а Федор, расхохотавшись, взъерошил ему отросшие уже волосы.

* * *

В общежитии его ждала телеграмма. Ощущая тяжело бьющееся сердце, он немеющими пальцами развернул бланк:

«Дедушка просит приехать. Муаззам».

Что это? Каприз деда? Болезнь? Конечно, болезнь! Равшан вспомнил деда таким, каким он приезжал сюда, и тревога мучительно сжала его сердце. Значит, дед тяжело болен. Нет, пожалуй, если бы положение было очень серьезным, Муаззам написала бы: «Приезжай срочно...» Только бы он выздоровел!

Равшан почти бегом спешил к заводу — отпрашиваться на несколько дней — и шептал одними губами: «Только бы ты жил, только бы ты жил!» Потом вдруг остановился и вспомнил: зачем отпрашиваться, у кого? Ведь завтра суббота, потом воскресенье... Поезд уходит через пять часов, он еще успеет забежать в магазины, купить подарки деду, Муаззам...

Как ни был растерян Равшан, но привычка приезжать домой с подарками взяла свое. Он вернулся в общежитие и, захватив портфель и деньги, оставшиеся до зарплаты, поехал в Старый город.

Халат для деда, легкий, суконный, он купил у маленького седенького старичка, который держал этот последний, видно, халат на вытянутых руках. Старичок доброжелательно смотрел на Равшана подслеповатыми глазками и долго благодарил его за покупку и желал всякого добра.

— Деду в подарок, — объяснил старичку Равшан, и, когда сказал это, тревога вновь сжала его сердце, подкатила к горлу.

Старичок заулыбался, легкой сухой рукой похлопал Равшана по плечу:

— Пусть живет долго, пусть радуется на внука... Не сомневайся, сынок, халат добротный. Пусть твой дедушка носит его долго!

В кондитерском ряду Равшан купил любимый дедом самарканд-

ский нават¹—золотистый, взвешенный одним большим куском, напоминающим причудливую сказочную скалу с несколькими вершинами. Да, нужно еще купить булочек с изюмом и ташкентских маленьких лепешек, дед очень любит их. И хотя всегда ворчит на внука: «Не вези издалека хлеб, сынок», — но самому приятно, что Равшан с хлебом приезжает, примета добрая. Даже хвалится этой привычкой внука перед соседями... Вот, кажется, и все — для деда. Еще он просил марлю для чалмы, но марлю месяц назад Равшан купил в заводской аптеке... До отправления поезда еще оставалось три часа. Он зашел в магазин, купил для Муаззам шерстяной платок с кистями — по черному полю ярко-красные розы. Красивый платок, как он пойдет к ее глазам и нежно-розовым губам.

Уже на вокзале он не удержался и на последние три рубля купил в книжном киоске для Муаззам маленькие, красиво изданные книжки — рубаи Навои и Рудаки... «А тете Мехри ничего не везу, — подумал он. — Сладостями угостим». И вдруг сам смутился от этих мыслей. Мысленно он уже принимал их семью за свою. «Смотри, — сказал он себе, — не останься с носом! Слишком много возомнил о себе, дружок!»

Кажется, он был нервным пассажиром в поезде — тихом, сумрачном, пустынном. Лишь проводник ходил по вагону, звякал подстаканниками. Он заглянул в купе к Равшану, подмигнул ему по-приятельски.

— Все ли ваши желания сбылись в городе, молодой человек?

Равшан в ответ улыбнулся, пробормотал что-то и отвернулся к окну. За окном было все то же — здание вокзала, перрон, фонарные столбы. Проводник ушел, но что-то неясное, беспокойное оставил после себя. Что же? Что он сказал такого, что запало в душу, заставило ее взволноваться? «Все ли ваши желания...» Желания... По-узбекски желание — это Мурад. Так звали отца. Мурад — желанный. Но почему именно сейчас Равшан задумался над этим, почему именно сейчас?

«Может быть потому, что сейчас все мои мысли связаны с домом, потому что я дорого дал бы за то, чтобы в эту минуту увидеть здорового деда? Но то — дед, почему же я вдруг вспомнил отцовское имя — Мурад, и оно так горько и так больно отозвалось в моем сердце? Мурад... Так называли того ребенка, который родился в горном кишлаке. Сколько лет этому парню? Лет семнадцать... Какой он? Если вырос достойным человеком, то и родители будут лежать спокойно в своей могиле. А вдруг... он какой-нибудь подлец! Как это было бы ужасно! Но почему я вспомнил о нем? Ведь мама была врачом, ее долг был помочь больному, кто бы он ни был... Мурад, Мурад... посмотреть бы на тебя, Мурад, отцовский тезка... И с чего это я вспомнил о нем?»

Поезд давно уже монотонно перестукивал колесами, за окнами было темно. «Хватит думать! — приказал себе Равшан. — Все равно, пока не доберусь до дома, ни о чем не узнаю! Спать!» Он постелил себе, лег, и вдруг вспомнил вечернюю присказку деда, которую в детстве тот нашептывал внуку на ухо. «Ложусь правой стороной, проснусь с ясной душой...» Он улыбнулся, поправил подушку и, отвернувшись к стене, накрылся одеялом...

...На рассвете он выпрыгнул из вагона на своей станции, перешел железнодорожные пути и поспешил к остановке рейсового автобуса. Через двадцать минут он уже сошел на развилке у знакомой придорожной чайханы. Не успел автобус отъехать, как Равшан увидел круп-

¹ Нават — сахар.

кую фигурку Муаззам. Она бежала ему навстречу. Впереди мчался Олапар, повизгивая и тяжело дыша. У Равшана появилась слабость в коленях, он опустил на землю портфель и крикнул подбегающей Муаззам:

— Что с дедом?!

Она замахала руками, и только сейчас Равшан увидел, что девушка улыбается.

— Ничего, ничего, все хорошо!

Тяжелые предчувствия, мучившие его всю дорогу, разом улетучились, но отвратительная слабость в ногах, видимо от пережитого волнения, осталась. И сердце продолжало лихорадочно биться, наверное оттого, что Муаззам стояла близко, и улыбалась, и смотрела лукаво. Да еще Олапар так набросился на хозяина, что чуть не сбил его с ног.

— Ну, Олапар, Олапар! Псина моя дорогая. Ну, уймись, уймись, — приговаривал Равшан, глядя на повизгивающую собаку. Он посмотрел на Муаззам и увидел, что она тоже дрожит бог знает отчего. Просто зуб на зуб не попадает. Равшан взял ее за руку и притянул к себе. Девушка послушно к нему приникла. Они стояли на обочине дороги, и Равшан не замечал, что стоит в довольно дурацкой позе — одной рукой обнимает Муаззам, а другой — Олапара. Не замечал потому, что впервые лицо Муаззам было так близко от его губ.

— Ты дрожишь? — прошептал он. Она отпрянула от него, и Олапар бросился бежать по дороге к кишлаку, как бы приглашая юношу и девушку идти за ним.

— Просто холодно, — ответила Муаззам, закусив нижнюю губу. Они шли улицей кишлака.

— А что случилось-то? — спросил Равшан. — Зачем я деду так срочно понадобился?

— Тайна, — ответила девушка. — Не деду, а секретарю райкома партни.

Олапар подждал их у калитки Равшана.

— Ну вот! — сказала Муаззам. — Мы тебя встретили, до дома довели, теперь нам на работу. Олапар, пойдем!

Пес послушно подбежал к девушке.

— Подожди, труженица! — сказал Равшан, открывая портфель. — Закрой на минуту свои ясные глазки.

Муаззам послушно зажмурилась, стараясь быть серьезной, но губы ее растягивались в улыбке. Равшан достал сверток с платком, развернул бумагу и накинул платок на голову девушки поверх капюшона куртки. Бахрома, свешиваясь на лоб, щекотала лицо.

— Ой, что это? — морщась, спросила Муаззам.

— Открой глаза, увидишь!

Она открыла глаза, ахнула, любуясь платком. Стянула его с головы и раскинула на руках.

— Сумасше-едный! — восторженно протянула она. — Он же страшно дорогой!

— Чепуха! — довольный, пробурчал он, любуясь ее восторженной улыбкой. — Я рад, что тебе нравится. А это вот... ты тоже любишь, — он протянул ей книжки.

— Красота какая!

— А посмотри, какие там миниатюры! Здорово издано, правда?

— Полчаса стоит у родной калитки, в дом никак зайти не может, с дедом поздороваться! — На веранде стоял дед — живой, здоровый, смеющийся. Равшан бросился к нему, обнял, а когда оглянулся на Муаззам, ее уже и след простыл — убежала.

— Застеснялась, — объяснил дед. — Она молодец, золотые руки, золотая головка, скромница!

Он засуетился, стал готовить завтрак. Равшан тем временем достал из портфеля халат, булочки, лепешки, марлю для чалмы, янтарный нават.

— Дедушка! — позвал он. — Ну-ка, идите сюда!

Дед заглянул в комнату, вопросительно вскинув редкие седые брови.

— Что такое, сынок?

— Встаньте вот так, прямо, — Равшан накиннул на плечи деда халат, купленный у веселого старичка в Старом городе, раскинул на курпаче волны марли, разложил булочки. Дед молчал, лишь глаза его странно блестели.

— Ах, сынок, зачем ты столько денег на меня... — И отвернулся почему-то.

— Дедушка! — Равшан обнял деда, потерся лбом о его плечо. — Кто же у меня еще есть на свете, кроме вас?

Дед уже справился с волнением, с неожиданными слезами, он хозяйски складывал в стопочку лепешки, собирал булочки и довольно бормотал:

— Опять хлеб издалека привез... Хлопоты какие...

— Марли не мало? — крикнул Равшан, выйдя на веранду, вдыхая утренний свежий воздух кишлака.

— Достаточно, дитя мое, достаточно... Молодец, что Муаззам привез подарки. Уж так она помогает мне, так помогает... — Он готовил завтрак и рассказывал внуку о новостях в кишлаке, о том, что в горах на Чаткале будут строить какую-то плотину, о том, что отелилась корова у тети Башорат, а ее украинская невестка ждет ребенка, и тетя Башорат уже не только привыкла к ней, а прямо-таки надышаться на нее не может... Равшан, стоя на веранде, смотрел на свой двор и не столько прислушивался к словам деда, сколько просто слушал звук его голоса и радовался тому, что стоит на веранде родного дома.

«Я готов стоять так бесконечно долго, слушая твой голос, дед, — глуховатый, надтреснутый, родной голос, просто стоять, и слушать, и радоваться, что ты есть на свете — моя опора, мое счастье, мой жизненный опыт, моя судьба, моя будущая мудрость».

Они позавтракали, и дед, вынув из нагрудного кармана часы, озабоченно взглянул на них:

— Аккуратность, дитя мое, — важнейшее качество в человеке. Собирайся, нас ждет секретарь райкома.

— А зачем мы понадобились ему, дедушка? — недоумевая, спросил Равшан.

— Да я и сам не знаю... Терпение и выдержка — это тоже не лишнее в человеке, сынок...

...Секретарь райкома — Нигмат Абдуллаевич, приземистый, невысокого роста, лысоватый, с чрезвычайно умными глазами человек, принял их сразу и даже вышел навстречу.

— Здравствуйте, Азиз-ата, здравствуйте, надеюсь, вы здоровы? И внук приехал? Ну что ж, прекрасно! Прошу вас, пойдете ко мне в кабинет, там ждет вас неожиданность, сюрприз, так сказать. — И, оглянувшись на Равшана, заметил: — А внук-то возмужал, окреп! Как стал похож на Мурада!

Они вошли в кабинет Нигмата Абдуллаевича, и, едва взглянув на его письменный стол, Равшан прямо-таки застыл, пораженный. На столе в двух одинаковых, орехового дерева, рамках, прислоненные к стене, стояли портреты отца и матери.

— Удивлены? — спросил секретарь райкома. — Ведь у вас не зря месяц назад просили эти фотографии, Азиз-ата. Мы их увеличили, отретушировали. Нравится?

— Нравится, сынок, но...

— Вы хотите спросить, для чего мы это сделали? — подхватил Нигмат Абдуллаевич. — Как вы знаете, сегодня у нас в кишлаке состоится открытие новой больницы. Вы помните, как мечтал о такой больнице ваш сын. Решено новой больнице присвоить имя Мурада и Мутабар Азизовых, а в вестибюле повесить эти портреты.

Дед растерянно переглянулся с Равшаном, и внук взял его под руку, прижался к нему, тайком поглаживая задрожавшую от волнения руку...

— Успокойтесь, успокойтесь, Азиз-ата, — сказал мягко Нигмат Абдуллаевич. — Мы должны помнить таких людей, как Мурад и Мутабар. Если бы на свете все были, как они... — Он не договорил, махнул рукой, и видно было, что и сам расстроился.

Нигмат Абдуллаевич был одноклассником отца Равшана, вместе они уехали в город учиться, почти одновременно женились, но жена Нигмата Абдуллаевича работала сейчас вместе с ним, и у них было семеро детей, а Мурад и Мутабар лежали на сельском кладбище, и единственных их сын не помнил родителей... Наверное, об этом подумал сейчас секретарь райкома, когда, приобняв одной рукой деда, выводил его из своего кабинета...

...Тяжелый, и все-таки счастливый выдался сегодня день. На митинге, посвященном открытию новой больницы, выступил первый секретарь райкома партии.

— Мне трудно говорить о Мураде и Мутабар. Я с детства знал их, дружил с Мурадом... Вы лучше меня знаете, какие это были светлые, прекрасные люди. — Нигмат Абдуллаевич заметно волновался и пристально вглядывался в людей, собравшихся перед зданием новой трехэтажной больницы. Здесь собрался не только весь кишлак, многие приехали из района, из соседних кишлаков. — Что главное в человеке? Доброта, отзывчивость и честное служение своему делу. Азизовы до конца были преданы людям и жизни, свои отдали для того, чтобы жил на земле еще один человек. И вот этот человек вырос и приехал сюда, чтобы сказать «спасибо» односельчанам Азизовых, их старому почтенному отцу, их сыну... Пожалуйста, Мурад, предоставляю тебе слово.

Муаззам стояла рядом с Равшаном и сильно сжимала рукой его руку. Он вначале отворачивал от девушки лицо, чтобы она не видела катящихся по лицу быстрых слез, потом отворачиваться перестал, ничего постыдного нет в таких слезах.

К секретарю райкома подошел из толпы высокий, как все горцы, худощавый юноша. Он нерешительно мял в руках теплую шапку-ушанку и говорил негромко, словно извиняясь за то, что ему дали слово:

— Я горжусь, что ношу это имя — Мурад, и сделаю все, чтобы не опозорить его... После окончания десятилетки я работаю в колхозе механизатором и постараюсь всю жизнь... всю жизнь... — Видно, комок застрял у парня в гортле, он махнул рукой, подошел к деду и обнял его, потом обнял Равшана. Многие в толпе плакали, потому что хорошо помнили Мурада и Мутабар Азизовых и любили их, в свое время многим из этих людей молодые врачи спасли жизнь.

* * *

— Вот и все, дитя мое, теперь можно отдохнуть... Я разве не говорил тебе, что через неделю приезжает тетя Таджи? Так что не волнуйся, дом до твоего возвращения не останется без присмотра.

Дед, как всегда после пережитого волнения, говорил беспрестан-

но. После митинга, когда была перерезана символическая ленточка (ее дрожащей от волнения рукой ножницами перерезал сам дед) и все разошлись, Равшан увел деда домой, уложил, укрыл одеялом. Муаз-зам ушла на почту. В доме стояла тишина, лишь воробьи шумно скакали по перилам веранды да нежно бормотали что-то горлинки.

— Я доволен тобой, мой мальчик, ты не уронил чести нашей семьи. Знаешь, что сказал мне Саттар-ата тогда, в Ташкенте? Он сказал: «У большого дерева и тень большая. По вашему внуку видно, какой вы человек». Но смотри не зазнайся, помни о своих родителях. Трудись, сынок, не трать времени зря. Старость спросит у тебя, где твоя молодость.

Да что это дед будто прощается, к чему это он клонит? Равшан заставил себя улыбнуться, присел на корточки возле деда.

— Вы будто речь готовили к моему приезду, дедушка...

Но дед не поддержал его шутливого тона и по-прежнему строго и тихо продолжал:

— Я уже стар, дитя мое, не век мне землю топтать, скоро увижусь с твоими родителями, я это сегодня почувствовал. Слушай меня, не перебивай! В том сундуке — старые книги, они мне еще от деда достались, береги их. Там же, в толстой тетради в коричневом переплете, ну, ты знаешь, в какой, — записи, которые я сделал по милости аллаха. Это наблюдения за травами. Оставляю их тебе, дитя мое. Не возражай, молчи! Там рецепты от многих болезней. Тебе это пригодится когда-нибудь...

— Дедушка, родной, зачем думать о плохом? Вы говорите, будто завещание оставляете!

— Такой уж сегодня день, дитя мое! Я будто всю свою жизнь заново пережил. Да и твои родители сегодня, как говорится, на другой бок перевернулись...

— Равшан-ака! Равшан-ака!

Кто это зовет его? Неважно кто, хорошо, что прервали этот тяжелый разговор с дедом! Равшан выбежал на веранду. Возле калитки, облокотившись о дверцу «Жигулей», стоял тот парень из горного кишлака, которого звали Мурад.

— Заходи! — обрадованно крикнул ему Равшан. — Гостем будешь, Мурад!

Мурад захлопнув дверцу «Жигулей», прошел через двор к веранде и, поднявшись на ступеньки, сказал Равшану негромко:

— Не мог уехать, не попрощавшись с тобой и дедушкой.

Глава девятая. Мечты Равшана

Мурад завел мотор, включил двойные фары «Жигулей». Мокрый снег мотыльками хлопьев бился о лобовое стекло и, тут же тая, бесильно стекал вниз длинными дорожками.

— Заночуй у нас, на рассвете уедешь! — наклонившись к боковому стеклу, крикнул Равшан. Мурад покачал головой, показал на часы... «Мать будет беспокоиться», — понял Равшан, и в который раз болью сжалось сердце. Он улыбнулся парню, протер рукавом свитера стекло, помахал рукой и отошел. И Мурад ему помахал и крикнул: «Приезжай!» Равшан кивнул, он в самом деле записал адрес Мурада, может, когда-нибудь и приедет...

Машина слегка забуксовала в густом месиве грязи и снега, но выбралась на дорогу. Через две минуты она скрылась за поворотом. Вот и все... Кончился такой необыкновенный день, и опять тяжело и одиноко, деду тоже тяжело... Ах, лучше бы Мурад не уезжал! Хотя еще не поздно, но в такую погоду в зимнее время трудно ездить, осо-



бенно на том проклятом перевале. Черт, что за дурацкие мысли лезут в голову!

На Равшане был надет лишь теплый свитер, и его пробирала противная мелкая дрожь. Он заглянул в коровник, закрыл поплотнее дверь. Осел, узнав его, встрепенулся, на веранде громко залаял Олапар в ответ на далекий собачий лай...

«Муаззам будет сегодня дежурить всю ночь, — подумал Равшан. — Сходить, что ли? Ничего нет в том предосудительного... Одноклассник зашел проведать подругу. Да она там, на почте, наверное, не одна».

Он зашел в дом, накрыл получше задремавшего деда, накинул на плечи его старый стеганый халат, а на голову — теплую ушанку и, свистнув Олапара, пошел на почту.

В здании почты светились только два окна. Равшан взобрался на цоколь и, держась за водосточную трубу, заглянул в одно из окон. Муаззам сидела в комнате, наклонившись над столом, читала книгу. Он стукнул в стекло костяшками пальцев. Девушка встрепелась, но в черноте окна не различила лица парня и опять склонилась над книгой. Тогда он стукнул еще раз, выбивая замысловатый ритм, и приблизил лицо к стеклу. Муаззам вскочила и побежала открывать дверь.

— Ты с ума сошел, в такую погоду охота тебе была тащиться сюда, совершенно раздетым, как будто завтра не поговорили бы!

Она впустила его, мокрого, в грязных, разбухших от снега ботинках, и запричитала еще сильнее:

— Ой, ты же схватишь насморк! Что за срочное дело у тебя?!

— Очень срочное дело! — лягая зубами от холода, проговорил Равшан. — Мне надо срочно посмотреть в твои глаза!

Муаззам сделала вид, что не обратила внимания на его слова.

Она хлопотала вокруг мокрого озябшего Равшана, повесила его халат на спинку стула, придвинула стул к печке, заставила парня снять ботинки, а взамен принесла тапочки одной из сотрудниц. В довершение всего сняла с вешалки свое пальто и накинула его на плечи Равшана.

— Кажется, все, — озабоченно проговорила она.

— Нет, не все! — сказал он. — Не хватает бутылочки молока с соской.

— Молчи уж, герой! — улыбнулась она.

— Знаешь, Муаззам, к нам тот парень, Мурад, заезжал прощаться. Хороший такой, приветливый. Я чай поставил, ужин собрал, и дед ему обрадовался. Но, знаешь, все равно разговора не получилось.

— Почему? — удивилась она.

— Он будто чувствует себя виноватым, что ли, в смерти родителей. Но ведь он ни в чем не виноват, правда?

— Конечно! Почему ты спрашиваешь меня об этом, разве ты сам не уверен?

Она подошла к нему, села рядом, близко-близко, и он, обняв ее рукой за плечи, чувствовал ее тепло. Сзади, в спины им, полыхала жаром печка.

— Я умом понимаю, конечно, но иногда у меня так сердце сжимается, и я думаю: «Хоть бы не было совсем на свете его матери, а, значит, и он не должен был бы родиться, да хоть бы и того проклятого кишлака на свете не было!» Злые такие мысли, беспомощные и злые. Ужасно, да? А сегодня познакомился с ним — хороший парень, один из многих, кому мама помогла увидеть свет. И ни в чем он, конечно, не виноват, просто — судьба такая.

— Судьба, — тихо, эхом откликнулась она. Ее щеки разругались — то ли от жара печки, то ли от жара его руки, обнимающей ее плечи.

— А ты вспоминаешь меня... иногда... там, в городе? — дрожащим шепотом вдруг спросила она.

— Еще бы! — сказал он. — Скорей бы ты на наш завод поступила! — Но насчет квартиры Федора промолчал, этот разговор он решил отложить на последний день.

— Ну, я человек не больно-то самостоятельный, — вздохнула Муаззам. — Я от мамы завишу...

— А если я уговорю маму?

— Уговори...

— Смотри, — сказал он, — смотри, какой снег пошел. Так и сыплет, так и сыплет горстями. В стекло бьется, в комнату просится...

— Да... — прошептала она, замороженно глядя в крошечное мезенное окно за окном.

— Снег... Как в детстве, да?..

— Как в детстве...

В небольшой, ярко освещенной комнате почты, сидя у печки, любовались на снег два выросших из детства человека.

* * *

Снег шел всю ночь и прекратился лишь на следующий день к полудню. На полях он лежал ровным густым настилом, а на дорогах уже начал таять, обнаруживая черные асфальтовые плечи.

Сегодня Равшан проснулся рано. Растопил печь, приготовил воду для умывания. Потом метлой смел в арык лужу от подтаявшего снега. Заглянув в коровник, он решил перетащить соломорезку, лежавшую у дверей, подальше, к стене. Он приподнял ее и увидел, что вышла ось, потому что винт упал. Вот и работа есть — лезть на чердак, искать подходящую нержавеющую ось и новый винт...

Отсюда, с чердака, весь двор Муаззам виден, как на ладони. Сама она, должно быть, спит, вернувшись с дежурства. Вон кухня... Равшан вспомнил, как увидел девушку в первый свой приезд, когда она вышла из кухни, держа в руках кипящий самовар: губы от напряжения закусены, голову склонила набок, косы чуть земли не касаются.

Он отыскал на чердаке старый чемодан со всякими гайками, шурупами, проволокой и обрадовался, когда почти сразу наткнулся на ось от старого велосипеда. Прекрасно! А винт он найдет в своей старой папке на сеновале. В той папке, куда он советовал Муаззам складывать письма Надира.

Он спустился вниз, отыскал на сеновале свою старую, и впрямь растолстевшую от писем, папку. Вытряхнул письма на солому, отыскал подходящий винт и ушел в коровник исправлять соломорезку. Когда дело было сделано, он вернулся, чтобы повесить папку на место... Собирая письма, Равшан удивился, заметив, что многие из них даже не распечатаны. И вдруг взгляд его упал на сложенный вдвое листок, выпавший из конверта: «Любимая Муаззам!..»

Он вздрогнул, будто кто-то всадил клинок ему между лопаток, и, ощущая сухость во рту и бешено колотящееся сердце, уже не думая о приличиях, схватил письмо. «Любимая Муаззам! Ты сдержанно отвечаешь на мои письма, но в каждом ответе между строк я ловлю твое согласие. Спасибо тебе... Равшана не жди. Сама понимаешь, из Ташкента в кишлак не возвращаются. Ты ему покажешься слишком простой, едва он выучится на инженера. Да ты сама видела фотографию...»

Дальше Равшан не стал читать. Ожесточенно сжав зубы, он побросал в папку все письма. Потом кропотливо и тщательно разжигал огонь, стоя перед печкой на коленях. Папка разгорелась. Равшан, набрав в легкие воздуха, дунул еще раз, и вот уже запылало все веселым огнем...

Заподозрив что-то неладное, почуяв запах горелого, из комнат вышел дед.

— Что случилось, сынок?

— Порядок, дедушка, порядок. Горит сердце Надира. Смотрите, как огонь виляет. Двуличничает... — ответил он, не глядя на деда. По лицу его пробегали отсветы огня.

— Соскучился по другу, а? — проговорил дед, ничего не поняв. — Шустрым был парнишкой... Забегал, выбегал, забегал, выбегал... — и дед вышел, прихрамывая.

«Ну вот, огонь погас... Недоброе дело я сделал... Не имел права

без согласия Муаззам жечь письма Надира. А может, так оно и лучше. Пока Надир вернется, пока сам я отслужу, все быльем зарастет, все забудется, еще посмеемся все вместе над пройдохой... А попадись мне эти письма на глаза позже, когда я Муаззам своей назову, не избежать тебе, глупый Надирбек, выяснения отношений».

Он переделал все дела по дому. Вскипятил молоко и наполнил две большие касы для сливок, остальное молоко слил в кувшины. Оставшееся на дне бидона выпил, а кувшины поставил в нишу — когда остынут, он закутает их чем-нибудь теплым, и через несколько часов будет готово кислое молоко.

Равшан прислушался к покашливанию деда, к тому, как он ходит по комнатам, шаркая ногами по крашеному полу. Дед с самого утра ходил сумрачным, молчаливым, углубленным в себя, как будто все, что хотел сказать внуку, сказал вчера. Бедный дед, наверное, он думал, что Равшан уедет сегодня утренним поездом, и боялся сглазить такое счастье — внук остался с ним еще на день.

— Дедушка, — сказал Равшан. — Молоко еще не остыло. Выпьете?

Отложив в сторону круглые, гладко, обточенные деревянные четки, дед сказал:

— Постели скатерть, принеси хлеба. Позавтракаем спокойно, не торопясь, как люди! Ведь ты не опаздываешь на работу! Я принесу фруктов, орехов... — Дед говорил обиженным тоном, хотя и старался тщательно скрыть это. — Ты не в городе, а в родном доме.

«Бедный дед! — подумал Равшан. — Я и в самом деле мало уделяю ему внимания, даже когда приезжаю. Что это со мной стало? Или очерствел так в городе?»

И, как бы наверстывая упущенное, он много рассказывал деду за завтраком о заводе, о городе, о Федоре и Анне. Дед слушал, как всегда кивая головой, будто благословляя все, о чем говорил внук.

— У нас в махалле свадьба, — сказал он, поднимаясь. — Тетушка Фатима женит среднего сына, Нурали, кудрявого такого, помнишь, приезжий парень из кино его на пленку заснял, когда он на себе телку больную тащил?

— А-а... — вспомнил Равшан. — Нурали женится? Сколько же ему? Он, кажется, на три года старше меня?

— А я не помню, дитя мое, для меня все вы — малые дети. Как услышу, что кто-то из вас женится, так от удивления долго в себя прихожу... Ты пойдешь со мной?

— Да нет, дедушка, идите сами, у меня с утра что-то голова болит.

У Равшана в самом деле с самого утра свинцовая тяжесть давила затылок, глаза слезились, горло болело, но остался он дома для того, чтобы увидеть Муаззам, как только она проснется после своего дежурства.

Дед ушел на свадьбу, и Равшан, оставшись один, вновь почувствовал прилив одиночества. Чтобы занять себя чем-то, он опять стал искать какие-то дела по дому. Шлепая старыми калошами деда, он зашел в коровник, засыпал в ясли мокрый резанный клевер, сверху посыпал его отрубями, все перемешал. Корова терпеливо ждала, пока он возился, переминалась на месте, потом жадно подалась к корму, опустила голову в ясли.

— Ешь, ешь, — сказал ей негромко Равшан.

Ну, проснулась, наконец-то, Муаззам! Он вышел на улицу и открыл калитку во двор девушки. Через весь двор к веранде тянулась от калитки кирпичная дорожка. На веранде, где в сентябре тетя Мехри угощала их чучварой, были сложены друг на друга пустые дощатые

ящички из-под фруктов. Тишина... Ну, сколько можно спать! Засоня! Разбудить ее, что ли? Постучать в окно? Наверное, она одна, тетя Мехри уж точно на свадьбе Нурали, потому что Фатима-апа ее подруга.

Равшан направился по кирпичной дорожке к веранде, и вдруг дверь, обитая дерматином, приоткрылась, и вышла Муаззам. Глаза у нее были припухшие после сна, но лицо умыто и волосы на голове, видно, только что расчесаны, даже следы от зубьев расчески еще не разошлись. Она была закутана в мамин платок, сбитый назад, на плечи, и несла кастрюлю с чем-то горячим, поэтому выражение лица у нее было трогательно сосредоточенное, немного детское. Увидев Равшана, она обрадованно улыбнулась.

— Ты давно на ногах? А я спала, спала, спала... Ты чего такой красный? А на свадьбу к Нурали не идешь? Знаешь, Равшан, а у нас корова заболела. — Она как всегда засыпала его вопросами, так, что пока он собирался отвечать на один, она уже задавала пять других. Равшан поднялся на ступеньки веранды и хотел взять из рук Муаззам кастрюлю, но вдруг все вокруг него закружилось, и он, покачнувшись, сел на ступеньки. Муаззам испуганно вскрикнула и обхватила парня за плечи.

— Чепуха, — смущенно пробормотал он, силясь прийти в себя и не понимая, что с ним происходит. — Сейчас пройдет...

— У тебя жар! — воскликнула Муаззам, пощупав его лоб. — Элементарная простуда. Ты схватил ее вчера, когда в снег пошел ко мне на почту. Этого следовало ожидать... Боже мой, что же делать.

— Вызвать противопожарную команду, — вяло пошутил Равшан. Чувствовал он себя и в самом деле плохо.

— Тебе надо лечь! — решительно сказала Муаззам. — И выпить горячего молока с медом, и выпить отвар травы... этой... как ее... В общем, пойдём!

Она помогла ему подняться и, придерживая под руку, отвела домой. Постелила ему в комнате деда, заставила лечь и хлопотала на кухне — кипятила молоко, поставила чайник на газ. А Равшан лежал под теплым одеялом, слушал, как возится на кухне Муаззам, и представлял себе, что сегодня — вовсе не сегодня, что прошло несколько лет, и Муаззам — не просто Муаззам, а его любимая жена, мать его детей... Он даже зажмурился, когда представил себе это, и сказал себе: «Стоп! Не воображай! Муаззам — не ящерица, которую можно посадить в спичечный коробок и носить в кармане, как это делали мы весной в детстве. Кажется, ты сам сейчас сидишь в кармане у Муаззам и она может делать с тобой все, что ей заблагорассудится!»

Как бы в подтверждение его мыслей, в комнату вошла Муаззам с горячей грелкой в руках. Она обернула грелку полотенцем и, как ни сопротивлялся Равшан, заставила его положить ее в ноги. В кастрюльке она принесла отвар ромашки и мяты, настояла, чтобы он прополоскал горло. Равшан, хоть и делал вид, что подчиняется ей нехотя, испытывал прямо-таки наслаждение от того, что она была рядом, и суежилась, и заботилась о нем.

— Всю жизнь бы так болеть, — сказал он, хитро глядя на нее из-под закинутой за голову руки. — И чтобы ты за мной ухаживала.

— Да, веселая перспектива! — откликнулась Муаззам. — Во-первых, тебе на всю жизнь бюллетень не дадут, а во-вторых, я долго ухаживать за таким симулянтом, как ты, не желаю! Пей еще молоко!

— Муаззамхон, знаешь, — сказал он, отхлебнув молока из пиалушки, — Анна выходит замуж за Федора...

— Да неужели? — обрадованно ахнула девушка. — Что же ты молчал? Вот эти мужчины всегда так: о какой-нибудь ерунде часами говорят, а о самом интересном могут промолчать!

— Ну раз так, я тебе еще кое-что интересное скажу... — Голос у него был хриплым и отрывистым, то ли потому, что горло болело, то ли волновался очень. — Федор уходит жить к Анне, и его квартира освобождается.

Он откинулся на подушку, полагая, что этим заявлением сказано все. Но не тут-то было. Муаззам, закусив дрожащую нижнюю губу, прищурился, сказала:

— Ну, я рада за горисполком.

Он сел на постели.

— При чем тут горисполком?! Квартиру дал ему завод, это — раз, а во-вторых, не делай вид, что не понимаешь, о чем я говорю!

Муаззам ответила, не задумываясь ни на минуту:

— Зашифрованные телеграммы не принимаем.

Что за чертовка!

«Настоящая бестия! Она не успокоится, пока не вытрясет из меня те самые слова, которые я так боюсь и так мучительно не могу произнести! Что ты хочешь от меня, Муаззам?! Чтобы я вот сейчас выложил все, что у меня на душе? Как ты измучила меня! Ну, получай: я люблю тебя! Еще? Пожалуйста: я люблю тебя, моя единственная, моя ненаглядная, свет моей души — Муаззам! Довольна? Нет? Мало?! Получай: я люблю тебя: Люблю тебя! Люблю тебя!»

Он поиграл желваками на покрасневших щеках и хмуро сказал:

— Это значит, что теперь ты беспрепятственно можешь поступать на завод. Будет где жить... нам.

— Мне — ты хотел сказать! — живо возразила она. — Будет мне где жить и получать солдатские письма от тебя и от Надира. Но получать я их могу и в общежитии... Кстати, ты обещал, что мы вместе читаем письма Надира. Принести их?

— Не трудись, — мрачно сказал он. — Я сжег письма Надира сегодня утром.

Она с молчаливым удивлением глядела на Равшана.

— За что такая ужасная казнь? — наконец, спросила она. — Умнее ты ничего не мог придумать?

— Не мог! — с вызовом ответил он. — Прочел пару строк из одного послания и решил, что эти письма не украсят мировую сокровищницу эпистолярного наследия.

— Ну и глупо! — сказала она. — Бедные солдатские письма, это ли уважение к нашим защитникам?

Невозможно было понять — в шутку она говорит или всерьез.

— Пусть он Наташу защищает, — буркнул Равшан, чувствуя, что разговор безнадежно ушел в другую сторону.

— Много ты понимаешь! — возразила она весело. — Он меня как свою односельчанку от врага стережет!

— От какого врага? От меня, что ли? — не на шутку обиделся парень.

Она расхохоталась.

— Ой, какой ты глупый! Дай-ка я телевизор включу, а то мы и вовсе поссоримся, а тебе нервничать нельзя, ты больной.

По телевизору шла программа «Ахборот». На экране мелькали знакомые корпуса, выплыло колесо трактора, затем показался он весь.

— Смотри! — воскликнул Равшан, вскочив на постели. — Наш завод показывают!

Камера ехала по красивому цеху. Мелькнули два-три незнакомых лица, и вдруг во весь экран заулыбался, поглаживая свои роскош-

ные усы, Саттар-ата Мурадов. Равшан чуть не закричал от восторга, еле взял себя в руки и даже прослушал те несколько фраз, которые басом, весомо и спокойно, проговорил Саттар-ата. Зато, когда на экране показалась Анна — немного непривычная, официальная, собранная, но все равно такая родная, он замер, боясь пропустить хоть одно ее слово.

— Мы взяли на себя большую ответственность. Обязались в течение месяца выпустить две тысячи тракторов для дружественной Анголы. И сегодня мне особенно приятно сообщить, что это обязательство выполнено в двадцать два дня. С одинаковым энтузиазмом трудились в эти дни и ветераны нашего завода, такие, как Саттар Мурадов, которого вы только что видели, и представители самого молодого поколения на заводе, такие, как Равшан Азизов...

Равшан и Муаззам, одновременно ахнув, вскочили и уставились друг на друга. Буйный восторг юности, любви, счастья охватил их обоих. Муаззам хлопала в ладоши, как маленькая. Равшан танцевал посреди комнаты — в майке и трусах.

— Почему тебя не показали?! — задыхаясь от смеха, крикнула Муаззам.

— Вот, смотри на меня, я здесь! — кричал он, раскрывая объятия, и вдруг бросился к Муаззам и обнял ее. И сразу не стало слышно телевизора, умолкло вокруг все, кроме тяжелого и быстрого биения их сердец.

— Муаззам... — губами, пересохшими от жара и счастья, подкатывавшего к сердцу, прошептал он в маленькое ушко, мгновенно ставшее пунцовым. — Я ужасно... я так люблю тебя!

— Равшан! — крикнул кто-то со двора. — Равшанбе-е-ек! Слышал, по телевизору про тебя что сказали, а-а?

Равшан нырнул под одеяло и накрылся с головой.

Глава десятая. Большая дорога

— Будешь достойно трудиться, труд будет воспевать тебя, сынок... Главное — будь честным и добрым, да не коснется земля плеч твоих! Во всем кишлаке только и разговоров, что о тебе. По телевизору, говорят, тебя хвалили...

Дед провожал Равшана до станции, улыбался, кивая головой своим собственным словам. Борода и усы его странно вздрагивали. Равшан рассеянно слушал деда, голова его была полна мыслями о Муаззам. Ведь девушка так и не ответила ему ничего на его признание. Что это? Холодность? Стеснительность? Может, она думает, что своим кокетством лишь крепче привяжет? Провожать Равшана Муаззам не смогла — дежурство на почте... Ну что ж, посмотрим, что она напишет ему в письме...

Равшан стоял в тамбуре и смотрел вниз, на деда. Тот, опираясь на палку, все еще давал внуку какие-то указания. Отсюда, со ступенек, дед казался маленьким, старым, сгорбленным, и внезапно острая любовь и жалость к нему сдавили горло внука. Он, не обращая внимания на то, что уже дали сигнал отправления, спрыгнул на перрон, крепко обнял деда, приник к нему, словно хотел передать его маленькому иссохшему телу силу и здоровье своих молодых мускулов, и быстро забормотал, поминутно целуя дедово лицо:

— Дедушка, родной мой, любимый, вы только берегите себя! Меня могут призвать со дня на день, у нас уже многих парней призвали, так вы не волнуйтесь, если писем долго не будет...

Поезд поплыл вдоль перрона. Равшан вскочил на подножку и долго махал деду рукой, пока видна была уплывающая вдаль малень-

кая сгорбленная фигурка. И чем дальше она уплывала, чем неразличимей становилась, тем больше, острее чувствовал внук, как недолго осталось деду радоваться снегу, весеннему теплу, янтарным гроздям винограда. Он напрягся и, набрав в легкие воздуха, крикнул что было сил:

— Деду-у-ля-а-а!

Крик замер, мерно постукивали колеса поезда. Равшан зашел в купе и прямо в одежде бросился на голый матрас, расстеленный на нижней полке.

* * *

В общежитии стояла тишина, лишь где-то наверху, на третьем этаже, кто-то с необыкновенным упорством и унынием терзал аккордеон. Равшан зашел в свою комнату, разделся, стал вынимать из портфеля и узлов гостинцы деда. Немного кураги и изюма сыпал в бумажный пакет, добавил несколько багрово-золотистых гранатов и положил пакет в тумбочку Виктора. Сам Виктор гостинцев не ест, но в субботу отвезет домой, маленькой сестренке Алене. Алена родилась с поврежденной ножкой и хромает. Вот Виктор ее и балует, жалеет.

На тумбочке Равшана, прижатая пустым стаканом, лежала записка:

«Равшан! В верхнем ящике письменного стола для тебя есть «сюрприз». Виктор». Почему-то слово «сюрприз» Виктор написал в кавычках. Равшан открыл ящик стола и понял, почему. Это была повестка из военкомата. Стандартная, на синей бумаге.

Он деловито подумал: «Значит, завтра в десять нужно быть там... Паспорт со мной»? Он нащупал паспорт в кармане, достал его, зачем-то перелистал. И вдруг на пол упал вложенный в паспорт какой-то листок. Он поднял листок, сразу узнал почерк Муаззам и замер на стуле, ничего не понимая, лишь листок бумаги дрожал в его пальцах, как бабочка.

«Равшан-ака! Я обдумала ваши слова и согласна быть вашей женой. Через месяц в день моего рождения приезжайте свататься. Пусть примером нам будут ваши родители. Я верю в вашу любовь, а что касается меня, так я люблю вас и буду любить всю жизнь. Ваша Муаззам».

Он вскочил, заметался по комнате, машинально расстегивая воротник рубашки непослушными пальцами. Ему не хватало воздуха, он дышал широко открытым ртом. Потом он сел на стул и... заплакал. Перед ним лежали два листка бумаги. Один — повестка, взывающая к долгу, другой — «повестка», обещающая счастье. И совместить эти две «повестки» было невозможно. Он плакал, смеялся, ругал себя обидными словами, издевался над собой и снова плакал. Он сам не понимал, что в эти, как он считал, постыдные минуты в нем, ломая себя, свои привычки, надежды, фантазии, рождается мужчина — человек долга и чести.

А на заоконном квадрате неба всплывали, растягивались и мчались дальше и дальше в неведомые края белобокие, с пепельно-дымчатыми подпалинами облака...

* * *

Первые два дня пути он сидел в уголке, на нижней полке, смотрел неотрывно в окно на бесконечную снежную степь и вспоминал лица пришедших провожать его Анны, Федора, Наташи...

Был ветреный, холодный день, и Равшан поглубже натягивал ушанку не только потому, что замерзали уши, но и потому, что стеснялся своей бритой, круглой, как шар, головы. Ему было тоскливо. Может

быть, тоску эту пригнал из степей холодный, пронизывающий ветер, может быть, вселяли чувство одиночества незнакомые юные лица других новобранцев. Фёдор пытался растормошить его, пел, смешно хмуря брови, солдатские песни, Анна наказывала, как вести себя «там, среди чужих», как будто сама она прекрасно знала, что такое армия, и прослужила в ее рядах несколько лет. Наташа ободряюще улыбалась ему и заботливо поправляла воротник его теплой куртки. У Равшана же все время в горле стоял комок, а когда всем велели занимать места в вагонах и Анна стала торопливо совать ему в руку авоську со свертками — наготовила «вкусенького» в дорогу, — ему стоило больших усилий, чтобы не раскиснуть совсем...

Все ребята в вагоне давно перезнакомились, через час пути уже появились откуда-то карты, домино, нарды, то и дело какое-нибудь купе взрывалось громким хохотом, парни приходили друг к другу в «гости». Равшан же молча сидел у окна и смотрел на необъятно раскинувшуюся степь. Вид этой однообразной степи не мешал течению его мыслей. С тех пор как он уехал в августе из кишлака, жизнь его состояла из встреч и разлук. Наверное, всякая жизнь складывается из встреч и разлук. Ну что ж, эта разлука будет самой длинной в его жизни и в жизни Муаззам. Если... если не будет войны. И вот, чтобы не было ее, он едет в далекие края, и станет солдатом, и научится воевать и защищать эту землю, эту бескрайнюю степь и леса, которые, говорят, появятся за окном завтра, и свой кишлак...

Поезд останавливался на станциях и полустанках, ребята успевали выскочить из вагонов и что-то купить у женщин-казашек, выносящих к поезду еду, возвращались красные от мороза, веселые.

На третьи сутки за окнами поезда уже тянулись вдоль железнодорожного пути леса, и с каждым километром они как бы становились гуще, синее, выше... Говорят, в тех краях, куда их везут, зима длится полгода. Интересно, как он будет переносить настоящий русский холод? Ничего, перенесет!

В пути он написал два письма — деду и Муаззам, чтобы не волновались. Когда писал Муаззам — то и дело вынимал из нагрудного кармана ее записку и перечитывал. И каждый раз сердце начинало бешено биться, кровь прилиwała к щекам, а горло сдавливал спазм.

На этот раз он долго ждал большой станции, где мог бы бросить письма в почтовый ящик. Наконец, уже в сумерках поезд остановился, и — повезло: как раз напротив своего вагона Равшан увидел почтовый ящик, одиноко висящий на железном столбике посреди перрона. У ящика стоял какой-то солдат и методично просовывал в узкую щель один за другим солдатские конверты.

«Вот писака», — подумал Равшан, приглядываясь к парню. — Совсем как Надир... Да он и похож здорово на Надира!»

Не веря своим глазам, Равшан подышал на стекло и протер его рукавом свитера. Как раз мимо окна его купе проходил возмужавший, сильно изменившийся, но все-таки вполне узнаваемый, Надир.

— Надир! — крикнул Равшан и заколотил в стекло что есть силы. Надир поднял голову и, увидев в окне Равшана, оторопел. Пока Равшан, так и не накинув куртки, мчался по коридору к тамбуру, из головы его начисто вылетели и дурацкие письма Надира, и его глупые выходы. Сейчас важно было одно: у вагона стоял его одноклассник, друг детства, а главное — односельчанин, земляк! И Равшан, вне себя от радости, вылетел из вагона прямо в крепкие солдатские объятия Надира. Несколько мгновений они издавали нечленораздельные возгласы, потом успокоились.

— А ты герой, супер-класс! — заметил Равшан, восхищенно глядя на Надира. Тот раздался в плечах, пополнел, окреп, шинель ладно сидела на нем.

— Служим потихоньку... — степенно ответил Надир. — Я смотрю, и тебя призвали... А мы ездили в Узбекистан за пополнением. Я думал, успею в кишлак заехать, да не получилось. Как-то раньше Узбекистан в моем представлении ограничивался моим кишлаком.

Они посмеялись. Надир спросил о матери, о соседях, об одноклассниках.

«Интересно, о Муаззам спросит или промолчит?» — подумал Равшан. Он стоял на морозе в одном свитере и уже изрядно промерз. Поезд дернулся, медленно пополз вперед. Надо было идти в вагон.

— Ну, беги, увидимся еще! — сказал Надир. — Иди, а то простудишься! — и, поколебавшись секунду, спросил: — Ты давно видел Муаззам?

И тогда, не в силах больше сдерживать свое счастье, так и прощающееся наружу, Равшан глубоко вздохнул и крикнул, радостно улыбаясь:

— Муаззам — моя невеста, Надирбек! Невеста, понял? Не-ве-ста!

Поезд набирал ход, и Надир ждал, когда поравняется с ним дверь вагона, в котором ехал Равшан. Выражение лица у него было странное — растерянное и обиженное. Равшан расхохотался и, повиснув на поручнях, глядя, как Надира подхватывают друзья, крикнул ему вдогонку:

— Натянул я нос тебе, Надирбе-е-ек! Дружище-е-е!

* * *

На четвертые сутки пути поезд остановился на небольшом разъезде. Раздалась команда: «Выходи!» И новобранцы один за другим высыпали из вагонов. Равшан выпрыгнул прямо в снег и чуть не наткнулся на стоящие рядом, как две подружки, молоденькие деревца — березку и сосенку. Они были припорошены снегом и стояли ровно и горделиво, как бы встречая гостя, приглашая его в свои края.

— Здравствуйте, дорогие! — прошептал им Равшан. — Вы встречаете меня?

Он протянул руку и погладил холодный гладкий ствол березки. Ветки ее дрогнули, и снег тихо посыпался вниз серебряной пылью.

— Стройся! — раздалась команда.

Равшан побежал к своим ребятам и встал в строй. Дали команду идти, и новобранцы недружным пока, нестроевым шагом двинулись через железнодорожные пути, мимо разъезда — к широкой, утоптанной дороге.

Слева и справа широкой синевато-зеленой стеной тянулись леса, впереди же расстилалась длинная, длинная дорога...

Саид Ахмад

На перекрестке поэзии

Рассказы о Гафуре Гуляме

На мысль об этих рассказах натолкнул меня Айбек.

Соседи по махалле, мы как-то встретились на улице. Заложив руки за спину, погруженный в свои мысли, он прогуливался, отдыхая после работы.

Потолковали о том, о сем, и вдруг Айбек сказал:

— Ведь вы долгое время были близким человеком в доме Гафура Гуляма, почему бы вам не написать о нем? О стихах его сказано много — это дело литературоведов. А вот каким был он сам, не только поэт — человек? Как говорил с людьми, как шутил, как сердился и радовался?

Сохранить для потомков облик великого современника — хорошее дело. Если бы друзья Ибн Сины, Рудаки, Беруни оставили миру свои воспоминания! А ведь мы даже о Мукими, не так уж давно ушедшем, знаем очень мало. Напишите-ка о Гафуре! Да, да, непременно!

Я долго вспоминал об этом разговоре, обдумывал совет старшего друга и наставника. В самом деле, если порыться в архивах... А если вспомнить? Сколько путешествий и поездок вместе с Гафуром Гулямом я совершил! Сколько слышал от него разных житейских историй, анекдотов, побасенок! Бывал рядом с ним и в дни радости, и в дни печали. Слышал, как он рыдал, потеряв сына. Видел, как он таскал на закорках внуков, как влетал в косы внучки алую ленту...

Я участвовал во многих торжествах, на которых отмечались его заслуги. Присутствовал на его встречах с читателями Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Армении... Если написать обо всем этом! Пусть я и не сумею воссоздать образ Гафура Гуляма во всем его величии и силе, пусть это будут только штрихи к портрету, ведь и это нужно!

...Когда я написал первый рассказ из мемуарного цикла, Айбека уже не было с нами...

Работа все более увлекала меня. Дом Гафура Гуляма в махалле Арпапая — ведь он стоял на перекрестке путей поэзии всего мира! Здесь звучала мушоиры поэтов Италии и Кубы, Англии и Пакистана, здесь шли споры о путях развития литератур Средней Азии и Кавказа, здесь бывали Петр Павленко и Якуб Колас, Николай Тихонов и Мухтар Ауэзов — перечислять можно без конца.

Гостей обычно встречал хозяин, щедрый и радушный. Расстилался дастархан, посередине ставили корзину черешен, созревших в саду. Это была наша школа; мы, узбекские поэты и прозаики, всегда находили здесь и справедливую критику, и добрый совет.

Об этом доме и хозяине его я и написал свои воспоминания, назвав их «На перекрестке поэзии». Посвятил их памяти своего учителя, мудрого наставника Гафура Гуляма. И его словами приглашаю читателя встретиться на перекрестке поэзии:

Гафур Гуляма знаете, конечно!
Мой адрес даст в Ташкенте каждый
встречный.
В мой дом входите, я вам рад
сердечно!
Без проволочек, жизнь так
быстротечна.
Ко мне шагайте, я вас жду, друзья!

ГИМН ТАШКЕНТУ

Начинающие поэты не однажды спрашивали у Гафура-ака, в чем секрет поэзии. Он отвечал:

— Когда садишься писать стихи, надо хорошенько вымыть руки — с туалетным мылом...

Гафур-ака не признавал разговора без шуток. Как-то я спросил, кого из наших писателей он предпочитает другим. Бровью не поведя, с самым серьезным видом он дал такой ответ:

— Из моих сверстников — предпочитаю Гафура Гуляма, из тех, кто моложе, — люблю твои стихи!

Я расхохотался:

— Да ведь стихов-то я не пишу!

Он, тоже смеясь, отвечал:

— Ты присутствуешь при рождении лучших стихов Гафура Гуляма. Хоть сам и не пишешь, все равно напарник поэта!

Я не отставал:

— Скажите прямо, чьи произведения вам больше нравятся?

Видимо, он затруднялся ответить, но деваться некуда, я смотрю прямо в глаза. И Гафур-ака сказал:

— Братишка, все мы по-своему хороши, у всех — много ли, мало — есть и недостатки. У меня язык не повернется сказать: такой-то хорош, такой-то плох. Но, если настаиваешь, скажу: мне очень нравится широта Айбека, сжатость Каххара, глубина Шейхзаде, мелодичность Уйгуна, нежность Миртемира...

Как-то, позднее, он разъяснил свою точку зрения подробнее:

— Айбек мыслит широко. Особенно содержателен, глубок его роман «Навои». То, для чего другим понадобится целая страница, Абдулла Каххар может сказать одной фразой. Когда читаешь стихи Уйгуна, ни на чем не споткнешься, они льются, как песня. Стихи Шейхзаде полны глубокой думы... Читаю строки Миртемира — мне становится радостно. Он пишет не спеша, с наслаждением...

Гафур-ака хорошо чувствовал особенности стиля своих друзей, гордился их успехами. Но в чем же секрет поэзии?

...В день, намеченный для работы над стихами, Гафур-ака избегал серьезных разговоров. Искал шутников и вел шуточные беседы. Я удивлялся.

— Зачем вам это? Стихи собирались писать, что, если б обдумать их посерьезней? Не забудьте, в завтрашнем номере газеты для ваших стихов оставлено место!

Он объяснял, улыбаясь:

— Перед работой голова должна отдохнуть. А для отдыха ничего нет лучше смеха, шуток. И настроение поднимется. А когда я весел, строчки приходят сами...

Гафур-ака говорил правду. Я своими глазами видел, как он мог написать большое стихотворение за один присест, если бывал в хорошем расположении духа. А если отчего-либо портилось настроение, откладывал стихи «на потом». Иногда — «на совсем».

Прекрасное стихотворение «Ташкент» было написано вот так — сразу, одним ударом. По каждой строчке видно, с каким подъемом оно создавалось. Каждое слово, точно по прямому проводу, идет из сердца поэта в сердце читателя.

...Вечером одиннадцатого ноября сорок

шестого года я пошел к Гафуру Гуляму. Застал его у зеркала — он брился, щедро покрыв лицо мыльной пеной. Увидев мое отражение в зеркале, сделал знак: подожди, мол.

Прежде он никогда не брился дома — ходил в парикмахерскую. Я выразил свое удивление, он объяснил, обернувшись:

— Собрался побриться, а возле магазина меня уже караулят приятели. В гости потащат — Зухур-палван угощает, нарын сделал. Иди не хочу. Приходили уже, звали, жена сказала, что меня нет. А как быть с бородой? Знаешь ведь: когда пишу, когда думаю, рукой подпираю подбородок, щетина тут ни к чему, решил сам побриться!

Если так говорит, значит, стихи будут!

Дней пять назорит Гафур-ака принес в редакцию стихотворение «Заря счастья». Оно было опубликовано в газете шестого ноября. Друзья приходили, хвалили, собравшись по перу отзывались очень тепло. У автора до сих пор настроение праздничное.

Нынче вечером Гафур-ака словно собирался в далекое путешествие. Распоряжения тах и сыпались.

«Найди книжку Бедилы. Отнеси наверх электроплитку. Дутар пускай стоит вот здесь. Шахматы — на стол. Журнал «Вокруг света» положи сверху. Если храпишь во сне, спать ложись подальше отсюда. Скажи супруге, пусть даст чистый платок...»

Супруга, Муххарам-апа, засмеялась:

— Это вы так при людях расходитесь! Никого нет — сидите потихонечку, пишете. Пришел кто-то — кончено. «Это клади сюда, то — клади туда!» Суетитесь, как будто на операцию надо ложиться!

Улиценный столь безжалостно, Гафур-ака тоже засмьялся:

— Видал, какво достается бедняге Гафуру Гуляму? И так, и сяк меня терзают. А ведь я еще и стихи пишу! Вот почему Навои и Мукими оставались холостыми!

Он залился смехом. Я тоже взвнуул словечко:

— Вот так говорите, а сколько нашэй келин-ая¹ стихов посвятили!

— Оттого, что боюсь ее! Угодничал, подольститься хотел, вот и писал!

Мухаррам-апа, смеясь, вышла.

В ту ночь Гафур-ака несколько раз принимался петь «Тановар»², сопровождая себя на дутаре. Он очень любил эту песню.

...Иногда, напевая вполголоса, он смахивал слезу с ресницы. В такие минуты с ним лучше было не заговаривать... Оставив дутар, он принимался рассказывать о знаменитом певце Туйчи — о его удивительном искусстве. Вспоминал и других знаменитостей прежних времен — остролова Сайдахмада, прославленного ташкентского «аскиячи», фонарщика Абдуллу, который первым привез в Ташкент граммофон. Первого в городе фотографа —

¹ Жена старшего из братьев.

² Классическая музыкальная мелодия.

Ильхама-самоварщика. Вспоминал, как появилась в Ташкенте конка — зачаток общественного транспорта...

Слушая его рассказы о прошлом Ташкента, о замечательных людях былых времен, я подумывал: а если бы все это записали!

Постелив себе, Гафур-ака придвинул поближе к подушке настольную лампу, развернул «Вокруг света» и принялся читать. Я, усталый, скоро заснул.

Проснулся перед рассветом: постель хозяина дома пуста.

Посмотрел на его стол. Лампа — с краю, посередине — два листка бумаги, полностью исписанные. Стихи, но заглавия еще нет.

Гафур-ака никому не давал читать неоконченных произведений, и я не посмел прикоснуться к рукописи.

На втором этаже дома, рядом с кабинетом, был открытый балкон, откуда видна панорама города. Я вышел туда.

Гафур-ака, опершись на перила, смотрел в сторону Комсомольского озера. Курил, о чем-то размышляя.

Улицы еще были празднично украшены. Повсюду плакаты, транспаранты, флаги. Гирлянды разноцветных лампочек еще сияли среди желтеющей листвы деревьев.

Прошло с полчаса, начало светать.

Гафур-ака, бросив папиросу, торопливо прошел в комнату, не заметив меня. Не садясь к столу, а лишь нагнувшись, торопливо начал писать.

Так, стоя, он писал, наверное, больше получаса. Потом сел. Вычеркнул два четверостишия. Не удовлетвовавшись этим, смял и бросил на пол один из листков. Нагнулся, поднял, надел очки, перечитал написанное. Положив смятый листок на стол, старательно разгладил. Долго смотрел вдаль. Взяв другой лист, красиво переписал те два четверостишия. Смятый листок разорвал в клочки, бросил. Начал расхаживать из угла в угол, изредка трогая одну струну дутара. Прислушивался к замирающему звуку. Снова трогал струну. Вдруг, потеряв интерес к дутару, вышел.

В комнате полный беспорядок: на ковре валяются журналы, стоит чайник; пиала опрокинута, рассыпаны шахматные фигуры — видно, играл сам с собой. Накурено, надумлено так, что у меня глаза защипало.

Я оделся и тоже вышел на улицу.

Уже рассвело. Верхушки тополей заалели и были похожи на языки пламени. Гафур-ака стоял на берегу канала. Не глядя на меня, махнул рукой:

— Погоди!

И вдруг, резко повернувшись, снова вошел в дом. Почти тотчас вынес четыре листа.

— Хватит! Стихотворение Гафура Гуляма закончено!

Никогда еще я не видел его таким взволнованным, таким тревожно-радостным.

Если женщина из девяти месяцев хоть день не доходит, дитя родится увечным. Если поэт свое творение не выверит до

последнего слова, оно получится несовершенным — так говорят.

Кажется, это «дитя» Гафура Гуляма родилось вовремя.

И оно подарило своему автору радость, бодрость: словно и не было бессонной ночи...

Внизу слышались шаги хозяйки дома. Как и всегда, она должна была первой услышать стихи своего мужа, — самый близкий, самый верный друг.

Это стихотворение Гафура Гуляма — прекраснейший гимн, пропетый во славу нашей столицы, Ташкента.

СЛЕЗЫ РАДОСТИ

Год тысяча девятьсот сорок третий.

Осенним вечером в редакцию газеты «Кзыл Узбекистон» пришел заместитель председателя Совета Народных Комиссаров Узбекской ССР Султан Умаров.

Я был дежурным по редакции. В те времена газету поздно сдавали в типографию. Вечерами радио обычно передавало радостные известия об освобождении советских городов из-под власти фашистских захватчиков. Эта добрая весть должна была появиться на первой полосе газеты.

Столь позднего прихода Султана Умарова — было больше одиннадцати ночи — конечно, никто не ожидал. Умаров прошел к редактору. Спустя какое-то время в приемной прозвучал звонок. Я вошел в кабинет. Редактор Садык Раджабов, достав из папки три-четыре листа, протянул их мне, сказав:

— Шербек Алиев ушел, а это надо срочно перевести. Возьмитесь вдвоем с Рыхсибаем. Как переведете — в набор!

Выйдя из кабинета, я просмотрел бумаги. Действительно, важные документы — постановления Совета Народных Комиссаров Узбекской ССР. Первое — об организации в республике Академии наук. Второе — об избрании первых ее академиков.

Торопливо просматриваю список. Среди имен академиков много знакомых. В числе почетных членов Академии — Садриддин Айни, среди действительных членов Академии наук — Айбек, Гафур Гулям, среди членов-корреспондентов — Хамид Алимджан. Алим Шарафутдинов...

Вдвоем с заместителем редактора Рыхси Сахибаевым мы перевели постановление, отнесли в кабинет редактора. Султан Умаров сам внимательно просмотрел перевод. Вздохнув, сказал редактору с горечью:

— Если бы жив был Азиз, он стал бы академиком...

Я знал, о ком он говорит. Об Азизе Валиеве. До войны этот человек возглавлял Самаркандский государственный университет. В начале войны заведовал отделом науки в ЦК Компартии Узбекистана. Добровольцем ушел на фронт. В срок третьем году пришло печальное известие: политрук майор Валиев пал смертью храбрых в боях за освобожде-

ние Украины. Вот об этом талантливом ученом и вспоминали сейчас Умаров и Раджабов...

Я хотел побыстрее принести Гафуру Гуляму радостную весть. Как только начали печатать газеты, я взял несколько экземпляров и с первым трамваем отправился к нему. Еще не встало солнце. На улицах, кроме рабочих, идущих на первую смену, никого не было.

Калитка в доме Гафура-ака еще заперта. Пришлось долго стучать. Мухаррам-апа открыла. Уставилась на меня с беспокойством — чего это я так рано явился!

— Что случилось?

— Радость! Позовите учителя!

— Ночью работал. Лег спать на расвете. Если дело не очень важное, не станем будить? Пусть поспит немножко...

Я показал газету. Объяснил, какое в ней опубликовано постановление.

Мы вошли в дом. Хозяйка прошла в спальню. Немного погодя явился хозяин — бодрый и вовсе не заспанный. Устремился ко мне, по дороге приказав жене:

— А ну-ка, принеси, что полагается на радостях!

Выхватив у меня из рук газету, попытался читать — не может: забыл второпях очки надеть...

— Читай, сам читай!

Я выпрямился и торжественно, внятно прочел оба постановления. У Гафура-ака на глазах заблестели слезы.

— Академик. Гафур Гулям — академик. Такое и во сне не приснится.

Мухаррам-апа принесла новенькую недавнюю тюбетейку, расправив ее на колене, водрузила мне на голову:

— Идите путем своего старшего друга, братец!

За домом Гафура-ака была небольшая площадка. Туда выходила калитка соседа, Мирзы Абдуллы. По вечерал Гафур-ака и Мирза-ака, усевшись на супе посреди этой площадки, чаевничали. Оба соседа с большой охотой высаживали тут цветы. В Ташкенте был парк имени Пушкина — в честь него эта площадка тоже именовалась пушкинской.

Разбуженный нашими голосами, Мирза Абдулла вышел из калитки.

— Вот и Ходжи-крикун явился! — воскликнул Гафур-ака. — Как раз ко времени! Иди-ка разбуди Сагди, вдвоем отправляйтесь на базар. Вот-вот в дом гости нагрянут!

В те времена радиоприемников не было. Висевший на стене репродуктор Мухаррам-апа включила на полную громкость. Передавали музыку. Мирза Абдулла, прихватив мешок, ушел. Немного погодя по радио прочитали на русском и узбекском языках постановления Совета Народных Комиссаров о создании академии и утверждении первых академиков.

— Гафур-ака сказал мне:

— Я знаю, каково это — дежурить по номеру. Ступай, подымись на балахану и немножко вздремни. Явятся посетители, будет не до сна...

— Я не возражал — и отправился на балахану. Не знаю, сколько я проспал. Разбудила Мухаррам-апа.

— Здесь надо приготовить место для гостей.

Больше отдыхать не пришлось: один за другим появлялись гости. Первыми пришли литературовед Хамиль Якубов и самый близкий Гафуру-ака человек — Шаахмед Шарахмедов.

На веранде Мирза Абдулла готовил закуски, закадычный друг Гафура-ака Сагдулла Абдуллаев сыпал морковь и лук в шкворчащий казан.

Сагди-ака-кассир был одним из старейших работников издательства. Известен был также как один из лучших в Ташкенте мастеров готовить плов. Гафур-ака часто проводил часы досуга с этим человеком. Они были на «ты». Если у одного в доме готовилось что-либо вкусное, эту еду посылали в дом другого. Разговаривали они часами. Сагди-ака, если где-то слышал новые анекдоты и побасенки, пересказывал их Гафуру-ака, ничего не забывая и не прибавляя, слово в слово.

...А гости все идут. Вдвоем, плечо к плечу, появились Хабиби-домла и Юнус Раджаби. Хозяин встретил их с распростертыми объятиями.

— Ах, дорогой, — сказал Юнус-ака, — академик из вас вышел, вот оно как!

— Мулла Абду Гафур, академик — это больше, чем самый ученый? Хотел в честь вас написать газель — не сумел: слово «академик» не влезает в размер «аруз», — добавил Хабиби.

— Гафур-ака рассмеялся:

— Не хлопочите об этом, домла. Хорезмиец Курбан-ата тоже не сумел приспособить к «арузу» слово «мотоцикл» — измучился!

...Идет весь театр имени Хамзы. Уйгур, Ятим Бабаджан, Абрар Хидоят, Сайфи Алимов. За ними следом — в узелке шесть лепешек, осыпанных семенами седаны — явился приятель Гафура-ака Ходжи-метельщик, потом — починяльщик посуды, старик-аскиячи, известный под кличкой «Тога» — «Дядя», за ними народные певцы Джурахон Султанов и Мамурджан Узаков. Балахана заполнилась гостями. Собрались все известные в республике деятели искусства. Не было только ученых — они чувствовали своих академиков и тоже встречали гостей.

Веселье разгоралось. Обменивались шутками аскиячи, певцы пели, поэты читали стихи. Получился настоящий праздник — почти такой же, как в прежние, мирные годы.

До вечера не иссякал поток поздравлений. В тот день я увидел своими глазами, какое уважение к себе завоевал Гафур-ака в народе, как высоко оценивают его дарование известные в республике деятели культуры.

Был поздний час, когда на улице рядом с домом послышался рокот мотора. Немного погодя на пороге появилась внушительная фигура Усмана Юсупова, первого секретаря ЦК Компартии Узбе-

кистана. Прежде я видел Усмана Юсупова только издали — в президиуме собраний. Я растерялся. Гафур-ака сам встретил гостей.

— Гафурджан, дорогой, — сказал Усман Юсупов, — поздравляю с высоким званием!

Они обнялись.

Потом хозяин повел гостей в дом. Сидящие за дастарханом стали подниматься, стоя приветствовали вошедших.

— Мы сейчас от Айбека, — сказал Усман Юсупов. — Кары-Ниязи уже поздравляли, Усто Ширина, Хамида Алимджана — тоже. Нынче настоящий праздник, друзья! Гафур, ты ведь сам писал: «И на нашу улицу праздник придет!» Вот на твоей улице праздник! Ты заслужил его, дорогой мой!

Гафур-ака стоял выпрямившись, приложив руки к груди.

— Да садись же ты! — улыбался Юсупов. — Не идет тебе поклоны отвешивать.

Гафур-ака тотчас ответил:

— Я еще не знаю, как оно там, в академическом звании. Академик-то я начинающий, каждому, кто войдет, отдаю поклон!

Сидящие громко расхохотались. Юсупов, перестав смеяться, заметил:

— Вот, поздравил тебя — и пора ехать дальше...

...Ночь бессонная — на дежурстве, потом принимал гостей — устал я, засыпал на ходу. Увидев это, Гафур-ака сказал: «Иди-ка ты домой, намалялся вдосталь».

Пока я собирался, Мухаррам-апа успела сунуть мне сверток в газетной бумаге, судя по запаху, в нем были пирожки-самса. Я стал отказываться, Гафур-ака прикрикнул на меня:

— Ты что, не соображаешь? Не тебе это, а матери твоей. Ее доля из счастливого дома...

Прошло дня три, состоялось первое организационное заседание Академии. Гафур Гулям позвонил в редакцию, попросил, чтобы я быстрее шел к гостинице «Националь». Прихожу — двое стоят, Гафур-ака и Садриддин Айни.

— Познакомьтесь, домла, мой ученик! — начал было Гафур-ака. Айни перебил его, протянув мне руку:

— Мы знакомы!

(Каждый раз, приезжая по делам редакции в Самарканд, я навещал дом Айни).

— Вот что сделай, — сказал мне Гафур-ака. — Мы с домлой сейчас отправляемся домой, а ты забеги в Союз писателей и забери там телеграммы на мое имя, ладно?

Они сели в машину и уехали. Я пошел в Союз. Сколько здесь было поздравительных телеграмм! Из Алма-Аты — от Сабита Муканова, из Казани — от Ахмеда Ерикеева, из Таджикистана — от Лахути и Турсун-заде, из Азербайджана — от Самеда Вургуну, из Киргизии — от Токомбаева, из Туркмении — от Берды Кербабоева, из Ленинграда — от Николая Тихонова,

из Ферганы — от Бузрук-ходжи Усман-ходжаева, борца за Советы, соратника Ахунбабаева, из Андижана — от знатного хлопкороба Тешабая Мирзаева, от председателя колхоза Джура-палвана Гойбова, от начальника строительства ФархадГЭС Акопа Саркисова и от многих, многих людей, имена которых я уже не помню...

Когда я приехал в дом Гафура-ака, оба великих ученых, оба академика, полулежа на подушках, упивались поэзией Бедия. Я, поставив перед ними чай, молча сидел и слушал.

Я и сейчас горжусь тем, что был свидетелем самых радостных минут в жизни замечательного поэта, сделавшего такой весомый вклад в развитие нашей литературы, нашей культуры. И сам видел слезы счастья у него на глазах...

ИСТОРИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

У каждого поэта среди хороших стихов есть несколько таких, в которые вложены все его творческие силы. Думаю, что у Гафура Гуляма такими стихами стали «На путях Турксиба», «Тоска», «Ты не сирота», «Время», «Праздник казахского народа», «Алишер».

Об этих стихах можно говорить часами. Но сейчас я хочу рассказать, как создавалось прогремевшее на всю страну «Время».

Была первая послевоенная осень. Я работал фельетонистом в газете «Кзыл Узбекистон». В один из сентябрьских дней, когда я пришел на работу, меня вызвал к себе редактор. Сказал, что газете нужно стихотворение Гафура Гуляма.

— С Гафуром-ака уже говорил. Он ответил: «Если придет моя «муза», напишу».

«Музой» Гафур Гулям именовал меня. Потому что именно я приходил к нему из редакции с заказом на стихи. И мы быстро находили общий язык. А если посылали других, бывало и так, что разговор не ладился и со стихами ничего не получалось.

Значит, нужны стихи. Немедленно звоню Гафуру Гуляму.

— У меня есть новости, — говорит мой учитель. — Приходи после полудня. Если до вечера побездельничаешь со мной, стихи будут. Если нет — нет.

Я согласился, пришел, когда было назначено.

Хозяина нет дома...

Вхожу в кабинет — почитать чего-нибудь. На столе листок бумаги, а на нем изображен я с чахлыми крылышками за спиной. И подписано: «Муза», я пошел в аптеку. Чтобы ты не улетел, не дождавшись, подрезал твои крылышки. Твой Гафур-ака».

В тот день мы с учителем бродили по улицам допоздна. Зная его характер, я не возражал. Но вот совсем стемнело. Похожé было, что стихов уже не дождётся.

— Послушай, отложим это дело на завтра! — сказал мой учитель.

Я не согласился. Если завтра утром не принесу стихи, что скажет редактор?

— Рано утром напишем. Идет? У Гафура Гуляма слово верное. Конец! Напишу хорошее стихотворение. А вечером полагается посидеть за столом. Сейчас вдвоем будем плов готовить.

Что с ним поделаешь? Приготовили плов, поели. А после — до полуночи — он читал и разъяснял мне Бедия. Рассказывал анекдоты про Насреддина-афанди. Прежде чем сесть за письменный стол, учитель хотел создать приподнятое настроение, развеселиться, облегчить душу.

Было уже поздно. Собираясь лечь в постель, Гафур-ака снял часы и взглянул на них сквозь очки.

— Все! — сказал он, снова вставая. — Стихи готовы. Камил Алиев³ говорил так: «Если есть заглавие, а под ним твое имя, считай, что произведение готово». Название придумано. Подпишу «Гафур Гулям» — дело сделано!

Я посмотрел вопросительно. Он объяснил.

— Племянник Хамидулла подарил эти часы. Посвящу им стихотворение!

Мы опять оделись. Я пошел вниз — заварить чай. Когда вернулся и поставил на стол чайник, уже были написаны две строки:

Мгновенье! В твоих глубочайших
просторах
И розы раскрыты, и жизнь
мотылька.

Чтобы не спугнуть мысль, я поставил чай тихонько, на край стола. Сидел, смотрел. Гафур-ака думал. То возводил глаза к потолку. То вдруг, сдвинув брови, сердито смотрел на меня. Я знал, что в такие минуты Гафур-ака смотрит, но не видит меня. Он видит то, что создает его воображение.

Резко обмахнув ручку в чернильницу, он продолжал писать:

Из красного тяжкого золота скован,
Качается маятник жизни часов...

Написал еще строку, торопливо зачеркнул. Написал заново:

Одно колебанье его золотое
Рождает созвездия новых миров.

Выбросил погасшую папиросу, взял новую. Чиркнув спичкой, взглянул на меня:

— Ну как? Вот это называется гафуровский стих!

Я знал, что ему нужно в такие минуты. Похвалить — и он воспримет духом, с удивительным подъемом завершит задуманное. И я сказал:

— Здорово резанули, Гулям-ака!
— Сиди тихо, не мешай! Вот, пришло!

Снова взяв ручку, он немного подумал и начал очень быстро писать. Слова приходили весомые, точные, рифмы текли, как ручей. Часто-часто обмакивая ручку,

он красивой каллиграфической вязью написал двенадцать строк словно на едином дыхании.

«Теперь пора передохнуть», — подумал я и что-то хотел сказать, но он — взмахом руки — предостерег меня. Встав, походил по комнате. Снова сел, снова написал. На этот раз — два четверостишия. Я боялся шевельнуться. А то ведь бывает и так: у самого что-то не сладится, а свалит на других: помешали!

На столе тикали часы. Я глянул: половина пятого. Еще есть время до рассвета. Но успеет ли поэт закончить стихотворение? Кажется, устал уже. Похрустев пальцами, смотрит на меня.

— Ну, что? Достаточно?

— Не-е-ет! — заныл я. — Гафур Гулям — и вдруг такое короткое стихотворение? Нужно такое, чтоб — развернул газету, и оно сразу бросилось в глаза!

— Не спеши, еще не все сказано.

В комнате дым столбом. Открыли окно, чтобы проветрить ее, сами спустились с балкона вниз, во двор, стали прохаживаться.

В городе тишина. Даже трамваи спят. Гафур-ака, закурился, усмехнулся:

— Оказывается, поэзия — до чего же беспокойное ремесло! Добрые люди все как есть спят крепким сном. А мы, как сторожа в магазине, не смыкаем глаз! На шутку учителя я ответил шуткой:

— Ну, хорошо, стихи-то пишете вы, деньги за них тоже получаете вы, а я ради чего мыкаюсь?

— А ты, ты... — задумался Гафур-ака. — Ты напишешь статью о том, как Гафур Гулям писал стихи, и тоже заработаешь. Еще больше, чем я...

Вот-вот начнет светать. Если промолчу, стихи не будут закончены. Я нагнул, что пора подняться наверх. Гафур-ака немного озяб, волей-неволей пошел наверх, бормоча: «Хоть ты и муза, очень надоедливая, оказывается!»

После крепкого чая я опять сидел не двигаясь. Гафур-ака скрипел пером.

Рассвело. Пошли трамваи. Последняя строчка стихотворения...

Гафур-ака с видимым удовольствием поставил свою подпись, встал из-за стола.

— Вот, читай!

— Я читал, когда вы писали.

— Ну что, хватит? Довольно?

— Нет, — сказал я. — Это еще не конец. Послушайте, Гафур-ака, — я решил похвалой заставить учителя еще потрудиться. — Навои, Машраб, все поэты древности в конце стихотворений восклицали: «Налей мне, кравчий!» Чего же вам-то отставать от них?

Гафур-ака, подумав, схватил ручку.

— У Гафура Гуляма будет по-другому. У него будет по-гафуровски!

Говоря это, он быстро писал. В один миг закончил последнюю строфу:

Будь щедрым, мой кравчий!

О, дай мне, Гафуру,

Глоток многолетнего жизни вина...

Мгновенье огромно и неповторимо.

Во имя бессмертья пью кубок до дна.

³ Фельетонист, друг Гафура Гуляма.

...И на этом, в час рассвета, была поставлена последняя точка.

Взволнованный и счастливый, Гафур Гулям не хотел в то утро отдыхать. Выпив наскоро чаю, мы вышли на улицу. Было еще рано, учреждения закрыты. Мы шли пешком с Бешагача. В доме специалистов на балконе стоял Маннон Уйгур, курил. Мы оклинули его. Знаменитый режиссер спустился, поздоровался с нами. Взял листок, прочел.

Уйгур-ака хорошо знал характер Гафура Гуляма. Хвалил еще больше, чем от него ожидалось. Услышав голоса, выглянул Абрар Хидоятов. Учитель прочел и ему новое стихотворение. Услышав, что он тоже хвалит, успокоился.

Сдав стихи в газету, умиротворенный Гафур-ака крепко пожал мне руку.

— Спасибо, братец. Если б ты не был таким настырным, кто знает, было бы написано это стихотворение или нет?

Назавтра стихотворение «Время» появилось в газете на первой полосе. Через несколько дней его перевод был напечатан в «Правде».

«ЗАКОВАННЫЙ ЗАЯЦ»

В июле сорок восьмого года Гафур-ака повез меня с собой — в Пскентский район — на своем «Москвиче».

Дороги были тогда неважные, в асфальте выбоины, ямы... Не доехали до Тойтюбе — гвоздь проткнул шину.

Там, где мы остановились, дорога примыкала к бахче. Ранние дыни-хандаляк уже были собраны почти подчистую. Пока шофер хлопотал с ремонтом, мы пошли вдоль бахчи, поглядывая, не осталась ли где, под листьями, стоящая дынька. Я ничего не нашел. А моему учителю попалась какая-то сморщившаяся «хандаляшка».

— Погоди, сейчас тебе покажу одну вещь, — он положил дыню на колено и стал оглядываться по сторонам. Подумав, взял из пачки папиросу, проделал в коже дыни дырочку, вставил туда папиросу. Надел на дыню очки. Сорвал косматый пучок травы «ажрик», росшей на берегу арыка, положил на маковку дыни. Усмехнулся:

— Кто это?

Я посмотрел и фыркнул. Это уже не дыня — это Максуд Шейхзаде. Очки, папиросы, кучерявые волосы! Добавить чуть скривленный нос — и будет вылитый Шейхзаде!

Гафур-ака был мастер улавливать сходство в самых различных и далеких друг от друга предметах. Перебирая в мешке картошку, находил такую, что была точь-в-точь похожа на Тимура Фаттаху. Из огурца он мог сотворить портрет Сабира Абдуллы. Однажды разыскал морковку, чем-то напоминающую Хабиби-домлу.

Вместе с Гафуром-ака мы иногда пробовали рисовать с закрытыми глазами. Тураб Тула у него получался очень похожим даже при таком способе рисования. Меня он мог изобразить одной линией, не отрывая карандаша от бумаги.

Во время затяжных заседаний — да если еще оратор выступал, бубня себе под нос, — мы, чтобы не задремать, рисовали карикатуры и обменивались ими. Изображали всех присутствующих одного за другим.

На одном из заседаний я сидел далеко от Гафура-ака. Он обычно не очень охотно высиживал долгие заседания, время от времени вставал и выходил. На этот раз было по-другому. Он сидел терпеливо, что-то чертил в большом блокноте, пристально глядя в лица окружающих.

Поглядев на меня с загадочной улыбкой, Гафур-ака вырвал один листок, протянул мне блокнот. Чтобы не привлечь внимания, я раскрыл его осторожно. На одной странице — сверху донизу рисунки, под ними написано: «Разгадай, кто это, голубчик мой!»

Первое изображение: большое ухо, под ним — два красивых глаза. Второе изображение — огромный нос. Третье — очки, дымящаяся папироса и трость. Внизу три вопросительных знака.

Стало быть, я должен подписать под рисунками, кто на них изображен, и вернуть.

В самом низу страницы еще рисунок — закованный заяц, весьма напоминающий созданное самим Навои изображение «Закованный лев». Я и это понял. Видимо, Гафур-ака хотел выйти из зала — незаметно, по-заячьи* — улизнуть. Хотел, и не мог: сидел, словно в оковах. Под изображением зайца я подписал: «Это — Гафур Гулям».

На случай, если первые три рисунка-загадки отгаданы мною неверно, я написал несколько шуточных строк: «Гафур-ака, эти картинки — таблица Менделеева. Все известные элементы на своих местах. Три клеточки, оставшиеся свободными, — для тех элементов, которые еще ищут».

Листок я вернул автору. Он взглянул — и, чтоб не расхохотаться, тотчас вложил его в блокнот.

Когда был объявлен перерыв и все вышли покурить, листок стал ходить по рукам. Гафур-ака подозвал меня. «Ну, ты молодец, все разгадал правильно, из тебя что-нибудь выйдет, когда подрастешь», — сказал он.

...В Ташкенте, в сквере Революции, в те времена можно было увидеть человека, который вырезал из черной бумаги силуэты людей. Однажды я решил заказать ему свое изображение. Пока художник трудился, Гафур-ака успел сотворить его собственный портрет, чем тот был весьма удивлен. Спросил, кто же это с ним соперничает. Гафур-ака серьезно ответил: «Я из Самарканда. Вот так же, как ты, вырезаю силуэты, этим и живу».

Гафур Гулям был великий поэт. Мастерски владел пером, выступал и в других литературных жанрах. Стихи, проза, перевод — все ему было подвластно. Он писал глубокие, содержательные статьи,

посвященные важным проблемам развития литературы.

Этот пламенный лирик с огромным уважением относился к классической восточной поэзии, к ее традициям.

Он часто повторял: «Ибн Сина был не только врачом — он историк, естествоиспытатель, великий поэт, одаренный композитор, одним из первых в мире писал музыку по нотам. Беруни — не только великий ученый; он историк и поэт...»

Гафур-ака сам стремился идти по стопам этих великих учителей. Он в совершенстве знал историю родного края. Прекрасно рисовал. В часы веселья, мог выйти в круг и сплясать так, что знатоки дивились. Когда он, поднеся к лицу блюдец-резонатор, начинал петь народные частушки-терма, все затихало. Брал в руки дутар — слушатели в лад его музыки покачивали головами. В аские — состязании острословов — Гафур-ака соревновался со знаменитым комиком Юсупом-Кызыком. Не было равных Гафтуру Гуляму в умении рассказывать анекдоты. Народные дастаны он знал от слова до слова и исполнял не хуже, чем известные сказители-бахши.

Гафур Гулям выписывал почти все журналы, выходящие в Москве и в братских республиках. Ни один номер «Вокруг света» не оставался прочитанным, как и «Техника молодежи». Особенно был любим сатирический журнал «Муштур»; Гафур-ака внимательно читал его и рассматривал карикатуры. Часто он беседовал с молодыми художниками об искусстве; красками, которые всегда были наготове, быстро набрасывал что-нибудь.

Его близким другом был старейший художник журнала Владимир Рождественский. Талантливый карикатурист прекрасно знал узбекский быт, обычаи, нравы, рисунки его поражали правдивостью деталей. И еще один из старейших работников журнала — художник Михаил Воробейчиков — пользовался особой симпатией Гафура-ака.

Молодые карикатуристы узбеки всегда могли рассчитывать, что Гафур-ака не оставит без внимания их новые работы. Особенно его радовало искусство Тельмана Мухамедова.

Из всех созданных донине изображений Насреддина-афанди Гафур-ака выделял портрет работы Усто Мумина. «Очень привлекательный образ!» — восторгался он... Много раз сам Гафур-ака пытался воссоздать облик Насреддина на бумаге.

В сорок седьмом году в дом Гафура-ака пришел скульптор, в течение месяца работавший над созданием бюста поэта. Однако скульптурное изображение не удовлетворяло требованиям поэта. В отсутствие скульптора Гафур-ака сам пытался исправлять некоторые недостатки бюста. Скульптор этого не замечал.

Когда бюст был готов и отлит в гипсе, автор подарил один экземпляр Гафтуру-ака. Но это изображение поэт никому не показывал, говоря: «Характера моего не понял этот парень!»

Гафур Гулям всегда требовал, чтобы ему предварительно показывали обложки его новых книг. Часто они ему не нравились, он требовал переделать. Директор издательства упрекал его:

— Корректуру дают вам читать — мало: еще из-за обложек скандалите!

Он отвечал по-своему — шуткой:

— Навои сказал так: «Книгу покупают — по обложке, цену за нее дают — по содержанию». Обложка — реклама. Этим пренебрегать нельзя.

Много лет мы были знакомы с Гафуром Гулямом — и все эти годы я видел его с карандашом в руке, рисующим. Он сам говорил:

— Если б не любовь моя к поэзии, стал бы художником!

— А если б с искусством не получилось, тогда что? — спрашивал я.

— Был бы певцом или дутаристом, — отвечал он.

Гафур Гулям был разносторонне одаренным человеком. Все виды искусства были ему по плечу.

И на полях его рукописей осталось великое множество рисунков.

«СНЕЖНОЕ ПИСЬМО»

Скажем так: было большое торжество, в котором участвовали сотни людей. И вдруг погас свет. В темноте Гафур Гулям пришел на этот праздник и тихо сел в сторонке. Его никто не увидел. Немного погодя в темноте стали раздаваться взрывы смеха — то там, то здесь. И все поняли: пришел Гафур Гулям.

Это был человек необычайного обаяния. В любой дом вместе с ним входило веселье, на самых сумрачных лицах расцветали улыбки.

Я бывал с этим великим человеком на многих праздниках и гуляниях. Я видел, как сотни людей смотрят ему в рот — зная, что сейчас услышат забавный анекдот, поучительную историю.

Изумляла его находчивость, поражал импровизаторский дар. Помню, в сорок шестом году в Союзе писателей праздновали Первое Мая. Не присаживаясь к столу, без карандаша и бумаги, в честь каждого из присутствующих Гафур Гулям сочинял шутливые четверостишия. Никто из поэтов и прозаиков не сумел ему ответить тем же. Собравшись группой, молодые писатели долго шептались, совещались — и сумели выдать лишь два четверостишия, да и то, увь, никого не развеселившие...

Новый, тысяча девятьсот пятьдесят седьмой, год писатели встречали все вместе, с семьями. Гафур-ака был нездоров, но все же пришел — прямо из больницы. И даже в таком состоянии сложил двадцать частушек-ляпаров, удивив всех. И опять не нашлось поэта, способного к такой импровизации.

Это был человек, несравненно одаренный. Иногда, в минуты вдохновения, он заходил в редакцию «Муштума». Тут же сочинял короткие эпиграммы на всех. По-

том, устроившись где-нибудь в уголке, в один присест писал юмористический рассказ или шутивное стихотворение.

Помню, словно это было вчера. В начале февраля сорок первого года Гафур Гулям пришел в редакцию. Мы готовили мартовский номер «Муштума». Попросили поэта написать веселое стихотворение в честь Международного женского дня. Как всегда, переполненный замыслами, он тут же взялся за дело — стал писать шутивные четверостишия в честь передовых работниц.

Мы освободили комнату. Заварив чай покрепче, я вошел к нему и молча наблюдал, как он пишет. Полчаса — и все готово! Искренние, задушевные, веселые строки, посвященные писательнице Айдын, певице Халиме Насыровой, актрисе Саре Ишантураевой, прославленному хлопкоробу Таджихон Аскаровой, создательнице сорта пшеница «Муслимка» селекционеру Муслиме Бегимовой, инженеру Чирчикского химкомбината Шарифе Хамидхановой... В четвертом номере журнала эти шуточные посвящения были опубликованы.

Сорок шестой год. Поздняя осень. Мы с Турабом Тулой едем к Гафуру-ака — за стихами. Он еще не закончил писать, когда пошел снег. Первый снег! Гафур-ака, глянув в окно, стал что-то шептать. Потом спросил нас:

— Послушайте, а вам не хочется поест плова с казы?

Кому не хочется! Плов с казы — домашней колбасой из конины — превосходен!

Мы переглянулись. Учитель объяснил: — Я сейчас сочиняю «снежное письмо» Сабиру Абдулле. С вами отправлю. Если не попадетесь ему в руки, тогда и отведаем плова с казы. Если он вас поймает, придется мне самому делать плов: Взяв ручку и бумагу, он начал писать «снежное письмо» стихами. И вышло оно по-настоящему веселым и поистине преисполненным поэзии. И особенности характеров, и имена поэтов, которые должны были участвовать в пиршестве, — все было зарифмовано, все уложилось в стихотворный размер.

Мы с Турабом вдвоем доставили письмо в целостности и сохранности.

Дней через пять Сабир Абдулла устроил угощение. Среди гостей были Уйгун, Миртемир, Яшен, Шейхзаде, Эминджан Аббас, сам Гафур Гулям; получилась настоящая мушоира — состязание поэтов. И украшал ее Гафур Гулям.

Сабир Абдулла исполнил все требования, которые предъявлялись ему в «снежном письме». А там говорилось:

«Дорогому нашему другу Сабирджану ибн Абдулле да будет известно, что:

Это письмо не простое — в нем
снегом сверкают слова.

В руки попало — придется теперь
засучить рукава.

Волей-неволей всех нас,
двадцать пять, придется
созвать.

Всем, чем богаты, накрыть
дастархан, как же тут не
вздыхать?

Мяса купить фунтов десять, еще и
казы,

Сделать нарын, —
о поверьте, все это не стоит
слезы!

Надо еще дутаристку-красавицу
в дом пригласить,

(розы на щечках цветут) —
чернобровую спеть попросить.

Пьяницам водка — хозяйка,
непьющий — себе господин.

Мне «Жигулевского» пива достаточно
ящик один.

Если уютно, радушьем сумеете нам
услужить,

Петь до того будем громко —
все уши мы вам прожужжим.

Да, не забудьте доставить еще
кой-чего от щедрот:

Нам колбасы — на закуску,
манты — это тоже пойдет.

Кто ж, знать хотите, придет к вам,
старинный обычай храня?

Шейх-мавлари, фронт Уйгун, —
и прошу не забыть про меня!

Если б еще Миртемир в настроенье
прекрасном пришел,

Стены б качнулись от смеха,
все было б «совсем хорошо».

Минуло лето, и осень, и сад ваш
в объятьях зимы,

Ягодки вкус с того сада у вас
не отведали мы!

Вашу хлеб-соль не видали, друзей вы
не звали на пир.

Разве все это не правда, а ну,
признавайтесь, Сабир!

Мог бы я долго вас, братец, за то
и за се упрекать.

Ладно уж! Где совершенство нам в
мире подлунном сыскать?

В дружеской теплой беседе обиды
легко позабыть.

Стало быть, ваша забота — скорей
и щедрей угостить!»

Другой образец шуточной поэзии Гафура Гуляма — его письмо в ответ на посылку, присланную его андижанским другом Амануллой Валихановым.

В связи с этим хочу еще раз сказать о рукописях, стихах, письмах Гафура Гуляма, оставшихся у его друзей и знакомых.

То, что опубликовано, читатели знают хорошо. Изданные стихи вошли в сокровищницу нашей литературы.

Но бывало так: написав стихи, Гафур Гулям отдавал рукопись кому-нибудь из друзей со словами: «Это тебе в долг, вернешь на большом тое». Смысл этих слов был такой: «Когда я уйду из этого мира, отдашь моим ученикам».

Мне кажется, уже наступило время, когда друзья поэта должны возвратить эти рукописи.

У моего учителя Гафура Гуляма много поэтических сокровищ, еще не найденных, не собранных. Я верю: его ученики сделают все, чтобы пополнить драгоценное наследие учителя.

Гафур Гулям и в серьезной, и в шутовой поэзии воздвиг себе памятник. Мы, его ученики, возлагаем венки к подножию этого памятника.

«ДЖИГИТЫ»

Была ранняя весна сорок шестого года. В редакции зазвонил телефон — Гафур Гулям приглашал меня к себе. С ночевкой!

Я догадывался, зачем понадобился ему.

Каждое четверостишие, только написанное, он любил проверять на слушателя. И не просто на слушателя — слегка избалованный похвалами, поэт ждал новых. Говорят, что я умел похвалить лучше, чем другие. Гафур-ака и сам намекнул на это:

— У меня получается писать, у тебя — хвалить!

Я отправился в гости вечером, настроенный благоговейно внимать рождающимся в тишине строчкам. Но не тут-то было! Дом полон гостей!

— Да что же это? — воззвал я к хозяйке.

Мухаррам-апа засмеялась:

— Вы же знаете «болезнь» своего друга! Она называется «Дай-дай!»

Знать-то я знал.

В суровые годы войны Гафур Гулям делился своим пайком с нами — молодыми, жившими трудно и скудно. Не забывал и соседей — его любимый друг Мирза Абдулла тоже не был обижен. «Хоть бы о детях своих подумал!» — сетовала иной раз Мухаррам-апа, на что ей был ответ: «Знаешь ведь мою болезнь — «дай-дай!»

Оказывается, хозяин дома получил очередной гонорар в издательстве — и новый приступ «болезни» охватил его. Позвал в дом гостей, тут уж не до стихов...

Я прошел в кабинет, находившийся на втором этаже, на балахане. Там сидели гости: знающий наизусть всего Бедия, известный литературовед Баки-домла, недавно приехавший из Андижана поэт Сайфи-домла, несколько таджикских поэтов и знаменитый музыкант Юнус Раджаби. Он поет, аккомпанируя себе на дутаре, остальные слушают.

Узрев все это, я окончательно убедился, что стихов сегодня не будет. Гафур-ака, видимо, желая загладить свою вину передо мной, с преувеличенной торжественностью представил меня гостям:

— Знакомьтесь, мой ученик! Превзошел меня. — И глянул хитро: хватит или еще похвалить?

Признав себя побежденным, я промолчал и сел в сторонке.

В те времена сын Гафура Гуляма, Мирза Улуг (ныне лауреат Государственной премии УзССР имени Беруни), был еще мальчиком. Побежал заварить кок-чай для Хабиби-домлы и разбил любимый отцовский чайник... Тогда Гафур-ака поручил мне заботы о чае.

Баки-домла в это время, прикрыв глаза, читал четверостишия известного поэта.

В это время скрипнула дверь, и Мирза

Улуг поманил меня. Я вышел и следом за мальчиком спустился вниз.

У калитки стоял Гайрати-домла, а с ним еще один знакомый, которого Гафур-ака не очень привечал, ибо стоило этому человеку чуточку выпить, никому не даст слова сказать. Все «я», да «я», «я поэт» — и все тут. Если войдет, прощай мирная беседа, всем настроение испортит.

Я подмигнул домле Гайрати и говорю:

— Хозяина дома нет.

— Посидим, подождем, — говорит тот, другой.

— Не стоит, он в Дурмень, в Дом творчества, уехал, скоро не вернется, — выкрикнул я.

Тот стоит. Я говорю Гайрати:

— Гафур-ака для вас письмо оставил. Сейчас принесу.

Побежал на балахану, по дороге прибрал все кавуши, галоши гостей, оставленные у порога, а то еще тот неприятный тип войдет и догадается, что в доме люди...

Объяснил я всем, в чем дело. Дом затих. Все молчат, делают друг другу знаки: не выдавать своего присутствия незваному гостю!

Гафур-ака, положив листок на колени, в одно мгновение что-то написал и передал мне. Читаю:

«Того нахала, что с тобой.

О Гайрати, скорей сбывай!

Что адрес мой — Арпапая, того

отнодь не забывай.

Баки, Юнус и Хабиби

Тебя здесь ждуд, как соловья.

Мой пир укрась, о златоуст,

речистым будь, не устанай!

Сайфи-домлы имя-звание я в стиху не включил. Дело в том, что он выиграл сто тысяч по займу, как бы о такой удаче не проведали злонамеренные люди! Пока что все держат в секрете.

С уважением к тебе Мирза Абдул Гафур Шожи, бывший Караташи».

...Вот такую записку я и вручил Гайрати-домле. Тот прочитал, положил в карман и заторопился увести нежеланного гостя. Через полчаса возвратился, хоча до упаду.

Гости решили заночевать. Мухаррам-апа допоздна суетилась на кухне. Хозяин попросил, чтобы на завтрак были пирожки-самса, — и удалился к себе на балахану.

Было, наверно, около трех часов ночи, когда Гафур-ака разбудил меня: бумага в руках, очки сдвинуты на лоб.

— Вставай, моя муза! Стихи являются на свет — будешь принимать роды!

Встал. Побрел в кабинет, сел на стул, полусонный. Зевнул два раза — Гафур-ака рассердился. Тут надо сказать, что от его гнева одно спасение — бежать. Я зарекся зевать, от страха сон с меня слетел окончательно.

Оказывается, были написаны четыре четверостишия. Гафур-ака, выпрямившись,

грудь вперед, начал читать торжественно, словно диктор по радио.

Это было начало ныне знаменитого стихотворения «Джигиты».

Я не поспешил на похвалы. Обрадованный автор поволок меня за собой.

— Идем! Жене почитаю!

Я напомнил, что Мухаррам-апа до полудночи готовила угощение, возилась с тестом, устала, только что прилегла. Гафур-ака задумался, как быть. У него вошло в привычку: написав стихи, тут же их прочитать кому-нибудь — ему был дорог немедленный непосредственный отклик, первое впечатление...

Тихо ступая, не зажигая света, я разбудил Гайрати. Он никак не мог прийти в себя — сидел, потирая глаза. Поэт предредил:

— Если будешь говорить: «Тут не так, там не эдак», — лучше иди спи!

— Гафур, будь уверен: по части похвал я не подведу!

Перед другом детства, с которым переживали и радости, и горести, перед собратом по перу, знакомым с восторгами и муками творчества, Гафура-ака разошелся вовсю: читал стихи, вкладывая в слова всю душу.

...Как будто сейчас я это вижу. Гафур Гулям читает стихи, а Гайрати, слушая, задыхается от рыданий.

Вот, значит, как действуют на людей эти строки! Сам разволновавшись, автор некоторое время смотрел куда-то вдаль, потом взял ручку и снова начал писать.

Справа налево вилась узорчатая вязь арабских букв, писавший смотрел то на потолок, то на меня, то на расстегнутый ворот Гайрати; смотрел, и не видел. Мысль его унеслась далеко. Мы с домлой сидели, боясь вздохнуть.

Потом, ошупью, с тем же невидящим взором, Гафур-ака отыскал на столе коробку «Казбека». Чиркнул спичкой — все машинально, не замечая того, что делает.

И вот стихи закончены. Он стал переписывать их набело, старательно выводя буквы.

— Все. Все, друг, — он протянул листок Гайрати. — Читай! Громко читай! Послушаем...

Едва тот прочел две строфы, Гафур-ака встал с места:

— Что это за чтение? У тебя насвай, что ли, под языком?

Выхватив листок, он стал в позу Маяковского, расставив ноги, взмахивая рукой, начал читать:

Герой покидает родимый очаг

И ранит разлукою седьмозвонных

Вы — шум тополей в благозвонных

ночах,

И стан ваш — народа испытанный

посох...

Он прочитал все стихотворение — с подъемом, с горячей увлеченностью. После таких стихов не хотелось ничего говорить. Мы сидели молча. Наконец, Гайрати промолвил:

— Здоровья тебе, благополучия, друг! Спасибо...

За завтраком хозяин прочел новые стихи гостям. Выслушал похвалы. Потом, провожая гостей, мы вышли на улицу.

Шагали ранние прохожие. Со стороны театра имени Мукими показались две арбы, груженные углем, на них покачивались возчики в черных, перемазанных угольной пылью телогрейках, накинутах на плечи. По радио передавали «Чоргох» — одну из популярных мелодий классической музыки Востока.

Гафур-ака крикнул возчику угля:

— Останови арбу! Ты что, не слышишь, кто поет? Это же знаменитый певец Мулла Туйчи исполняет!

Остановились старики. Замерли мы. Кажется, замерла и затихла вся улица, всю ее заполнил печальный, рвущий сердце напев...

«Чоргох» кончился. Послышался голос диктора:

— Вы слушали в исполнении народного артиста Узбекистана Юнуса Раджаби...

Гафур-ака сконфуженно посмотрел на самого Юнуса, стоявшего рядом:

— Э, чтоб вас, так это вы! — И крикнул арбакешу: — Погоняй, проезжай!

Свидетели этой сцены расхохотались.

ПОЕЗДКА В САМАРКАНД

Сорок седьмой год, февраль. Земля только что освободилась от снега. Подготовка к выборам в Верховный Совет Узбекской ССР в самом разгаре.

Утром радио принесло добрую весть: Гафур-ака стал кандидатом в депутаты Верховного Совета Узбекской ССР по Каратепинскому избирательному округу Ургутского района Самаркандской области. Я пошел к нему — поздравить.

— Вовремя явился! — сказал мой учитель. — Хотел уже посылать за тобой. К Хамиду Гуляму уже пошел человек, скоро вернется. Вечером втроем едем в Самарканд: в Ургуте состоится встреча с избирателями. Надо заказать билеты на поезд...

Собираясь в Самарканд, я попросил у товарищей из Узгосиздата несколько экземпляров только что вышедшей книги Садриддина Айни «Смерть ростовщика», чтобы вручить их автору. Мне дали двадцать штук, я уложил их в чемодан.

Это произведение Айни написано было до войны, напечатано в журнале «Литература и искусство Узбекистана», но отдельной книгой вышло только теперь. Айни-домла спрашивал у меня несколько раз, вышла ли книга. И теперь я вез ему радость...

Самаркандские писатели решили провести в областном театре литературный вечер. На улицах появились большие афиши, извещающие о творческом вечере академика, лауреата Государственной премии СССР Гафура Гуляма.

Нас устроили в гостинице при обкоме. Гафур-ака сказал:

— Вечером будем в театре, назавтра

еще что-нибудь выплывет, послезавтра — уже в Ургут. Пока есть час-два свободных, идемте-ка навестим Айни-домлу. Ему будет приятно.

Садриддин Айни жил рядом с Регистаном, ворота его двора смотрели на ворота медресе Шердор.

Домла был дома. Обрадовался нам. Обнял Гафура-ака.

Я положил перед ним пачку книг. Торопливо разрезав бечевку маленьким ножичком, Айни взял одну книгу и, поднеся близко к глазам, перелистал. Посмотрел на меня: «Ну, слава богу, вышла, спасибо, сынок!»

Потом всем нам троем подарил экзemplяры со своим автографом. Мне написал так: «Товарищу Саиду Ахмаду на дружескую память. Айни. 4.II.47».

Гафур-ака шепнул мне: «Домла назвал тебя своим другом!» Ему показалось неподобающим — человек столь почтенных лет называет меня, почти мальчишку, другом. Впоследствии, если где-то заходила речь об Айни, он, посмеиваясь, говорил: «Друг нашего Саида Ахмада!»

За приготовлением нишолды⁴ и беседа оживилась. Разговор начал Гафур Гулям.

— Домла, я уже долго раздумываю над смыслом одного выражения и не могу его себе уяснить. Утреннюю еду называют «нонушта». На арабском — нет такого слова. У тюркских народов его смысл тоже неизвестен. В языке фарси есть что-то близкое по звучанию, но смысл иной...

Домла, оставив чильчуп⁵ в казане, налил чаю в пиалу, задумался.

Мы, присутствуя при беседе двух великих, примолкли, слушая во все уши. Айни-домла, выпив чай, осторожно поставил пиалу на край дастархана. Долго думал, потом сказал:

— По-моему, в языке фарси трудно найти толкование этому слову. Но все равно найдем! Если мы вдвоем не разберемся в смысле одного выражения, как же оно дальше пойдет, писательство наше?

— Верно, верно, домла. Приставка «но» употребляется в языке фарси. Но у тюрков она полностью утратила смысл. По-моему, «нонушта» должно быть испорченным, искаженным выражением.

— Верно, мулла Абду Гафур. Смысл слова «нонушта» — «пицца, которую едят натошак». Не «нонушта», а «ношито» надо говорить.

С языка фарси перешли на творчество Бедия. Домла Айни рассказал, что собирается выступать оппонентом при защите диссертации самаркандского ученого Ибрагима Муминова, посвященной философии Бедия.

Гафур-ака считался одним из виднейших знатоков творчества Бедия в Узбекистане. Стихи его знал наизусть, читал на языке фарси, удивительно звуч-

ном и красивом. Слушая его, Айни-домла, очарованный, приговаривал: «Хвала, хвала!» И сказал, наконец:

— Послушайте, а не пригласить ли и вас на защиту? Если хотите, с диссертацией можно познакомиться заранее. Это будет полезно!

Гафур-ака, вспомнив, сколько нужно еще сделать (у него были и свои аспиранты), извинившись, отказался. Беспокойный по характеру, он уже выбирал момент, чтобы распрощаться.

— Как же так? Уйдете, не отведав нишолды? Дети сейчас принесут еще и патоку!

Появились дочери Айни, принесли кастрюли с патокой, над которыми курился ароматный парок. Вскоре была готова и нишолда. Скажу прямо, в жизни своей не отведал более вкусной! Оказывался, домла и впрямь был мастер в этом деле!

— Э, вы еще не пробовали мою бухарскую халву!

Когда перешло за полдень, домла Айни повел нас на Регистан, хотя мы и просили его остаться — устанете, мол...

Гафур-ака шагал широко, ходил быстро. Он никак не мог приспособиться к поступи домлы, который брел потихоньку, опираясь на посох. Не выдержав, шепнул мне:

— Скажи твоему другу, зачем он тут с нами мучается?

Домла и в самом деле устал. Остановился, сказал:

— Ну, ладно, я теперь вернусь. До вашего отъезда еще раз навестите меня! Халву готовлю!

Передал привет ташкентским друзьям и возвратился домой.

Всю дорогу я думал о беседе, участником которой довелось быть, и все больше восхищался эрудицией Гафура-ака, его находчивостью в спорах. Когда он успел столько прочесть? Когда изучил язык фарси? И разве только его? С казахами — по-казахски, с татарами — по-татарски, с уйгурами — по-уйгурски он разговаривал без запинки. Знал не только языки этих народов — знал их литературу, обычаи, песни.

Однажды — я видел сам — он запел уйгурскую песню «Садр-богатырь»: «Когда я бежал из тюрьмы, ребром своим сделал подкоп...» И повар-уйгур, слушавший его, заплакал...

...Вот сейчас мы идем по Регистану. Впереди — Гафур-ака и Хамид Гулям, я иду за ними, прислушиваясь, о чем идет речь.

Гафур-ака говорит об истории Самарканда, обо всем, что в ней связано с жизнью Алишера Навои. Время от времени останавливается и, взяв в руки очки, рассматривает арабские, персидские надписи на порталах.

Вот они, величественные памятники Регистана! Гафур-ака смотрит на них молча. Словно не желая попираť ногами землю, по которой ступали великие предки, движется осторожно. Говорит почти шепотом...

⁴ Нишолда — взбитые белки с сахаром. лакомство.

⁵ Чильчуп — лучинки для взбивания нишолды.

РОЖДЕНИЕ «ОЗОРНИКА»

— Вот здесь проходил Навои. Смотрел на эти порталы, погружался в раздумья. А из этих дверей, украшенных резьбой, выходил Улугбек... Из этих самых! Чудеса...

...Я знал, что в натуре моего наставника есть что-то от ребенка: порою обрывается пустяком, порою из-за пустяка заплачет. «Как бы и теперь не прослезился», — посмотрел я на него. Так и есть: глаза полны слез. Надо отвлечь его чем-нибудь...

— Послушайте, Гафур-ака, как бы вы не прослезились на встрече с избирателями?! Что мы скажем, если привезем плачущего депутата?

Гафур-ака тотчас взял себя в руки.

— А, хитрец, заметил-таки! Проклятые мечты так далеко завели: я уже с Навои будто бы разговаривал. И на самом интересном месте ты прервал нашу беседу. А ведь тут стихи получались!

...Ты был, точно лев на железной
цепи.
Вместилище мудрости, чести
пример.
До звезд искрометных твой вздох
долетал.
Любовь кто посадит на цепь,
Алишер?

Конечно, я напишу. И сильное будет стихотворение. Запиши эти строки, а то потом забуду!

(Через год, в дни празднования пятидесятилетнего юбилея Навои, Гафур-ака написал стихи, посвященные великому поэту. Шестое четверостишие и есть эти самые, родившиеся на Регистане, строки).

Наша самаркандская поездка была полна интересных событий, раскрывших для меня новые, неизведанные еще стороны в характере моего учителя и старшего друга. Никогда не забудутся горячие слова приветствий в его адрес, что прозвучали на сцене театра, не забудутся и посвященные ему стихи.

Возвращались мы из Самарканда как раз накануне открытия республиканского курултая передовиков-хлопкоробов. В нашем поезде ехали представители Зарафшанской долины. Шум, веселье...

Услышав, что в поезде едет Гафур Гулям, к нам стали приходиться дехкане, жившие в дальних уголках нашего края. Приглашали к себе в купе. До самого Ташкента так и шло — разговоры, шутки, забавные истории. И опять я открывал новые грани в облике Гафура Гуляма...

Учитель мой, как никто, знал долину Зарафшана. Разговаривая с бухарцами, вспоминал о своих знакомых в кишлаках, о празднествах, на которых присутствовал, называл поименно передовых животноводов тех мест, подражал тамошнему говору...

Вскоре состоялись выборы. Гафур Гулям был удостоен высокой чести — его избрали депутатом Верховного Совета Узбекской ССР.

В тридцатые годы Гафур Гулям находился в расцвете творческих сил. Он работал неустанно, проработав себя во всех литературных жанрах. В газете «Кзыл Узбекистон» печатались его стихи, на страницах «Еш ленинчи» появлялись рассказы, и еще, и еще — фельетоны, очерки, публицистические статьи, переводы из Маяковского и Асеева, даже информация из какой-нибудь области о вновь созданном колхозе...

Он на все находил время — и шутить, и писать, и работать на садовом участке в Инжикабаде — кетменем, по-дехкански...

Когда в газете публиковался очередной рассказ, Гафур-ака выбирал часок, чтобы побродить по площадям и торговым рядам старого города, послушать, что говорят люди о его рассказе, каково впечатление.

В это время он завоевал известность и как автор юмористических рассказов, и как сатирик. Именно тогда была написана повесть «Нетай» — в ней автор не ограничивался сатирическим осмеянием отрицательных сторон действительности, а показал себя мастером психологического анализа. Рассказ «Тени» стал еще одним свидетельством его искусства в изображении душевных состояний человека.

Гафур-ака не знал перерывов в работе. Вслед за поэмой «Кукан», о которой так много говорили и писали, появились баллады «Два акта» и «Той». Не успели читатели разобраться полностью в достоинствах этих произведений, а Гафур Гулям уже создал десятки новых рассказов, очерков, фельетонов. На тридцать шестой год дал заявку — две новые повести...

Журнал «Гулистан» начал печатать повесть «Ядгар», читатели «Муштума» в течение целого года знакомились с похождениями «Озорника».

Как только выходил новый номер «Муштума», у газетных киосков выстраивались длинные очереди...

Когда печаталась третья часть повести «Озорник», я, можно сказать, был прикомандирован к ее автору — чтобы поскорее получать очередные главы для журнала.

...Прихожу. Хозяина нет дома, рукопись на столе. Это значит: я должен забрать ее и продиктовать машинисткам (я знал арабский алфавит).

Листаю рукопись. К слову сказать, журнал начал публиковать повесть в незавершенном еще виде. Автор писал главу за главой и передавал нам. А если ему придется уехать куда-нибудь в командировку? Беда! Ожонфузимся: перед читателями, — этого мы очень боялись.

Вот потому-то я и не давал Гафур-ака покоя, являлся в его дом ни свет ни заря. Итак, что там было в предпоследней — готовой — главе? Озорник, возвратившись в Ташкент, выслушивал повествования Куса-Маддаха...

Домла, оказывается, пошел проводить своего приятеля Шаахмеда-ака. Скоро

возвратился. Выглядел он почему-то смущенным...

— Не смог я закончить повесть, братец, что хочешь со мной делай, бессовестный я человек!

— Если нынче же не принесу окончание, меня из «Муштума» выгонят!..

Хозяину дома очень хотелось скрыться с глаз долой. Он совался то в один угол, то в другой, ища какой-нибудь повод для бегства. Не сумел найти. Волей-неволей сел за письменный стол.

— Ладно. Сегодня поставим точку. Сажусь писать. А ты сбегай на Эски-Джува, принеси пачку «Казбека».

Меня, значит, послал за делом, а сам сбежит. Мухаррам-апа успела шепнуть мне: «Будь настороже, твой учитель куда-то собрался уехать с Мирзой Абдуллой». А что же мне делать? Вижу, Джурахан⁶ чистит брюки щеткой.

— Братишка, дорогой, сбегай за пачкой папирос!— взмолился я.

Джурахан, взяв велосипед у соседского мальчика, тотчас же привез папиросы. Гафур-ака не мог придумать другого повода, чтобы избавиться от меня.

Признался:

— А ты хитрый парень, оказывается! Твоя взяла!

Ткнув ручку в чернильницу, задумался. Еще не вытаскивал ручки, тихонько засмеялся:

— Ведь пришло на ум кое-что! Интересно получится. Если б завтра сел писать, придумал бы такое или нет?

...И заскрипело перо по бумаге.

Я целый день дежурил во дворе. Гафур-ака, то хваля меня за настойчивость, то ругая за назойливость, все-таки писал — и закончил повесть.

Нелегкое это было дело — усадить Гафура Гуляма за письменный стол. А уж если сел — не оторвешь его от работы. Напишет первое четверостишие или первую страницу рассказа — и уже самому стало интересно, увлекся! Пока не закончит, не встанет с места. Пристанешь к нему с ножом к горлу — сердится. А когда напишет новую вещь, да она удастся, благодарит:

— Вот как сладил дело! Между прочим, рассказ получился. Молодец! — добавляет он по-русски.

В том, что повесть «Озорник» появилась на свет, есть большая заслуга друга детства Гафура-ака, журналиста, стенографиста высокой квалификации Шаахмеда Шарахмедова. Это он, фразу за фразой, дословно записывал повесть, все три части, — расшифровывая затем стенограмму.

Всегда бывший рядом с Гафуром-ака талантливый переводчик Вахаб Рузыматов также записывал немало его фельетонов, рассказов, стихов.

⁶ Джурахан — сын Гафура Гуляма, погибший на фронте. Стихотворение «Тоска», написанное в сорок первом году, посвящено ему.

...Номера «Муштума», где печаталась третья часть «Озорника», ходили по рукам, немало прибавляя к славе автора.

Впоследствии, в годы войны и в послевоенное время, сам Гафур-ака, перелистывая своего «Озорника», начинал читать — и хохотал.

В конце сорок седьмого года об этой повести опять заговорили.

Однажды Гафур-ака пошел к своему товарищу в родную махаллу Кургантеги. Повстречал здесь тех, с кем вместе рос, бродил по улицам. Поговорил со старыми женщинами, знавшими его мать.

— Повидал учителя, который первый раз в жизни показывал мне буквы — Юсуфилло-кари. Жив, оказывается! Пошел к нему в дом — поблагодарить, поклониться. Ты знаешь, наш-то поэт Шукрулло — его любимый сын!

Несколько дней Гафур-ака ходил задумчивый. Сознавался:

— Опять «Озорник» не дает покоя!

Он собрался писать четвертую часть. Обдумал некоторые главы.

...Индиец-меняла очень хвалил Озорнику Индию. Там, мол, баранов раздают даром, а слониха со слоненком стоят всего одну таньгу; лепешки поспевают прямо на деревьях. Вот парню и захотелось увидеть все это своими глазами. Стал он копить деньги на поездку в Индию. Скучающие зеваки, узнав об этом, стали морочить ему голову: в Индии, мол, много слонов, а цепей, чтобы их водить, не хватает, надо прихватить с собой побольше железных цепей. И еще, мол, в Индии очень нужны дудочки — под их музыку танцуют змеи. Нужно повезти туда штук двадцать-тридцать дудочек позвонче. И еще советовали — взять пятьдесят пластинок Туйчи-хафиза, сорок самоварных трубок...

Озорник всему этому верил. Нагрузившись цепями, дудками, пластинками, самоварными трубами, пешком отправился в путь...

Все было продумано, но Гафур-ака так и не взялся за перо. На мои вопросы, почему да отчего, ответил:

— Раздумал. Уж больше десяти лет прошло с тех пор, как я писал «Озорника». И прежде чем работать над его продолжением, надо заново переписать всю повесть — с нынешними моими знаниями, умением. Да к тому же — я ведь не видел Индию, как же отправлю туда своего героя?

Таким образом, четвертая часть повести не нашла воплощения на бумаге.

Но иногда Гафур-ака горько сожалел об этом.

— Послушай, а почему было не написать? Все равно Озорник до Индии не доберется! Куда ему с таким грузом? Дальше Ура-тубе не дошел бы. Вот досада! Если б ты не пошел на уступки, нажал бы на меня — четвертая часть явилась бы на свет!

В шестьдесят втором году Гафур-ака снова принялся за «Озорника». Его побудил к этому тот самый стенографист Шаахмед Шарахмедов, который записывал

повесть со слов автора. Вся повесть была заново отредактирована. Появились новые главы. Образ Ходжи-бобо обогатился новыми деталями. Словом, не будет ошибкой сказать, что автор работал над «Озорником» без малого двадцать пять лет. Первая и вторая части были закончены в тридцать шестом году. Третья — появилась в конце сороковых годов. В начале шестидесятых повесть была переработана.

Когда вышло ее последнее — при жизни автора — издание, Гафур-ака, взяв книгу в руки, поцеловал и приложил к глазам.

— Теперь все, конец, — сказал он с просветленным взглядом.

— Почему? — спросил я. — Увлечетесь — и продолжите эту тему!

— Нет. Продолжать уже вам. Ты напишешь. Прежний Озорник теперь уже академик, лауреат, депутат...

...Московское телевидение показало зрителям телепостановку «Озорника». Гафур-ака не видел ее. Его уже не было среди нас.

Как бы он радовался, если б увидел!

Каждый раз, когда я беру в руки повесть «Озорник», я вспоминаю о своем учителе. Снова слышу его смех, — он смеялся, когда писал ее. Снова вижу — вот он стоит, прищурив глаз, будто спрашивая: «Ну, как? Здорово ведь получилось?»

Я вспоминаю дня, проведенные рядом с великим писателем. Наши поездки. И — в тишине кабинета — снова слышу скрип неутомимого пера... Слышу... Слышу...

ПОДРУГА ПОЭТА

У меня во дворе растут две черешни. По-моему, плоды их поспевают самыми первыми в Ташкенте.

Восемнадцатого апреля шестьдесят шестого года, утром, в калитку постучали. Открываю — передо мной Гафур Гулям.

Оказывается, три дня назад умер его знакомый, живший по соседству. Он хотел, чтобы мы вместе пошли выразить соболезнование, поэтому и появился так рано.

Мы вошли во двор. Увидев на нижних ветках поспевшие черешни, Гафур-ака удивился:

— Оказывается, в это время уже поспевают?

В знак почтения я предложил учителю сорвать и отведать первые в этом году ягоды. Встав на цыпочки, он сорвал две — три черешни. Я тут же притащил садовую лестницу, став на нее, наполнил корзиночку черешней и, выложив ягоды на тарелку, преподнес гостю. Гафур-ака, съев две ягоды, сказал, что хватит с него. И добавил:

— А уж если ты для меня старался, положи черешню в кулечек. Отнесу супруге — пусть полакомится. Ей будет на пользу.

Захотелось пошутить:

— Да разве вы так уж любите свою жену?

Гафур-ака улыбнулся:

— Ты что имеешь в виду? Посмотри на

нее моими глазами! Ведь это мать моих детей!

Я взглянул на него — и хитро усмехнулся. Гафур-ака понял, к чему я клону.

— Знаю, знаю, что хочешь сказать! Мол, Гафур Гулям — человек причудливый! Скорее вспыхнет, накричит, чем приласкает. Капризен, как ребенок. С таким жизнь прожить — да уж за одно это любить надо! Вот что у тебя на уме, так ведь?

— Угадали!

— Молодец, верно подметил. Нет на свете трудней доли, чем у жены поэта. И хвала нашей Мухаррам, если она все это выносит.

...Гафур-ака, действительно, очень любил свою спутницу жизни.

Когда мы бывали в поездках, он не забывал купить жене хоть какой-нибудь подарок.

В шестьдесят первом году, в октябре, мы были в Армении. Участникам декады там показывали много интересного. Здания, воздвигнутые два — три тысячелетия тому назад. Книги, окаменевшие от времени. Восторгаясь всем увиденным, Гафур-ака сожалел об одном: «Что же я жену не взял с собой! Она бы тоже посмотрела...»

Куда бы он ни поехал, везде и всюду вспоминал о супруге. На самаркандском базаре — искал для нее масло, сделанное на кустарной маслобойне.

— Супруга любит плов, приготовленный на таком масле!

Ездили в Маргилан — прихватил с собой корзину гладкокожих персиков-арабчиков: «Пусть попробует жена!» И уж, конечно, не возвращался без отреза знаменитого маргиланского хан-атласа. Все это я видел, знал.

Но сперва — о том, что было однажды в Москве.

Шестидесятилетний юбилей Гафура Гуляма праздновался и в столице. Почетатели его и друзья собрались в Центральном доме литераторов. Прежде всех прославленный турецкий поэт Назым Хикмет обнял своего узбекского собрата. Николай Тихонов сначала почтительно поздоровался с Мухаррам-апа, поцеловал ей руку, потом подошел к Гафуру-ака, сказал, смеясь:

— Вам шестьдесят, а на вид — молодец в расцвете сил! Видимо, жена вам хорошая радость!

Мухаррам-апа, подтолкнув меня, шепнула:

— Спасибо, есть, оказывается, люди, что и жену добром поминуют!

Многое тогда говорилось о заслугах Гафура-ака, прославляя его и хвалили.

Мухаррам-апа радовалась его радости...

Зал был полон. От души приветствовали поэта известные московские литераторы, артисты, художники. После концерта в здании Союза писателей СССР состоялся большой прием. И вновь прозвучали прекрасные слова — в честь юбиляра. Сергей Васильев, прочитав в своем переводе стихотворение Гафура-ака «К нам в дом приезжайте, друзья!», предложил

затем поднять бокалы за здоровье хозяйки этого дома.

Мухаррам-апа смутилась — я увидел это по ее лицу, по глазам. Жена великого поэта, она всегда оставалась простой и скромной, чувствовала себя неловко среди чрезмерного великолепия и пышности.

Вечером, когда мы вернулись в гостиницу, я спросил у Мухаррам-апа, о чем она думала в часы торжества.

— О чем только я не передумала, чего только не вспоминала! Ваш учитель пишет стихи по ночам: сам не спит, и мне спать не приходится. Напишет две строчки — бежит прочесть. Если я уже заснула, разбудит и прочтет... Вот я и думала, как писались стихи, которые хвалили на вечер. Вспоминала — сколько папирос было выкурено, сколько раз я заваривала и подавала чай...

Своей верной, терпеливой, никогда не жалуемой подруге поэт посвятил самые искренние, полные горячего чувства, стихи. Строки их, словно вырвавшись из глубины души, льются, как песня:

Любовь моя, ты для меня, наверно —
Вся жизнь, все, что в ней вечно,
что — мгновенно.

Заря, отрада, искренняя, верная,
Дышу тобой, иначе — не могу.

Если б любовь не пылала в сердце, если б они не прожили жизнь в мире и согласии, разве родились бы такие строки?

...Алмаз, дочь, болеет. Лежит в московской больнице. Мухаррам-апа у постели больной проводит бессонные ночи. Не умеющий переносить ни свою, ни чужую боль, Гафур-апа осунулся, на лице появились новые морщины. Мечется — из Ташкента в Москву из Москвы в Ташкент.

• Летом этого тяжелого для поэта шестидесяти второго года — мы вдвоем идем на почту. Отправляем посылку в Москву. В ней всевозможные фрукты. А кроме них — завернутые в обрызганные водой виноградные листья два пучка усьмы.

— Женщина в любых условиях остается женщиной! Этого нельзя забывать. Хоть и в больничной палате, пусть подведет брови усьмой, ей будет повеселее!

Гафур-апа был очень гостеприимен. С утра до поздней ночи принимал гостей — нелегкое дело. И все тяготы достаются женщинам. Мухаррам-апа целыми днями не выходила из кухни, не отрывалась от очага и казанов. Гостей принимала приветливо, провожала с почетом.

Гафур-апа был человеком щедрым, компанейским. Он и по хозяйству хлопотал немало. С утра шел на базар Кукча, покупал детям кислое молоко, сливки, горячие лепешки. В доме разные сладости-лакомства не переводились.

Хотя сам он был веселого и озорного нрава, с детьми умел быть строгим. И всех воспитал, вывел в люди. Ни о ком я не слышал худого слова.

Он умел приласкать ребенка, и дать

нагоняй — если детская шалость, преступив меру, становилась проступком.

С давних пор Гафур-апа лелеял одну мечту:

— Апа вечно с детьми возилась. Теперь вот внуков, что ни год, прибавляется. Когда будет возможность, увезу ее отдыхать — куда-нибудь подальше.

И эта мечта исполнилась. Вдвоем с женой они объехали всю Европу, плавали по всем морям.

Так поэт выразил свою признательность подруге жизни за все счастливые дни, что они прожили вместе, за детей, которых она с такой любовью вырастила и воспитала.

...В последний раз я встретил Гафур-апа на лестнице, что вела на второй этаж, где помещалась редакция «Мушту-ма». Это был страшный для Ташкента год землетрясения. Вместе с Мирмухсином мы отправились позавтракать. Когда сидели за столом, был новый толчок — слыше шесть баллов. Забыв о завтраке, выскочили во двор. Возвращаясь, увидели: Гафур-апа стоит, опираясь на перила. Лицо его бледно.

— Испугались, учитель? — поддержал его Мирмухсин.

Принесли из соседней комнаты стул, усадили. Гафур-апа, отдышавшись, велел мне:

— Позвони жене! Скажи, что со мной все в порядке. Спроси, как она. Не испугались ли малыши? — Потом ответил на вопрос Мирмухсина: — Да, братец, испугался. Как не бояться? Есть жена, есть дети, есть внуки. Боюсь, конечно.

Эти его слова были далеки от какой-либо поэтической возвышенности, стремления выказать свою храбрость, — простые, искренние, человеческие слова.

Как я мог знать, что в последний раз вижу этого человека?

...Любимая ручка поэта теперь лежит на письменном столе недвижимо. В кабинете тишина.

Мухаррам-апа медленно проходит по этой комнате, все еще пропитанной застарелым запахом папиросного дыма. Смотрит на книги в шкафу, на незаконченные рукописи, — долго-долго. И, может быть, ей слышится знакомый голос...

Мне в карман расческа

попала по ошибке.

Я сперва не понял, подумал:

как же так?

А жена ответила, не сдержав

улыбки:

«Это сын твой старший надевал

пиджак».

Сын — того же роста, только

чуть потоньше.

Как же он так быстро успел

меня догнать?

А ботинки носит уже на номер

больше —

Будет он по жизни широко шагать!

...Подруга поэта молча ходит по комнате. Что вспоминает она? Радость — рождение первенца? «Черное письмо» — о

гибели Джурахана на поле боя? Муки творчества, терзавшие поэта? Или радости его — избрание в Академию, славу книги «Иду с Востока»? Поздравления друзей с присуждением Государственной премии СССР? Выборы — когда он стал депутатом Верховного Совета? Или дни, когда его награждали орденами? Вот сейчас они поблескивают на пиджаке, висящем в шкафу... Или веселый круг друзей и товарищей, гостей в доме?

Все живо — все, словно было вчера...

Радио принесло добрую весть. Гафуру Гуляму присуждена Ленинская премия. Почему же он не дожил до этого дня? Сколько пришло бы гостей, как он был бы счастлив в кругу друзей, выслушивая их поздравления!

Подруга поэта — в Большом Кремлевском дворце. Получает от Председателя Государственного комитета по Ленинским премиям золотую медаль, на ко-

торой отчеканено лицо великого вождя. Рука, протянутая, дрожит. На глазах слезы. Она взволнована. Радость и горе — все вместе...

Прижав к груди написанный золотыми буквами диплом, она выходит из Дворца. Слезы льются из глаз, одна за другой.

И вот она в гостинице. Здесь, в номере, ждет ее новая радость. На столе телеграмма: «Милая мама. Наш Улуг получил Государственную премию имени Беруни. Поздравляю. Алмас».

А слезы все льются, все льются...

Говорят: «Дому, где тебя один раз угостили, поклонись сорок раз».

Дорогая Мухаррам-апа!

В вашем доме наставлял меня мой учитель. Вы расстилали для меня дастархан, разламывали лепешку.

Спасибо за вашу доброту! За вашу хлеб-соль.

Вам — эти строки...

Перевод с узбекского Зои Тумановой.

Отравители душ

Что скрывается за шумихой о «советской военной угрозе» и международном терроризме?

Систематически мы сталкиваемся с нечистоплотными попытками западных пропагандистов представить на страницах печати и в эфире в черном свете жизнь и политику социалистических стран, преуменьшить, а то и свести на нет их внушительные успехи, плоды подлинного народовластия. Истошные, истерические вопли о «советской военной угрозе», «международном терроризме», которым чуть ли не руководит Советский Союз, по замыслу атлантических политиков и пропагандистов, должны, как дымовой завесой, прикрыть опасные для дела мира, всей разрядки усиленные военные приготовления стран НАТО во главе с США. Особенно вопли о «советской угрозе» усиливаются, когда наступает время утверждать бюджеты на военные цели в ведущих капиталистических странах. «Время от времени в нашей стране,— говорилось в передаче «Голоса Америки» 3 марта 1980 года,— возникает какое-то исполненное страха убеждение, что все русские на три метра выше нас ростом и что они вдвое умнее. Советский спутник на орбите, советский авианосец в Средиземном море, переворот где-нибудь в Африке, победа на Олимпийских играх — и все это вызывает порой у американцев чувство отставания от Советского Союза. К счастью... это не так».

Тем не менее, пираты эфира, их коллеги из газет, журналов западных стран, Японии продолжают кричать о «руке Москвы», всячески запугивая своих слушателей и читателей.

В унисон с западными провокаторами действуют китайские. «Война неизбежна, — сообщалось в одной из передач «Радио Пекина», — и когда-нибудь она обязательно вспыхнет. Учитывая это, нам необходимо всесторонне усилить подготовку на случай агрессивной войны».

Кто развязывает «агрессивные войны», народы мира теперь хорошо знают. Странно, что с уроками истории не хотят считаться ведущие политические деятели США, Англии и некоторых других западных стран.

«Военная угроза над США, как и над всеми другими странами мира, действительно нависла,— говорил тов. Л. И. Брежнев на XXVI съезде партии.— Но её источник — не Советский Союз, не его мифическое превосходство, а сама гонка вооружений, сохраняющаяся в мире напряженность. С этой подлинной, а не воображаемой угрозой мы готовы бороться — рука об руку с Америкой, с европейскими государствами, со всеми странами нашей планеты. Пытаться победить друг друга в гонке вооружений, рассчитывать на победу в ядерной войне — это опасное безумие».

В декабре 1979 года на сессии НАТО в Брюсселе было решено разместить в ряде европейских стран новое американское ракетно-ядерное оружие — ракеты «Першинг-2» и крылатые ракеты, направленные против Советского Союза. Ракета «Першинг-2» с ядерной боеголовкой имеет довольно высокую точность попадания. При запуске она летит вверх, в космическое пространство и оттуда направляется к цели. Дальность полета этой ракеты — 1500—2000, а по некоторым данным 2500 километров. Это расстояние она проходит за четыре минуты. Крылатые ракеты летят на небольшой высоте от земли, и из-за этого их трудно обнаружить радиолокационными средствами. В Вашингтоне разработана пятилетняя военная программа, согласно которой ежегодно средства на вооружение будут возрастать на 4,5 процента, а если учитывать инфляцию, то на 5 процентов. Военные расходы США составят в 1981 году более 157 миллиардов долларов, а в 1982 году они превысят 200 миллиардов долларов.

Небезынтересно отметить, что решение о модернизации ядерного оружия, находящегося на территории Западной Европы, было принято еще в 1975 году. Таким образом, Соединенные Штаты Америки вместе со своими партнерами по НАТО хотят добиться превосходства в военной силе перед странами Варшавского договора. Как заявил Л. И. Брежнев в Берлине: «Социалистические страны, конечно, не стали бы безучастно смотреть на усилия натовских милитаристов. Нам пришлось бы в этом случае осуществить необходимые дополнительные шаги по укреплению своей безопасности».

Гонка вооружений, которую осуществляет военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки и других западных стран, тяжелым бременем ложится на плечи трудового населения. За последние десять лет страны НАТО затратили на вооружение 1,4 триллиона долларов. По подсчетам американского журналиста Питера Хамилла, стоимость изготовления одного бомбардировщика В-1 равняется стоимости строительства города на 50 тысяч человек. А затраты на производство одной атомной подводной лодки «Трайидент» покрыли бы все расходы на медицинское обслуживание такого города-гиганта, как Нью-Йорк. Каждый крейсер обходится США почти в миллиард долларов. Современный истребитель «F-15» стоит более 18 миллионов долларов. Подсчитано, что США каждый день расходуют на вооружение свыше 340 миллионов долларов. Постоянно растут расходы на вооружение, которое осуществляется с небывалым размахом. К 1984 году намечается бюджет Пентагона довести до четверти триллиона долларов. Уместно заметить, что расходы на оборону Советский Союз уже в течение ряда лет не увеличивает.

Курс на милитаризацию способствует росту безработицы в США и других странах Запада. Оружие с клеймом «Сделано в США» поставляется более чем в 70 стран мира. На американских штыках держатся антинародные, деспотические режимы в ряде стран. На десятки миллиардов долларов приобрел в США новейшей военной техники бывший шах Ирана. Как говорилось в заявлении ТАСС в связи с выступлением 2 января 1980 года по американскому телевидению президента США, Вашингтону явно не по нутру революция, совершенная иран-

ким народом, его намерение противостоять империалистической политике угроз и диктата. Возникает вопрос: достаточно ли взвешивают в Вашингтоне, к каким последствиям может привести попытка установления экономической блокады Ирана, оказания на него давления, каким концом и по кому в большей мере ударит эта политика?

Используя вопрос о заложниках, задержанных работников американского посольства в Тегеране, американская администрация нагнетала напряженность в американо-иранских отношениях, добивалась экономической блокады Ирана. Когда вопрос о заложниках был, наконец, решен, США не убрали из Персидского залива армаду своих военных кораблей. Американским империалистам не дают покоя революция, происшедшая в Иране, и связанные с ней перемены.

Военный бизнес считается самым прибыльным, американские короли смерти получают баснословные барыши. Прибыли оружейного бизнеса в среднем на 70 процентов выше, чем у компаний, производящих мирную продукцию. Как заявил прогрессивный американский публицист Д. Мэрфи, политика вооружения не нужна американскому народу, она нужна фабрикантам смерти. И они тут же, с готовностью, предлагают свое оружие в районы мира, где начинает складываться напряженная обстановка, например, Пакистану, территория которого используется для антиафганской подрывной деятельности. Здесь сколачиваются бандитские формирования, которые снаряжаются и обучаются своему черному ремеслу под руководством американских, китайских, пакистанских и египетских офицеров. Банды террористов готовятся и в Китае, а затем перебрасываются через границу в Афганистан, который граничит с нашей страной.

На территории Пакистана действуют более 30 специальных баз и 50 опорных пунктов по подготовке контрреволюционных банд, которые затем перебрасываются в Афганистан. Вашингтон в спешном порядке решил оказать Пакистану военную помощь в сумме 400 миллионов долларов, которую однако президент этой страны генерал Зия-уль-Хак назвал сущим «пустяком». Эта критика подействовала на американских и других покровителей. Саудовская Аравия решила предоставить «помощь» пакистанскому военному режиму в размере 700 миллионов долларов для закупок вооружения и финансирования военных банд, забрасываемых в Афганистан. Китайское правительство для афганских бандитов выделило сотни тысяч долларов. Территория Египта, как об этом заявил министр обороны этой страны Камаль Хасан Али, также используется для обучения и вооружения афганских контрреволюционеров. 22 февраля 1980 года продажные наемники, вооруженные до зубов американским, английским и китайским оружием, начали в Кабуле открыто грабить и заниматься поджогами, пытаясь вызвать в городе панику и хаос. В Кабуле было объявлено военное положение, правительство ДРА приняло решительные меры против виновников подрывных акций.

Жизнь в Афганистане входит в нормальную колею. Но западные пропагандисты по-прежнему кричат о «вмешательстве Советского Союза в дела Афганистана», стремясь до предела накалить обстановку в этом регионе. Член палаты общин от лейбористской партии Англии Р. Браун, побывавший в Афганистане, заявил на одной из встреч с общественностью: «Дожив до седых волос, я все еще сохранял кое-какие иллюзии в отношении нашей буржуазной прессы. Поэтому, отправляясь в Кабул, я откликнулся на просьбу одной из лондонских газет и взял с собой достаточно пленки, чтобы сделать для нее снимки. Когда же мы вернулись домой, я обнаружил, что ни мои снимки, ни моя готовность написать правду о положении в Афганистане никого не интересуют. Единственной фотографией, опубликованной в английской печати, стало изображение установленного в центре Кабула танка — памятника

революции 1978 года. Но и смысл этого кадра был полностью извращен. Под снимком поставили подпись, утверждающую, будто это танк, возглавлявший «советское вторжение в Афганистан». Один известный сатирик заметил, что в буржуазных газетах соответствует истине только одно: дата их выпуска. После истории со снимком я начал сомневаться даже и в этом...»

Готовые ради наживы совершить любую подлость и даже преступление, эти гангстеры от журналистики продали свое перо и совесть «денежным мешкам». Недавно афганская газета «Хакикате янкилабе саур» сообщила об участии комментатора американской телевизионной компании Си-би-эс Дэна Разера в кровавой расправе над тремя афганскими рабочими. Американские журналисты, в их числе Дэн Разер, переодетые в национальную афганскую одежду, с кино- и фототехникой, пришли в банду басмачей, которые схватили в одной из деревень трех рабочих, занимавшихся очисткой оросительного канала. Дэн Разер, незаконно перешедший границу Афганистана, приказал бандитам забросать этих взятых в плен рабочих камнями, а затем отрезать им головы. Вся эта кровавая расправа, сообщила газета, снималась на киноплёнку и фотографировалась американцами.

Министерство иностранных дел ДРА представило посольству США в Кабуле в связи с этим ноту протеста, потребовав судебного разбирательства и наказания убийц трех афганских граждан. Однако американские власти продолжают хранить молчание по поводу этого кровавого убийства, а Дэн Разер поочередно с Уолтером Кронкайтом ведет до сих пор на Си-би-эс обзор международных новостей.

Подобным образом поступил и итальянский журналист Мино Дамато. Он вместе с бандами незаконно проник на территорию Афганистана. В своих репортажах, переданных по государственному каналу итальянского телевидения, он пытался уверить аудиторию в том, что советские войска будто бы применяют против мирного афганского населения... газ и напалм. Но доказательств, разумеется, никаких не представил.

В заявлении Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки констатируется: помощь, оказываемая Советским Союзом Афганистану, не направлена против какой-либо из соседних стран... Не Советский Союз, а именно Соединенные Штаты создали густую сеть военных баз на территории иностранных государств. С конца второй мировой войны, подчеркивается в этом заявлении, США 215 раз прибегали к военным акциям против других государств, включающих применение силы или угрозу силой.

Не Советский Союз, а Соединенные Штаты Америки держат свои войска в 114 странах. Более того, вокруг нашей страны находится 386 военных американских баз. Следует напомнить и о том, что, как стало известно, еще в 1945 году американская военщина готовилась совершить атомное нападение на Советский Союз, ударить по 20 его крупным городам, таким, как Москва, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Ленинград, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбилиси, Кузнецк, Грозный, Иркутск, Ярославль. Статистики из Пентагона подсчитали, что 196 атомных американских бомб, сброшенных на эти города, помимо колоссальных разрушений, превратят в пепел 13 миллионов советских людей, в том числе стариков, женщин, детей. Американский империализм разработал не менее чудовищный и опасный план «Дропшот» — план атомной войны против СССР в 1957 году.

Вот какое злодеяние готовили политические и военные деятели США, которые ныне больше всех кричат о «советской военной угрозе». Мир может еще раз убедиться, чего стоят эти вопли и уверения в приверженности «политике мира и сотрудничества». Сомневаться в наличии

дьявольских планов американского империализма теперь не приходится: имеются подлинные документы, с которых снят гриф: «Совершенно секретно. 3-я степень секретности. Пересматривается каждые 12 лет. Не подлежит автоматическому рассекречиванию». Кстати заметим, что и планы атомного нападения на Советский Союз содержали легенды о «советской военной угрозе». Это говорилось в 1945 году о Советском Союзе, который только что победоносно завершил войну с фашистской Германией.

Воспользовавшись событиями в Афганистане как поводом, администрация США в одностороннем порядке стала свертывать экономические, научные и культурные связи с Советским Союзом. Было объявлено о «замораживании» ратификации договора об ОСВ-2, наложено эмбарго на поставки в Советский Союз зерна и современного оборудования и организован бойкот Олимпийских игр в Москве. Эти «санкции», атмосферу милитаристского психоза Дж. Картер пытался использовать в предвыборной кампании, в борьбе за президентское кресло, но потерпел сокрушительное поражение.

По мнению авторитетных зарубежных политических обозревателей, американские избиратели в своем большинстве голосовали не столько за Р. Рейгана, сколько против Дж. Картера, который показал свою явную несостоятельность как в международных, так и внутренних делах.

Нельзя сказать, что психоз, страх перед выдуманной «советской угрозой», нагнетаемый в корыстных целях некоторыми политическими деятелями, военно-промышленным комплексом и верно служащими им средствами массовой информации, не оказывают никакого влияния на широкие массы американцев. В ряде районов США началась настоящая паника. Этим, как всегда, воспользовались ловкие бизнесмены. Люди, запуганные ядерной катастрофой, начинают строить «дома выживания» с подземными убежищами и парниками, приобретают в большом количестве продовольствие, консервы и оружие. Создаются курсы для тех, кто хочет остаться в живых при «всеобщем пожаре». За прохождение этих курсов взимается немалая плата. И, как следствие этого, растет в США число людей, страдающих психическими расстройствами.

Выступая на встрече с избирателями в Москве, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. Л. И. Брежнев заявил: «Доктрине военной истории и лихорадочной гонки вооружений мы противопоставляем доктрину последовательной борьбы за мир и безопасность на земле. Мы верны Программе мира, выдвинутой XXIV и XXV съездами нашей партии. Поэтому теперь, в восьмидесятые годы, как и ранее, в семидесятые, мы стоим за укрепление, а не за разрушение разрядки. За сокращение, а не раздувание вооружений. За сближение и взаимопонимание между народами, а не за искусственное отчуждение и вражду».

С самого своего рождения Советское государство борется за мир и международную безопасность. И первым законодательным актом Советской республики был, как известно, Декрет о мире, в котором содержались ленинские принципы международных отношений: борьба за предотвращение войн, пролетарский интернационализм, установление равноправных отношений между странами.

В течение более шестидесяти лет наша страна настойчиво и неуклонно, с неослабевающей энергией и последовательностью борется за укрепление всеобщего мира, разоружение, исключение войн из практики международных отношений между государствами для разрешения возникающих споров и противоречий. Советская страна первой среди стран мира выступила в 1922 году на Генуэзской конференции с программой всеобщего сокращения вооружений. Разработала и внесла конвенцию по этим же вопросам на Всеобщей конференции по разору-

жению в Женеве в 1932—1934 годах. На международной конференции по разоружению, которая состоялась в декабре 1922 года в Москве, советская делегация внесла предложение сократить численность армий стран — участниц конференций на 75 процентов. Отстояв завоевания Октября, Советский Союз в 1924 году сократил свои 5-миллионные Вооруженные Силы до 600 тысяч человек. В последующие годы наша страна прилагала гигантские усилия для достижения благородных целей — укрепления мира во всем мире.

Громадное значение для обеспечения международной безопасности имеют решения XXVI съезда Коммунистической партии Советского Союза. Программа мира, выдвинутая нашей страной, предусматривает целый комплекс конкретных крупных задач, в том числе: заключение договоров, ставящих под запрет ядерное, химическое, бактериологическое оружие; прекращение всеми государствами испытаний ядерного оружия; содействие созданию безъядерных зон в различных районах мира, борьбе за ядерное разоружение всех государств, обладающих ядерным оружием; активизацию движения за прекращение гонки вооружений всех видов, ликвидацию иностранных военных баз, за сокращение вооруженных сил и вооружений в районах, где военное противостояние особенно опасно; осуществление мер доверия во всей Европе, а также на Дальнем Востоке; ограничение развертывания новых подводных лодок; установление моратория на размещение в Европе новых ракетно-ядерных средств средней дальности стран НАТО и СССР и т. д.

Советский Союз, потерявший в минувшей войне 20 миллионов своих сыновей и дочерей, вместе с другими социалистическими странами настойчиво борется за успешную реализацию Программы мира, за сокращение вооружений, развитие экономических, культурных и других связей между странами с различной социальной системой. С этой целью за последние годы Советский Союз выступил более чем со 100 крупными предложениями, которые были встречены с большим одобрением и признательностью всей мировой прогрессивной общественностью.

Трудно, пожалуй, переоценить и предложение Советского Союза, изложенное Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым в Берлине на торжественном заседании, посвященном 30-летию образования ГДР. Советский Союз принял решение сократить в одностороннем порядке численность советских войск в Центральной Европе. Из ГДР в течение года выведено 20 тысяч советских военнослужащих, 1000 танков, а также некоторое количество другой военной техники. Л. И. Брежнев обратился с призывом к правительствам стран НАТО серьезным образом оценить инициативы социалистических стран и последовать доброму их примеру.

Однако до сих пор страны НАТО не ответили полезными, конструктивными делами на новую ценную советскую инициативу. Более того, нынешние правители США упорно пытаются добиться размещения в Европе нейтронных бомб, вопреки ярко выраженной воле народов этих стран. Синхронно сдиржированные крики о мнимой «агрессивности Советского Союза», «международном терроризме», когда происходят какие-либо прогрессивные преобразования в странах Юго-Восточной Азии, зоны Персидского залива или Африки, — для нас не новость.

Новая американская администрация, которая пытается обвинить Советский Союз и национально-освободительные движения в «международном терроризме», всего лишь повторяет утверждения буржуазии середины 20-х годов о том, что рабочее движение и терроризм — это, мол, одно и то же. Время опровергло этот злонамеренный вздор. За шумихой, развернутой в настоящее время в США, видна боязнь современной буржуазии, постоянно применяющей насилие, самой подвергнуться насилию со стороны других классов. Но ход исторического раз-

вития неодолим, его нельзя остановить запретами или проклятиями. За последние двадцать лет более 70 стран освободились от колониального угнетения. Да и сами США обрели независимость, самостоятельность благодаря антиколониальной революции.

В 70-е годы, как это отмечалось на XXVI съезде КПСС, фактически завершилась ликвидация колониальных империй. Совершились революции в Эфиопии, Афганистане, Никарагуа, свергнут деспотический шахский режим в Иране. Под предлогом борьбы с международным терроризмом руководители США хотят проводить старую, изжившую себя политику диктата и грабежа национальных богатств государств Ближнего, Среднего Востока и других регионов. Стремление народов к свободе и национальной независимости американский империализм представляет незаконным и даже аморальным явлением. По Рейгану и Хейгу выходит, что каждый революционер — это террорист. Но мир развивается по своим законам, нравится это или не нравится господам капиталистам и их слугам. Администрации Р. Рейгана не мешало бы обратить самое серьезное внимание на борьбу с терроризмом в США. Здесь ей найдется действительно много нужной работы.

Буржуазия всегда прибегала к откровенной лжи и гнусной клевете в отношении внутренней и международной политики Советской страны, ее достижений в экономическом и культурном развитии, повышения жизненного уровня народа. Пропагандистский камуфляж, большая ложь, которую распространяют средства массовой информации США и других западных стран о внешней миролюбивой, принципиально выдержанной политике Советского Союза, направленной на предотвращение третьей мировой войны, укрепление добрососедских отношений между государствами, вряд ли смогут и на этот раз ввести в заблуждение народы мира, прогрессивное человечество. Ведь они судят о политике государственных деятелей различных стран не по их словам, а по конкретным, реальным делам.

Инакомыслие по-американски

Из-за океана не прекращаются набившие всем оскомину фальшивые проповеди о правах человека, в том числе инакомыслии. И предназначаются они, по всему видать, не для своих соотечественников, а главным образом для зарубежной аудитории. Это не случайно. Миллионы американцев давным-давно узнали подлинную цену демагогическим разглагольствованиям политиков о так называемых «свободах» и «благах», существующих в цитадели капитализма — США.

Особенно остро на себе это ощущают безработные, которые составляют в настоящее время более чем 8-миллионную армию. А всего в развитых капиталистических странах насчитывается 19 миллионов безработных. Правда, многие из западных пропагандистов не раз предпринимали попытку представить их жизнь как безмятежный, сплошной праздник. У занятых деловых людей, мол, масса всяких обязанностей, они мало имеют свободного времени. А у безработных его хоть отбавляй. Какой простор для развития способностей, различных хобби!

Подобные рассуждения никого не могут ввести в заблуждение, они воспринимаются как еще одно гнусное надругательство над людьми, чувствующими себя обездоленными в мире капитала. «На сегодняшний день в Америке без работы прозябают миллионы трудоспособных граждан, — утверждает профсоюзный активист из Калифорнии Юджин Зволински. — Разве это не вопиющее нарушение одного из основных человеческих прав! Теряя надежду найти себе достойное применение, — продолжает он, — обездоленные теряют и чувство человеческого достоин-

ства, нередко под давлением беспросветного отчаяния превращаются в преступников».

Кстати сказать, в Советском Союзе давно покончено с безработицей. Право на труд гарантируется и обеспечивается всем советским гражданам.

Сейчас вряд ли кто из серьезных и честных политиков США станет, не кривя душой, говорить о свободомыслии в собственной стране. Здесь самым грубым и жестоким образом подавляется малейшее проявление свободомыслия.

И когда 17-летний школьник из штата Огайо Артур Ивенчик, еще не знающий американской действительности и смотрящий на нее через розовые очки, написал статью «Право на инакомыслие», ему отвалили за нее 10 тысяч долларов. Журнал «Америка», издающийся на русском языке, с удовольствием напечатал этот наивный опус с портретом автора на всю страницу¹. «Главное в инакомыслии,— поучал незадачливый юнец,— это его фундаментальная роль в американской философии. Это краеугольный камень личной свободы, гарантированной Биллем о Правах и всеми законами, принятыми после него. Право не соглашаться с общим мнением выделяет человека как личность, способную мыслить и решать самостоятельно. Это право выражается также в свободе слова и печати и является гарантией этой свободы».

Вот уж на этот раз не скажешь, что устами младенца глаголет истина. А истина в том, что Соединенные Штаты Америки давным-давно превратились в полицейское государство, где подавление гражданских прав американцев и политические репрессии стали, к сожалению, повседневной практикой. Вспомним Сакко и Ванцетти — этих рабочих-эмигрантов, которых американские мракобесы посадили на электрический стул лишь за то, что они проявили инакомыслие, участвовали в забастовках и демонстрациях, собирали денежные средства для обездоленных трудящихся. Лишь спустя 50 лет после их трагической гибели губернатор штата Массачусетс заявил, что итальянские рабочие были казнены напрасно, что им «было отказано в справедливом суде». Это признание вряд ли меняет положение вещей, политическая инквизиция в Америке процветает и сейчас. Более того, она приобрела невиданные ранее масштабы. Не случайно Эндрю Янг, будучи постоянным представителем США при ООН, заявил: «В наших тюрьмах имеются сотни, а может быть даже тысячи людей, которых я назвал бы политическими заключенными. Десять лет тому назад я сам был привлечен к суду в Атланте за организацию движения протеста»...

К 282 годам тюрьмы незаконно приговорена «улмингтонская десятка», боровшаяся за гражданские права в Северной Каролине. Министерство юстиции США недавно признало, что эти люди осуждены незаконно. Однако обвинение с них до сих пор не снято.

Джона Харриса без законных оснований обвинили в уголовном преступлении расисты Алабамы. «Джон Харрис не насильник, не вор, не убийца,— заявил руководитель американского Национального союза борьбы против расовых и политических репрессий Майерсен.— Он в тюрьме потому, что он стал политическим активистом... Мы говорим всем честным людям Америки и мира: спасите его!» Недавно его выпустили из тюрьмы под залог. Спасти этого свободомыслящего и, безусловно, невинного американца очень и очень трудно, ибо американская Фемида не только с завязанными глазами, но и плотно заткнутыми ушами — она не слышит голоса справедливости, тех, кто всю жизнь работает, но не располагает многомиллионным состоянием. Американская повседневная действительность подтверждает горькую

¹ «Америка», 1977, № 247, стр. 48—49.

истину: здесь почти всегда прав тот, кто богат. А кто недоволен существующими порядками в стране, того ждут крупные неприятности, жестокие расправы. Вспомним всемирно известного актера и кинорежиссера Чарли Чаплина. Как беспощадно его травили и преследовали в Америке, пока он не оставил эту страну. И все это делалось из-за того, что Чарли Чаплин посмел высказать критическое мнение о США, высмеять в своих фильмах алчных, тупых и жестоких капиталистических воротил, идущих ради обогащения, прибылей на любые преступления. Спустя десятилетия так же обошлись с Дином Ридом — замечательным певцом, мужественным борцом за гражданские права. «Меня арестовывали в общей сложности пять раз, в том числе и в Чили, — рассказывал Дин Рид во время пребывания в Советском Союзе. — Последний раз меня подвергли аресту в США в 1978 году — за «нарушение общественного порядка». Нас бросили за решетку только за то, что мы посмели во всеуслышание обвинить крупные корпорации в безжалостном разорении мелких фермерских хозяйств... Но я не могу молчать, зная, что в настоящее время сотни тысяч человек брошены в тюрьмы США по политическим мотивам. Я не могу молчать, зная, в каком угнетенном, бесправном положении находятся 25 миллионов моих черных сограждан, каким изощренным преследованиям подвергаются коренные жители Америки...»

Мелкие фермеры, о которых говорил Дин Рид, не только страдают от корпораций, инфляций, но и разгула многочисленных гангстерских банд. Эти банды вынуждают фермеров продавать за бесценок лучшие земельные участки, крадут скот. Имея в своем распоряжении передвижные холодильники, гангстеры уничтожают стада коров и овец, погружают их в эти емкости и быстро скрываются. Полиция, зачистую действующая заодно с преступниками, обычно сообщает в таких случаях: «Грабителям удалось скрыться в неизвестном направлении».

Американские фермеры здорово пострадали и в результате пресловутого запрета на продажу зерна Советскому Союзу. Убытки фермеров составили многие миллионы долларов.

Примечателен и такой факт: в архивах зловещей американской охраны — ФБР — хранятся отпечатки пальцев 160 миллионов американцев. Сотни тысяч граждан этой страны при приеме на работу подвергаются проверке на детекторе лжи. Что может быть унижительнее и бесстыднее этой процедуры?!

Террористические организации, а их в США насчитывается более десяти, систематически совершают убийства неугодных деятелей по политическим мотивам. А всего в этой стране от убийств гибнет ежегодно более 20 тысяч человек. США до сих пор укрывают от справедливого возмездия террористов отца и сына Бразинских, хотя они угнали советский самолет, убили стюардессу и ранили трех человек.

Американские средства массовой информации и пропаганды, которые любят кичиться своей «независимостью» и «объективностью», распространяют на весь мир злобные небывлицы о жизни в Советском Союзе и других странах социализма, приклеивают ярлыки «преступников» и «красных смутьянов» к честным, мужественным американцам, выступающим за подлинное равноправие в Соединенных Штатах Америки, за мир и дружбу между народами.

Объективно мыслящих американцев, приезжающих в нашу страну, удивляет та атмосфера подлинной дружбы и взаимопомощи, которая царит в отношениях между людьми различных национальностей.

Видно, не от хорошей жизни печать, телевидение и радио Соединенных Штатов Америки, как и других западных стран, делают судорожные, жалкие попытки представить социалистические страны как государства, где якобы самым «жестоким образом» подавляются права и свободы граждан. Причем, буржуазные пропагандисты не брезгают

представлять в качестве «борцов» людей самой сомнительной репутации, различного рода отщепенцев и уголовников.

Дж. Картер, будучи президентом Соединенных Штатов Америки, принял уголовного преступника с тремя судимостями Буковского, выдворенного из Советского Союза. Перед публикой Буковского представляют «писателем», «борцом за гражданские права», хотя он в свое время с трудом закончил среднюю школу, сочинял только клеветы и клевету.

Добровольно поставлял некоторым западным корреспондентам всевозможные слухи и небылицы о жизни в Советском Союзе и Амальрик. Будучи в Париже, этот страдающий непомерным себялюбием гастролер решил самочинно встретиться с президентом Франции, а когда ему в этом было отказано, нарушил существующие правила и был арестован местной полицией. И вот этих и подобных им так называемых диссидентов буржуазная печать стремится выдать за «истинных борцов» за гражданские права, вызвать к ним какое-то сочувствие.

Буржуазные радиочлены имеют постоянное пристрастие к писаниям и различным литературным упражнениям подобных отщепенцев, которые за определенную мзду поставляют их, чтобы еще раз продемонстрировать свою холуйскую привязанность к «западным хозяевам» и зоологическую ненависть к бывшей Родине, оставленной и преданной ими в погоне за весьма сомнительными ценностями капиталистического образа жизни. Писания эти, отравленные антисоветизмом, с литературной точки зрения, как правило, не выдерживают никакой критики. А фактическую основу «заменяют» вздорными выдумками и оголтелой клеветой на советский народ и его боевой авангард — Коммунистическую партию. Бывший американский посол в СССР Д. Бим писал в своих мемуарах: «Солженицын создавал трудности для всех, имевших с ним дело... Первые варианты его рукописей были объемистой, многоречивой, сырой массой, которую нужно было организовать в понятное целое... Они изобиловали вульгаризмами и непонятными местами, которые нужно было редактировать». Спецы из ЦРУ, видимо, немало потрудились, чтобы привести в должный вид сочинения господина Солженицына, проникнутые ненавистью к русскому народу и его историческим свершениям. Центры империалистической пропаганды охотно передавали и передают в эфир «труды» Солженицына, Сахарова, Максимова, Плюща и некоторых других отщепенцев. Под видом литературных произведений, мемуаров выдаются злобные небылицы и низкопробные пасквили, ничего общего не имеющие с советской литературой, громадные достижения которой признаны всем миром. Но идеологические авантюристы упорно стараются не «замечать» настоящих советских писателей и по-прежнему всячески привлекают и щедро подкармливают шавок и мосек из различных антисоветских подворотен. Как тут не вспомнить слова великого баснописца: «Ай, Моська! знать она сильна, что лает на слона!»

Рядовые американцы, англичане, трудящиеся других западных стран возмущены шумихой, которая была искусственно раздута по поводу якобы существующих нарушений прав человека в Советском Союзе. Американец Таунс из Балтимора написал в советское посольство: «У нас (то есть в Америке — прим. А. Е.) права человека нарушаются больше, чем в какой-либо другой стране». Английский рабочий из города Дерби, ветеран второй мировой войны М. Л. Фоукс, в своем письме пишет о Буковском: «Мы не желаем, чтобы он здесь, в Англии, распространял антисоветскую пропаганду против своей собственной бывшей родины, чья победоносная Красная Армия во время кровопролитной войны с нацистской Германией сделала все, чтобы спасти народы мира от векового фашистского рабства...»

Ведь достаточно только один раз взглянуть на эти зловещие лица предателей Солженицына и Буковского,— чтобы безошибочно определить, что они являются не кем иным как себялюбивыми эгоистами, о чем, впрочем,— добавляет английский рабочий,— они сами открыто заявляли с экранов английского телевидения.

Итальянец Уго Пульгер из Триеста написал в газету «Унита»: «Я... рядовой пенсионер, которому приходится сбивать ноги о камни мостовых и торговать вразнос цветами, чтобы хоть немного подработать к своей жалкой пенсии. Я часто задумываюсь о том, чего добиваются эти... диссиденты. Может быть, они хотят, чтобы на их родине, которой они изменили, началось разложение, охватившее сегодня Запад? Пусть наши журналисты вдумаются в то, что происходит, пусть будут объективнее в своих высказываниях и поймут, что восхваляют иуд, которые исходят желчью, говоря о земле, где они родились».

Многие американские политики бесцеремонно пытались вмешиваться во внутренние дела Советского Союза под прикрытием мифа о нарушении прав человека и в то же время закрывают глаза на беззакония, применяемые против настоящих борцов за гражданские права в Соединенных Штатах Америки, постоянный рост безработицы, инфляцию, разгул организованной преступности, поддержку реакционных режимов, в том числе клики Пиночета в Чили и военной хунты в Сальвадоре.

Не кто иной, как сам президент США Р. Рейган в одной из своих речей в начале 1981 года признал: «Почти 8 миллионов американцев сейчас без работы. Эти люди хотят трудиться, но проходят месяцы, и их охватывает отчаяние. Угроза увольнения и безработицы висит над другими миллионами людей, а те, кто работает, приходят в отчаяние из-за того, что не могут угнаться за инфляцией... Федеральные налоги для средней семьи возросли на 67 процентов».

Государственный корабль, отметил далее президент, стал неуправляемым.

Как говорится, дальше идти некуда. И в этих условиях американская администрация пытается учить другие государства, как им вести свои экономические и политические дела, предписывая им некий кодекс поведения.

Перебежчики, предатели, пасквилянты с темным прошлым у микрофонов западных радиостанций, со страниц реакционных газет и журналов пытаются учить советских людей демократии, как понимать свободу, ценности жизни. Трудно придумать что-либо более кошунственное и постыдное, чем эти бесконечные спектакли с насквозь лживой игрой.

«Было бы, однако, неправильно смешивать оголтелый антисоветизм американской прессы, состоящей на службе у большого бизнеса,— замечает американский публицист М. Дэвидоу,— с истинными настроениями широких масс американского народа. Одним из самых разительных противоречий сегодняшней Америки и является контраст между антисоветской кампанией, ведущейся монополистической прессой и реакционными силами, с одной стороны, и стремлением к объективному познанию Советского Союза, к дружбе с советским народом — с другой».² Думается, это замечание справедливо и по отношению к населению других западных стран.

В тюрьмах Соединенных Штатов Америки, по сообщениям зарубежной печати, находится почти 250 тысяч человек — самое большое количество заключенных за время существования этой страны. Многие американцы погибают без суда и следствия от рук разъяренных держиморд — полицейских.

² «Труд», 13 марта, 1980 г.

И как тут не вспомнить слова поэта:

Опять о правах человека?
Но дайте мне слово сперва:
у мастера бокса
и бега
в Америке есть ли права?
...Не нам,
а сынам вашим горько,
вы ввергли их в глупый обман,
их слезы победы, восторга
не хлынут на телеэкран...
Напрасно вы будете тщиться
всучить современникам ложь...
Истории честны страницы,
к ней доллары не подберешь!

Когда создавалась радиостанция «Голос Америки», предполагалось, что большинство материалов она будет готовить о США, их народе, стоящих перед ним трудностях и проблемах, которых в его настоящей жизни больше, чем достаточно. На деле получилось совсем иначе. Подавляющее количество материалов идет в эфир о странах, на которые ведется вещание. Что это за материалы, мы уже говорили. Они представляют собой бесконечные попытки бесцеременно вмешиваться во внутренние дела стран вещания, учить их жить по американскому образу и подобию. Ясно, что такую духовную интервенцию гневно отвергают суверенные государства, в том числе социалистические страны, в глазах которых США не только не выглядят образцом для подражания, а, наоборот, в политическом отношении представляются анахронизмом.

Спрашивается, кто дал руководителям США право учить другие государства, как им жить и развиваться? Выступая на XVI съезде профсоюзов, Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев сказал: «Между тем претензии Вашингтона учить жить других не могут, я полагаю, быть приняты ни одним суверенным государством, не говоря уже о том, что для таких претензий не дают оснований ни положение дел в самих США, ни их действия и политика во внешнем мире.

Повторяю еще раз, — подчеркнул Леонид Ильич Брежнев, — вмешательства в наши внутренние дела мы не потерпим ни с чьей стороны и ни под каким предлогом».

Кто они — пираты эфира?

Даже в западных странах крепостями «холодной войны» называют пресловутые радиостанции «Свободная Европа» и «Свобода». В год совещания в Хельсинки вместо двух был создан один комитет — «Комитет РС и РСЕ». Увеличение финансовых ассигнований позволило американской разведке образовать на радиостанциях новые отделы и редакции, в том числе литовскую, латвийскую и эстонскую, пущены в эксплуатацию новые радиопередатчики, увеличен объем вещания.

Руководство станций, опасаясь новых разоблачений и скандалов, обязало каждого сотрудника подписать документ, который гласит: «Нижеподписавшийся поставлен в известность о том, что радиостанция «Свобода» создана ЦРУ и функционирует на его средства. За разглашение этих данных виновные будут подвергнуты штрафу до 10 тысяч долларов и тюремному заключению на срок до десяти лет».

Но шло в мешке не утайшь. Чехословацкое издательство «Обзор» выпустило книгу, подготовленную исследовательским институтом журналистики, о сотрудниках «Свободы» и «Свободной Европы». Самые ключевые посты в радиостанциях занимают американцы, большинство из них кадровые работники Центрального разведывательного управле-

ния. Среди них такие разведчики, как Роберт Ноуф, Роберт Дийн, Генри Харт, Лоренс Пар, Симон Кастелло, Роберт Редлих, Джорж Перри, Дитер Дорман, бывший второй секретарь американского посольства в Москве, Джон Лодейзен, кстати сказать, он был выдворен из СССР за шпионскую деятельность. После этого он находился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а потом перешел на радиостанцию «Свобода». Джорж Перри — это Перетякович — шеф отдела «исследования аудитории». Он неоднократно посещал Советский Союз, пытался втереться в доверие к советским гражданам, завязать с ними дружеские связи с тем, чтобы выведать побольше различных данных о наших Вооруженных Силах. Полковник ЦРУ Ралис Макс, подлинное имя — Марк Израиль — представитель «РС» и «РСЕ» в штабе НАТО. В прошлом заведовал отделом радиостанции «Свобода» в Париже. Когда приезжали советские граждане во Францию, пытался установить с ними знакомство, выдавая себя за ученого — профессора социологии и философии. Специальным политическим цензором служит Деминг фон Герд. Он также сотрудник ЦРУ и является советником директора радиостанции «Свобода» по политическим вопросам. Герд проверяет передачи перед выходом их в эфир.

В штате этой станции — немало бывших граждан СССР. Некоторые из них во время второй мировой войны, добровольно сдавшись в плен, активно сотрудничали с гестапо, а после войны с английской, американской и другими западными разведками.

Так, Лев Дудин, который у микрофонов «Свободы» выступает под именем Николая Градобоева, во время минувшей войны выдавал фашистам советских патриотов. Он был немецким шпионом, а позже начал работать на американскую разведку. В материалах гестапо есть характеристика на Л. В. Дудина, в ней, в частности, говорится: «Дудин такой человек, который из-за личных выгод продается каждому, кто заплатит больше. Кто заплатит ему сегодня на 5 рублей больше, на того он и будет работать. При Советской власти ему удивительно везло, он хорошо уживался с комсомольской организацией, а после оккупации Киева немцами повернул по ветру, а если ему будет выгодно, то продаст и германские интересы». Дудин сотрудничал в фашистской газете, а потом стал выступать у микрофонов американской радиостанции. Действительно, кто платит больше, на того он и работает, этот прислужник гестапо, на совести его немало загубленных им советских людей.

Добровольно сдались в плен гитлеровцам братья Григорий и Кузьма Кабановы, они закончили специальную школу пропагандистов, чтобы убеждать других преданно служить немецким фашистам. Теперь братья Кабановы выступают в эфире под фамилиями Калюжного и Калиновского.

Участником карательных экспедиций на Украине, а затем агентом гестапо был Л. Павловский, он прячется под псевдонимами — Пылаева, Шамрова, Октябрева.

Не лучше прошлое у В. И. Жабинского — он же «Юрасов», «Рудоль», «Савва», «Панин». В 1947 году Жабинский предал свою Родину, дезертировав из рядов Советской Армии, стал работать на «Американский комитет освобождения от большевизма».

Военный обозреватель «Свободы» Поплюйко-Натов прославился своими бесчинствами и зверствами во время оккупации Днепропетровска, а также яркими антисемитскими статьями в фашистских газетах. Обозреватель русской редакции В. Н. Вишневский в действительности является И. Н. Лапоновым, был унтер-офицером войск СС, участвовал в расстрелах советских людей. Его любимым изречением стало: «Я намерен грабить, и грабить эффективно». И он грабил, истязал, убивал. Как и его коллеги, он отравляет доверчивых слушателей духовной

скверной, чтобы сбить их с толку, вызвать лояльность, симпатии к капитализму, склонить к измене своей стране.

В фильме «Радиодиверсанты» рассказывалось о Владимире Цвирко — руководителе белорусской редакции. Он же — Сурко Вадим, Поплиска Архип. Во время второй мировой войны деятельно сотрудничал с гитлеровцами против населения Белоруссии, возглавлял банду перебежчиков в «Союзе молодежи народов СССР в эмиграции». Масштаб «деятельности» Цвирко весьма широк — от вербовщика юношей и девушек в американскую разведшколу до националиста-provokatora, пытающегося склонять к измене членов советских молодежных делегаций, выезжающих в зарубежные страны.

Редактор армянской редакции В. Ш. Мкртчян был шеф-полицаем, окончил школу разведоргана «ЦЕППЕЛИН», призывал по фронтовому радио переходить служить немецким фашистам. Он — автор брошюры под характерным названием «Я — враг большевизма». Ненависть его к СССР патологическая. Живет один, жена от него ушла. Редко бывает трезвым. Циник и подонок — так его называют даже сослуживцы.

Кадровыми сотрудниками пиратских радиостанций являются А. Г. Авторханов и М. А. Абдулкадыров из Чечено-Ингушской АССР. Оба они — отъявленные националисты, матерые преступники, вместе с немецкими фашистами бесчинствовали во время минувшей войны на советской земле.

Не менее зловещей фигурой выглядит «советник» по татаро-башкирским делам Гариф Султанов. Он выдает себя за профессора Колумбийского университета Гарипа Султана, а также «Азата Салавата». Это он, переметнувшись к фашистам в бою под Харьковом, предал своих товарищей по оружию. Он истязал военнопленных, выдал гестаповцам подпольную группу, в которой находился Муса Джалиль. Гариф Султанов участвовал в допросах и казни Мусы Джалиля. Ныне сей «деятель», «радетель» за расцвет национальных татарской и башкирской культур служит американской разведке. С серьезным видом любит рассуждать о правах человека в Советском Союзе, национальной политике Советского государства. Этот матерый уойица и предатель пытается учить нас, как жить, как понимать свободу и демократию.

Узбекская редакция радиостанции «Озодлик» окончательно скомпрометировала себя тесным сотрудничеством с так называемым «Туркестанским национальным комитетом», с предателями Вали Каюмханом и Баймирзой Хайтом.

Сотрудникам «Озодлика» страшно не нравится, что спустя много лет после минувшей войны в Советском Союзе, в том числе Узбекистане, сооружаются величественные памятники в честь героев сражений. Ведь эти памятники напоминают людям, особенно молодого возраста, о легендарном прошлом страны, о том, с каким трудом и лишениями досталась советскому народу победа. Идеологические диверсанты хотели бы видеть советскую молодежь политически размагниченной, равнодушной к прошлому и будущему страны.

В большой и неизменной тяге населения республик Средней Азии к изучению русского языка «вещатели» находят проявление «грубого русицизма», продолжают политики царизма в современных условиях. Они намеренно закрывают глаза на то, что русский язык давно стал для миллионов советских граждан нерусской национальности вторым родным языком. На XX съезде Компартии Узбекистана тов. Ш. Р. Рашидов говорил: «Могучим средством воспитания интернационализма, важным фактором сближения наций и народностей является изучение русского языка — языка межнационального общения советских людей...

Прямая обязанность партийных организаций добиваться глубокого овладения русским языком всеми трудящимися республики. Его изуче-

ние — не только путь к высотам науки, техники, культуры, искусства, но и насущная жизненная потребность, важнейшая экономическая и политическая задача, залог дальнейших успехов всей идеологической работы».

Идеологические диверсанты ясно понимают, что широкое изучение русского языка в союзных республиках в значительной степени способствует укреплению дружбы и взаимопомощи народов нашей великой страны, а они хотели бы их разъединить, отделить друг от друга китайской стеной. Беспочвенные иллюзии, напрасные надежды, к тому же неоригинальные! Подобные мечты лелеяли Гитлер и его камарилья. Что из этого вышло, хорошо всем известно.

Штаты радиостанций РС—РСЕ, «Голос Америки» пополнились более молодыми «кадрами», такими, как, например, дезертир Вадим Шелапутин, выступающий под псевдонимом Виктора Грегори. Бывший адвокат Лев Ройтман, когда жил в Киеве, решил быстро разбогатеть. Не брезговал даже взятками, но был пойман с поличным. Просился выехать в Израиль, а уехал в Нью-Йорк. В настоящее время — сотрудник русской редакции «Свободы», выступает под псевдонимом Леонида Ростова по вопросам советской юридической системы. Диктором в этой редакции числится Илона Александрович, дочь бывшего исполнителя неаполитанских песен Михаила Александровича. Правда, Илона теперь не Александрович, а Махлис. А ее престарелый папаша распевает молитвы в синагогах Америки и Канады.

С РС—РСЕ тесно сотрудничают Николай Ратченко и его жена Анита, проживающие в Париже. Кроме того, они подвизаются в так называемой Международной литературной ассоциации (МЛА), действующей под патронажем ЦРУ. Эта Международная литературная ассоциация занимается распространением враждебной литературы в социалистических странах и среди их граждан, выезжающих в западные страны. Ратченко уже за шестьдесят. Родом из Кишинева. В начале войны перешел на сторону немецких фашистов, был осведомителем в лагере советских военнопленных, учился в разведшколе фашистской армии «Зетнорд». Этот «журналист», за кого он себя теперь выдает, в прошлом участвовал в массовых расстрелах советских людей. Будучи в Берлине, готовил диверсионно-террористические группы, предназначенные для засылки в советские республики Средней Азии. Советские журналисты В. Кассис и Л. Колосов в 1979 году встретились в Париже с этим военным преступником.

— Зарабатываю кое-как на жизнь журналистикой, — жаловался он, пытаюсь вызвать к себе сочувствие. — Пишу на экономические темы... Книжки книжками. Они большого дохода не дают... Так, чего доброго, и ноги протянешь.

— На кого же вы сетуете? На капитализм, в который вы, так сказать, добровольно переселились, или на каких-то конкретных людей, окружающих вас работодателей?

Он отвечает сразу, видно, что раздражение накопилось давно, раздумывать не надо:

— Видите ли, сейчас к нам время от времени заявляются... так сказать, «свеженькие» прохвосты, которые выезжают из России якобы в Израиль, а оседают в Париже или Мюнхене. В Израиле, чего доброго, в армию можно угодить, попасть на фронт, пулю схватить. А здесь поспокойнее, поуютнее. Хапуги они. — В его словах сквозит ненависть и ревность. — Обжирают они нас, лезут в тепленькие местечки...³

Собственный корреспондент РС — РСЕ в Бонне Олег Красовский также добровольно сдался в плен фашистам в начале войны, окончил разведывательную школу власовцев. Втерся в доверие к своим хозяе-

³ «Неделя», № 20 за 1979 г.

вам, и его в 1958 году направили в Венгрию, когда там вспыхнул контрреволюционный мятеж, а позже во Вьетнам. Из Вьетнама он делал репортажи, в которых восхвалял американских агрессоров. Он, как Ратченко и другие «старички», находящиеся на службе западных разведок, люто ненавидит молодых отщепенцев, обосновавшихся в странах Запада. Между «старыми» и «молодыми» диверсантами эфира не прекращается грызня, они не могут спокойно кормиться у корыта американских разведслужб. Нередко дело доходит до громких, публичных скандалов, которые американцы, естественно, стараются как можно быстрее замаять. Прибегают при этом и к чрезвычайным мерам воздействия.

Однако вражда, драки, и не только словесные, между радиодиверсантами разных поколений продолжают. И не случайно в одном из своих заявлений они пришли к таким невеселым выводам: «Мы ведем себя, как пауки в банке», «мы самоликвидируемся».

В этой связи определенный интерес представляет высказывание о своих бывших коллегах М. Гриневской, которая в течение нескольких лет работала на РС и вернулась в Советский Союз. Перед возвращением она направила открытое письмо в западногерманские газеты и международные телеграфные агентства, в нем о радиопиратах сказано: «Все эти «борцы за права человека» способны на любую подлость и клевету. За сребреники Иуды они готовы уничтожить собственную мать. Может ли подобный сорт людей давать объективную информацию о чем-либо?! Проверку подстрекательских материалов перед тем, как их выпустить в эфир, осуществляют политические цензоры — агенты ЦРУ. В специальных отделах РС подготавливаются и рассылаются газетам ФРГ статьи, рекомендации, как извращать внешнюю политику СССР...»

Вот такое сборище преступников, шпионов и авантюристов окопалось в крепостях «холодной войны» под вывесками радиостанций. Они пытаются обмануть и поссорить народы Советского Союза и других социалистических стран.

Стоит лишь кому-либо из крупных узбекских, казахских или таджикских писателей, режиссеров и актеров выступить в печати по вопросам благотворного влияния и обогащения культур советских народов, как в эфире начинается шумиха, притворные стоны и причитания о будто бы утрате самобытности, национальных черт, а также якобы «ужасном», «нетерпимом давлении» на художественную интеллигенцию со стороны Коммунистической партии и Советского государства. Начинают подобные кампании «Свобода», «Свободная Европа», а за ними сразу же, как по взмаху дирижерской палочки, включаются «Голос Америки», Би-би-си, «Немецкая волна» и другие «голоса». Такие крики хором в эфире уже порядком всем надоели, но мастера идеологических провокаций делают вид, что этого не замечают. Всю нашу жизнь радиопираты стремятся показать в кривом зеркале.

Эту цель преследует и выпуск литературы в США и других капиталистических странах о Советском Союзе. Недавно в США изданы солидные, на первый взгляд, книги под названиями: «Русские» Г. Смита и «Россия: народ и власть» Р. Кайзера. Затем было выпущено в свет сочинение Р. Хинли «Русские писатели и советское общество. 1917—1978». Г. Смит за свой труд был удостоен Пулитцеровской премии. А. Р. Кайзер признается, что «потратил пять лет на подготовку, а затем и на написание книги». На средства фонда Форда он вместе с женой год изучал Россию и еще год писал книгу. Бывшие корреспонденты газет «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» Г. Смит и Р. Кайзер по воле своих хозяев создали сочинения, проникнутые духом вражды к первой социалистической стране. Это тот Кайзер, который в газете «Вашингтон пост» утверждал, что «холодильники и стиральные машины нельзя купить в магазинах Москвы». «Голос Америки» поспешил эту

«новость» передать на многих языках. Советские люди, слушая это, смеялись. Ведь эти и подобные товары можно без всяких хлопот приобрести не только в городских, но и сельских магазинах. Действительно, патологическая ненависть ко всему советскому ослепляет буржуазных клеветников типа упомянутого мистера Кайзера.

Г. Смит охотно встречался с различными сомнительными личностями, так называемыми диссидентами, и по их рассказам судит о нашей стране и советском народе. Р. Кайзер пытается опорочить Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которая якобы «финансировалась немцами», всячески принизить учение марксизма-ленинизма, а заодно и всемирно-исторические достижения СССР во всех областях жизни. В книге Р. Хинли, изданной в Англии и США, повторяются стереотипы антикоммунистической пропаганды, подвергаются разному ведущие советские писатели за то, что они страстно любят свою Родину и народ и верно им служат. Зато Р. Хинли не скупится на дифирамбы в адрес диссидентов, которые, по его словам, стремятся «реформировать это общество изнутри, в основном легальными средствами»⁴

Радиостанции западных стран охотно передают в эфир сочинения диссидентов, в которых они пытаются в извращенном виде представить жизнь в Советском Союзе, как-то оправдать свое предательство, заслужить благодарность у своих «хозяев» — прожженных антикоммунистов, «королей лжи и дезинформации».

В мирных условиях радиопираты, по существу, ведут «психологическую войну», стремясь затормозить процесс разрядки международной напряженности, помешать народам социалистических стран строить новое общество, о котором мечтали лучшие умы человечества.

Аудитория как у шпионских радиостанций «Свобода», «Свободная Европа», так и у «Голоса Америки» и им подобных, заметно сокращается. В годовом отчете радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа», представленном президенту и конгрессу США, есть такое свидетельство, цитируем: «Мы потеряли два миллиона радиослушателей...». Это признание сквозь зубы, на самом деле потери значительно больше.

В этом ничего нет случайного. Ведь эти радиостанции поставили зловредную и беспардонную ложь на поток. Стоит ли удивляться, что все меньше в мире находится потребителей этой духовной отравы.

Когда нет доказательств... или рецепты кухни обмана

В служебной инструкции, предназначенной для штатных сотрудников радиостанции «Свободная Европа», в числе первоочередных названы задачи:

- «— сеять вражду между народами Советского Союза и народами других социалистических стран;
- подрывать доверие к Советскому Союзу, изображая Советское государство как «неоимпериалистическую» державу;
- распространять дезинформацию, подрывать веру в военную и экономическую мощь социалистических государств, разжигать националистические чувства, восстанавливать молодежь против «отцов», ссорить подчиненных с руководителями;
- широко рекламировать преимущества «западного образа жизни».

Знакомясь с передачами западных радиостанций и материалами

⁴ А. Беляев. «Авгуры из Нового и Старого света», М., «Молодая гвардия», 1980, стр. 90.

прессе, приходишь к выводу, что подавляющее большинство их сделано именно в подобном ключе, по «рецептам», изложенным в названной пресловутой инструкции. Поэтому материалы, проникнутые духом антикоммунизма, хотя они написаны на различные темы и разными авторами, производят удручающе убогое впечатление своим однообразием, циничной бездоказательностью, дремучим невежеством идеологических шарлатанов, для которых нет ничего святого, кроме денег. За деньги они продают свою совесть и способности, превращая их в разменную звонкую монету.

Это не проходит бесследно. «Уже сегодня значительное число американцев, — пишет известный американский ученый Герберт Шиллер, — больше не верит в то, что они видят или слышат по национальным средствам информации. Цинизм, который сегодня лишь способствует укреплению статус-кво, может в иных условиях перерасти в откровенную политическую оппозицию»⁵.

Один из самых распространенных приемов буржуазной прессы, телевидения и радиовещания — это умолчание о тех благотворных и разительных переменах, которые произошли и происходят в социалистических странах с тех пор, как власть перешла в руки их народов. Этот прием далеко не нов, буржуазная журналистика им пользуется постоянно. Еще газетный магнат лорд Нортклиф изрекал: «Сила прессы — в умолчании». Средства массовой информации, принадлежащие корпорациям и монополиям, годами не публикуют объективных, правдивых сообщений о жизни трудящихся в социалистических странах, динамичном развитии их экономики, науки и культуры, миролюбивой внешней политике. В то же время страницы газет, журналов и эфир заполняются различного рода тенденциозными материалами негативного характера, в том числе о стихийных бедствиях и т. д.

Подобный подход проявляет буржуазная пресса и к развивающимся странам. Премьер-министр Индии Индира Ганди отметила, что западные средства массовой информации почти ничего не сообщают из развивающихся стран, за исключением информации о военных переворотах. Выступая в Дакке на открытии регионального семинара по проблемам массовой информации и развития, министр информации Бангладеш Хабибулла Хан заявил, что для «крупных информационных агентств, которые господствуют в мировой службе информации, хорошие вести или достижения в развивающихся странах не представляют собой новостей. Новостями для них являются лишь бедствия и неприятные вести». Да и сообщения, которые передают местные корреспонденты и спрингеры и которые распространяют западные агентства, отметил министр, в печати или по радио во многих случаях «обычно подаются в извращенной или тенденциозной форме».

Когда советские журналисты, находясь в западных странах, начинают говорить на эту тему с коллегами из буржуазных газет, то в ответ нередко слышат: «А что сообщать о ваших странах, ведь там ничего интересного для наших читателей не происходит!»

Зато многие западные корреспонденты с удовольствием публикуют различные вздорные слухи и сплетни о социалистических странах. При этом делаются ссылки, как правило, на безымянные авторитеты: «достоверные источники», «как сказал один партийный, советский работник» или «знакомый русский заявил» и т. д.

«Голос Америки», например, каждый раз, чтобы его не уличили во лжи, делает примечание: «Мнение американских газет не обязательно совпадает с точкой зрения правительства Соединенных Штатов». Словом, радиостанция поступает, как старая сплетница: «Я услышала и рассказала, а если это неправда, то я не виновата...» Так делается, в част-

⁵ Герберт Шиллер. Манипуляторы сознанием. М., «Мысль», 1980 г., стр. 200—201.

ности, радиопрограмма «Американская печать о Советском Союзе». Окрошка из обрывков различных злобных статей призвана создать впечатление объективности и беспристрастности.

Дело дошло до того, что даже текст Заключительного акта Хельсинского общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству был опубликован во всех капиталистических странах примерно тиражом всего лишь в один миллион экземпляров, а в социалистических странах — более чем в 25 миллионов экземпляров.

Умалчивают буржуазная печать, телевидение и радио о полезной, чрезвычайно трудной и опасной деятельности, направленной на защиту кровных интересов народных масс в условиях капиталистической действительности, коммунистических партий и других прогрессивных организаций. Более того, когда, например, рабочие различных отраслей промышленности Англии, объединенные в профсоюзы, начинают бастовать, требуя от капиталистов повышения заработной платы или возвращения на работу незаконно уволенных их товарищей, местная пресса и Би-би-си начинают обвинять этих трудящихся в «дезорганизации экономической жизни», «эгоизме» и прочих грехах.

А вообще-то с целью отвлечения внимания народа от неприглядной капиталистической практики, безудержного роста цен, разгула преступности, эпидемии наркомании, безработицы и т. д. средства массовой информации капиталистических стран распространяют «сенсации». О чем они? В прошлом могущественный король американской прессы Херст говорил: «Читатель интересуется прежде всего событиями, которые содержат элементы его собственной примитивной природы. Такowymi являются: 1) самосохранение, 2) любовь и размножение, 3) тщеславие. Материалы, содержащие один этот элемент, хороши. Если они содержат два этих элемента, то они лучше, но если они содержат все три элемента, то это первоклассный информационный материал».

Современная буржуазная пресса, телевидение и радиовещание, как показывают их анализы, придерживаются этих заповедей газетного магната. Целые страницы с иллюстрациями и серийные теле-радиопередачи посвящаются различным «звездам» — театральным, спортивным, их увлечениям, вкусам, а также гангстерам, их кровавым преступлениям, жизни коронованных особ, диктаторов, миллионеров.

Правда, на социалистические страны это подается в другой тональности и в весьма дозированном виде. Зато всю пропагандируются «прелести» капиталистического образа жизни, особенно для молодежи. При этом используется так называемый прием «свои ребята», рассчитанный на то, чтобы завоевать доверие у неискушенной аудитории.

Широко использует буржуазная пропаганда метод «комментированных новостей». Берется какой-либо известный факт или событие, привлекающее внимание, но трактуются они в выгодном для правящих кругов западных стран направлении. При этом создается видимость объективности и иллюзия беспристрастности. Особенно часто методом «комментированных новостей» пользуются Би-би-си, «Немецкая волна», «Голос Америки» и другие «голоса». Би-би-си часто занимается саморекламой в духе утверждений такого типа: «Мы пытаемся дать возможно более точный отчет о главных событиях», «Служба информации Би-би-си свободна и независима».

В то же время масса действительно важных и интересных, злободневных событий, происшедших в той или иной стране, остается неосвещенной в буржуазной печати. В Чили, например, в концентрационных лагерях по вине фашистской хунты гибнут тысячи ни в чем не повинных, честных людей, но об этом в выпусках новостей «Голоса Америки» или Би-би-си не услышишь разоблачительных сообщений. Как тут можно говорить об «объективности» и «беспристрастности!»

В погоне за мнимой объективностью недавно американская газета

«Нью-Йорк таймс» опубликовала текст письма к президенту США советской молодежи, участвующей в широком движении Марша мира и протеста. Под этим суровым, обличительным письмом стоят подписи двух миллионов советских людей. Текст письма советской молодежи к президенту США вначале был напечатан в газете «Комсомольская правда». При перепечатке в американской газете вдруг неожиданно возникло слово «дорогой», обращенное к президенту.

Идеологические аферисты прибегают к таким трюкам не от хорошей жизни. Еще в свое время известный американский президент А. Линкольн заметил: «Верно, что вы можете одурачивать всех людей некоторое время, вы можете даже одурачивать некоторых людей все время, но вы не можете дурачить всех людей все время».

Эти слова не потеряли своей злободневности и теперь.



П. Тартаковский

«Поэты — все единой крови...»

ЕСЕНИН И ПОЭЗИЯ УЗБЕКИСТАНА

1

Эволюция мирового искусства — сложный и непрерывный процесс, диалектика которого определяется не только социальными сдвигами самой действительности, обуславливающими ход развития национального художественного мышления, но и исторически закономерным пересечением разнонациональных культур.

Одну из главных ролей в этом процессе играет великий художник, сосредоточивающий в своем творчестве квинтэссенцию народных духовно-художественных устремлений в тех своеобразных проявлениях, которые обусловлены природой его творческой индивидуальности.

Чем крупнее и самобытнее талант, чем масштабнее и острее выражает он философско-эстетический мир национального гения, тем шире горизонты его взаимодействия с мировым искусством, с инациональными культурами. Может быть, потому он и становится великим художником, что умеет впитывать «чужое» и отдавать человечеству «свое», оставаясь самим собой и выражая душу своего народа, дух своего времени так, что становится поэтом всех народов и всех времен.

Таковыми художниками были Пушкин и Толстой, Горький и Маяковский, оказавшие наиболее глубокое воздействие на национальные литературы мира.

Сергей Есенин — автор «Пугачева» и «Персидских мотивов», стихов о Грузии и Азербайджане — также может быть причислен к этой плеяде. Вот почему он, — кажется, совсем не похожий ни по духу, ни по стилю на поэтов Советского Востока, — с давних пор вошел в их мир и в их творчество. Вобрав в себя великое

художественное богатство народов Азии, сделав его своим, Есенин сам стал для многих узбекских поэтов той поэтической классикой, которая не может не воздействовать на их художественное развитие. Именно это обстоятельство и отметил Гафур Гулям:

«...Если Есенин тянулся к Востоку, то сейчас поэты Советского Востока тянутся к нему, черпают в его поэзии то, что им органично, близко. Для меня бесспорно, что знакомство с есенинским творчеством обогатило поэзию и Рамза Бабаджана, и Шукрулло, и многих молодых лириков.

С тонким пониманием есенинского стиля, с проникновением в душу его поэзии перевел сборник стихов Есенина на узбекский язык Эркин Вахидов...»

К словам аксакала узбекской поэзии мы еще вернемся. А пока попробуем пройти по его «следам» — обратимся к тем, кто назван им в числе «наследников» Есенина в Узбекистане.

Рамз Бабаджан отмечал, что, хотя его любимым поэтом всегда был и остался Маяковский, стихи Есенина привлекли его той удивительной непосредственностью, какой ему не доводилось наблюдать и ощущать у других поэтов. Непосредственность поэтического самовыражения и была тем главным, чему Р. Бабаджану и хотелось научиться у Есенина.

Шукрулло, вспоминая свое знакомство со стихами Есенина, говорил, что до сих пор находится под обаянием какого-то колдовства лирики русского поэта, словно испытывая его боль, его счастье, ощущая тепло, холод, свет, любовь, излучаемые поэзией Есенина. Более всего привлекает Шукрулло есенинская природа, по-человечески живая в своих внут-

ренных «эмоциях», в достоверно схваченных поэтом красках, звуках, оттенках. Но главным, чему можно научиться у Есенина, Шукрулло считает желание выразить не столько себя в мире, сколько мир через себя, через живую, трепетную душу человеческую.

2

Думается, в приведенном высказывании Гафура Гуляма закономерно само движение мысли классика узбекской советской поэзии: от суждения о знакомстве с есенинским творчеством, которое не могло не обогатить поэтов Узбекистана, — к разговору о переводе (который тоже есть тип художественного взаимодействия), о возникновении в этом процессе тонкого понимания специфики стиха Есенина, о проникновении переводчика «в душу» есенинской поэзии.

Это зорко подмеченное Гафуром Гулямом явление можно исследовать на примере целеустремленной и плодотворной творческой связи с есенинской поэзией серьезного и даровитого художника — Эркина Вахидова.

Узбекский поэт прежде всего хорошо понимает и чувствует Есенина. Сложный и противоречивый путь русского собрата он точно осмысляет в статье «Певец березовых роц», где сжато переданы главные вехи есенинской эволюции, раскрыто глубокое понимание внутреннего мира большого художника, его связи с эпохой и теми явлениями, которые обуславливали развитие есенинской поэзии как одной из вдохновенных страниц мирового искусства. Как бы продолжая мысль Гафура Гуляма, Вахидов подчеркивает, что «Сергей Есенин, всей душой любивший свою Родину, близок и дорог узбекскому читателю, как и всем другим народам».

В статье о Есенине Эркин Вахидов не совершает никаких особенных открытий, но для нас важно отметить ее верный общий тон, глубину постижения творчества Есенина как своеобразной, национально-самобытной идейно-художественной системы, а также удивительно личностное отношение узбекского поэта к есенинской теме.

Эркин Вахидов вспоминал: «Познакомился я со стихами Есенина еще в школе, а студентом третьего курса филологического факультета задумал дерзкий для новичка опыт: попробовать перевести на узбекский язык знаменитые «Персидские мотивы», столь много горящие каждому человеческому сердцу и, может быть, особенно понятные и близкие нам, потомкам и наследникам великих восточных поэтов, ставших «учителями» Есенина. Перевел несколько стихотворений из «Персидских мотивов», испытывая огромные трудности: я не хотел уходить ни от мудрой тональности цикла, ни от его сложной поэтики, а выразить все это средствами узбекского стиха было необычайно трудно. Я старался сохранить многообразные способы рифмовки, сложную строфику и, по мере возможности, количество слогов в

строках, а главное — сам строй есенинских стихов, что необычайно трудно, если учесть разницу в типе ритмики русского и узбекского стиха.

Раздумывая о виде стихосложения, которое следует избрать для перевода «Персидских мотивов», я пришел к мысли о невозможности использования аруза: тогда стихи русского поэта звучали бы в стилистической манере наших восточных классиков, что сразу отделило бы их от русского оригинала, помешало бы передать самобытность цикла, который, при всей его восточной окрашенности, есть произведение русского национального таланта. По этой причине единственно возможной и художественно наиболее органичной для перевода стала метрическая система, более близкая к силлабо-тонике русского стиха, — бармак».

Действительно, Эркину Вахидову удалось во многом преодолеть огромные трудности, встающие перед поэтом, стремящимся донести до узбекского читателя дух и смысл такого общеизвестного шедевра, каким являются «Персидские мотивы».

Нередки случаи, когда рационалистическая «точность» иного переводчика способна убить романтический пафос оригинала; Вахидов же, при всей его скрупулезности в передаче деталей строфики и рифмовки (а разнообразие этих компонентов поэтики в «Персидских мотивах» поразительно), выступает не как копиист, а как художник: он передает как бы дыхание стиха, тональность размышления героя, интонацию его голоса, манеру художественного самовыражения Есенина. Русский читатель даже по первым строкам наиболее известных стихотворений цикла — по знакомому строю стиха — сразу же узнает в переводе Вахидова голос любимого поэта:

Шахинам, о менинг Шахинам...

Здесь не просто сохранен размер, метр есенинского «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», но передан в первой же, ведущей весь ритм стихотворения строке горький, трагический вздох о грустной судьбе, о расставании с любимой, о прошедшем счастье уходящей любви.

Или так же раздумчиво, как у Есенина, в стиле сказания, прелестной восточной сказки звучит у Вахидова известный пролог девятого стихотворения цикла «В Хоросане есть такие двери...»:

Хуросанда бир дарбоза бор...

Наоборот, одно из заключительных стихотворений «Персидских мотивов», с его мучительной темой прощания, с метаниями духа, с отчаянием и надеждой, раскрыто узбекским поэтом в ритме мятущемся и тревожном. Его страстный рефрен: «Талпинма куп, девона кунгил» («Глупое сердце, не бойся!...») так же, как у Есенина, выражает и боль, и мудрость понимания тщетности поисков счастья, и другую мудрость — веры в то, что оно все-таки придет...

Оценивая переводы поэзии Есенина на узбекский язык, выполненные Вахидовым, А. Мухтаров справедливо замечал: «От Эркина Вахидова требовалась не только вдумчивость, но и особый подход к каждому есенинскому слову. Переводы Вахидова сбладают многими достоинствами. Во-первых, он доказал, что выполненные с любовью и глубоким влечением к оригиналу переводы, принадлежащие перу одного поэта, обладают неоспоримым преимуществом перед собранием переводов разных поэтов. Во-вторых, переводы Вахидова свидетельствуют о тонком слиянии мыслей и чувств переводчика с эмоциями и духовным миром русского художника, результатом чего является такое звучание есенинских стихов, словно они были написаны на узбекском языке». «Когда Вахидов переводит Есенина, мы слышим биение его сердца»¹, — несколько цветисто, но по сути верно отмечает критик.

Как удалось узбекскому поэту войти в мир Сергея Есенина?

Поэзия относится к числу явлений, постижение которых не подвластно одному лишь уму. Она требует духовно-эмоциональной близости и огромного внутреннего напряжения души. Именно такими были чувства Эркина Вахидова, когда он взялся за перевод Есенина на узбекский язык. По словам самого поэта, он стремился вначале не к «воспроизведению эквивалента», а к перевоплощению в лирического героя Есенина. Прежде всего стихи заучивались наизусть, становились частицей мира самого Вахидова, делались словно его собственными ощущениями, мыслями, чувствами, а уж потом началась работа над строкой и стихом, над поисками изобразительных средств. Узбекский поэт подчеркивал нерасчлененность этого сложного процесса на отдельные грани, ибо, хотя перевод — труд длительный и тяжкий, его смысл и существо (когда речь идет о стихах Есенина, любимых с юности), по мнению Вахидова, ближе к понятию вдохновения.

Первым судьей и ценителем «есенинских» переводов Эркина Вахидова была Зульфия. Знаток мировой поэзии и большой художник, она сумела по достоинству оценить поиски и дерзания тогда еще молодого поэта: «Персидские мотивы» в переводе Вахидова получили ее одобрительный отзыв. Мало того, именно Зульфия подсказала Вахидову те, по ее мнению, особенно значительные произведения Есенина, которые следует перевести в первую очередь, чтобы сборник стихотворений русского поэта (а о таком сборнике речь зашла сразу же) мог дать достаточно полное представление о Есенине узбекскому читателю. Среди названных Зульфией были «Русь советская», «Баллада о двадцати шести», поэма «Анна Снегина», вскоре переведенные Эркином Вахидовым на узбекский язык.

С той поры прошло более двадцати

лет. Уже две книги Сергея Есенина в переводе Вахидова встали на полки любителей поэзии в Узбекистане. Помимо названных произведений, переведены «Песнь о великом походе», «Ленин», «Капитан земли», «На Кавказе», «Собаке Качалова», «Письмо матери», «Стансы», «Русь уходящая», «До свиданья, друг мой, до свиданья...» и ряд других. Сам выбор стихотворений не только широк, но и способен открыть узбекскому читателю «живого» Есенина, с его подлинной душой, с его метаниями и поисками человеческой правды и великих истин века, с его радостями и печальями, тревогами и горьким, трагическим финалом. В переводах Вахидова воплощен мир удивительной лирики Есенина, масштабность его эпических замыслов в балладах и поэмах, протянуты нити от Есенина к великой поэзии Востока, ощущаемые с такой силой в немеркнущих «Персидских мотивах».

Огромная работа, которую можно назвать подвигом переводчика, не считается им завершенной. Впереди — новые переводы Есенина, новая книга стихов, ибо Есенин, по словам Эркина Вахидова, должен быть известен узбекскому читателю максимально широко — как один из художников мирового масштаба, представляющих новую, советскую классику.

3

Можно ли столь близко, как это произошло Э. Вахидову, прикинуть к глубокому источнику есенинского вдохновения и не впитать в себя его мудрость, частицу его поэтической души?

Разговор о художественных влияниях и взаимодействиях всегда сложен и далек от однозначных решений. Тем не менее Эркин Вахидов, видимо, прав, говоря о несомненном воздействии поэзии и поэтики Есенина на свое творчество. Если говорить не о прямых соответствиях или сходстве тем, проблем, образов, а о создании атмосферы внутреннего органичного лиризма, о духовной и сердечной самоотдаче лирического героя, о тонкости передачи переживания влюбленного сердца, то трудно не заметить определенное родство цикла Вахидова «Из кавказской тетради» с есенинскими «Персидскими мотивами». Так, явное воздействие «Шаганэ», не отрицаемое и самим узбекским поэтом, ощущается в лирической стихии вахидовской «Азгануш» и «Прощанья»:

Ах, Азгануш моя,

ах, Азгануш!

За этими горами край далекий.

Мечтаю о слиянье наших душ,

Ах, Азгануш моя,

ах, Азгануш...

До свиданья, Севан светлоглазый,

До свиданья, Кура и Зангу.

До свиданья, вершины Кавказа,

Позабить я вас не смогу.

О, какое высокое счастье,

¹ «Шарк Юлдузи», 1971. № 10, стр. 221.

Что увидел я эти края,
Эти жаркие краски и страсти,
Азгануш, чаровница моя!²

Думается, и в книге газелей «Диван молодости», наряду с мотивами, навеянными лирикой Хафиза и Навои, с традиционными образами из арсенала восточной классики и фольклора, есть также и элементы стилистики и образного строя, восходящие к работе поэта над переводом «Персидских мотивов», — к проникновению его (еще раз вспомним Гафура Гуляма) «в душу поэзии» Сергея Есенина. Не случаен и давний замысел Эркина Вахидова — создать цикл из 16 газелей по типу есенинского цикла, где иной герой в иных пространственных и временных обстоятельствах мог бы выразить мир своей души, счастье и грусть современника, отношение к любви и песне, к Родине и женщине с силой лирического прозрения и душевного самораскрытия, достойной великого образца.

Конечно, Э. Вахидов, много лет принаикающий к прекрасному роднику есенинской поэзии, ощутил ее воздействие в большей степени, чем другие узбекские художники. Но он не оказался единственным в семье благодарных «наследников» Есенина — поэтов Узбекистана.

Ах, не плачь, мое сердце, над теми,
кто ушел под цветы, под траву!
Не с того ль ты все помнишь

о том же,

не затем ли печаль нам дана,
что с тобой нам когда-нибудь тоже
эта доля и даль суждена?..

Разве не ощущаем мы в мудрой философской медитации Гафура Гуляма той же тоски и той же печали, того же светлого прозрения сердца и ума, какие диктовали когда-то Есенину всемирно известные строки послания на смерть Ширяевца: «Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бранные пожитки собирать...»? Разве не ощутил отзыв знаменитых строк Есенина: «Ягнечек кудрявый месяц гуляет в голубой траве» — в уподоблениях и метафорах Гафура Гуляма:

Месяц молодой, мой старый друг,
вновь ты поднял тонкие рога,
как козленок, выбежав на луг,
где паслись седые облака...?

Явственна переключка настроений и чувств, сходных с эмоциональным строем «Персидских мотивов», в стихах из болгарского цикла Рамза Бабаджана. Здесь, в частности, мы находим один из ответов на вопрос о возможностях конкретного воздействия на узбекского поэта есенинской лирической струи.

...День истает, за море спустится,
за расплавленный окомом.
Звезды падают — что-то сбудется?

И посмотрит, и спросит спутница:
— Хорошо ли в краю моем?
— Хорошо в твоём крае, милая:
голубая небес пола,
горы гордые, море мирное...
Хорошо в твоём крае, милая,
да на родину мне пора...

Вдали от родного Востока, восхищаясь красотами Болгарии, узбекский поэт ведет с болгарской девушкой разговор, удивительно сходный с тем, какой вел когда-то с милой Шаганэ героиня «Персидских мотивов», так же ощущавший, что, «как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолгий». «Хорошо в твоём крае, милая, да на родину мне пора...» — это воспринимается как некое «продолжение» одной из главных тем есенинского цикла:

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родному мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.

Сходство настроений обоих героев усилено тем, что голос сердца, любви воспринимается и у Есенина («Там на севере девушка тоже, на тебя она страшно похожа...»), и у Рамза Бабаджана («И такая же черноокая ждет в далеком моем краю...») как один из истоков ничем не заглушаемой тоски по родному краю.

Конечно, это сближение лирических характеров и общее развитие темы у обоих поэтов в значительной степени восходит к самой ситуативной основе произведений; но мы уже не можем уйти от ощущения закономерной художественной связи, глубокого родства поэтических систем — так же, как Рамз Бабаджан (сам ощутивший это сходство неожиданно для себя) не смог уйти от обаяния есенинской музыки, от музыки вечно звучащих в каждом влюбленном и поэтическом сердце «Персидских мотивов».

Подобную связь мы наблюдаем и в стихах многих русских поэтов Узбекистана, обращающихся непосредственно к проблематике, ономастике или поэтике есенинского цикла.

Конечно, современные поэты Средней Азии испытывают глубокое воздействие великой восточной классики, прежде всего, так сказать, «впрямую», черпая «материал» из самого первоисточника. Но в последние десятилетия возникла еще одна возможность творческого общения с миром поэтического Востока — связь с ним через традицию русской ориентальной школы. Рядом с именами Фирдоуси или Навои и их героев в русской поэзии появляются Лада и Шаганэ, интонации Есенина; продолжены, развиты, спроецированы в современность есенинские ориентальные мотивы, образы, темы:

Был я в Бендер-шахе, Руде-соре,
Весь Иран изъездил на коне,
Выходил гулять на берег моря,
Чтоб тебя увидеть, Шаганэ.

² Стихи узбекских поэтов даются в авторизованных переводах.

Я прошел от Решта до Шираза,
От Тебриза до хребтов Шуру.
Я не видел женских лиц ни разу,
Только видел черную чадру...

Может, чудится мне? —
Ветер в роще аукает:
«Шаганэ...
Шаганэ...»

Это стихотворение С. Данилова (сюжет его относится ко времени пребывания в Иране в начале сороковых годов), — конечно, намеренное подражание, но оно открывает новые грани и линии движения есенинского образа. При этом современный поэт идет не от одного лишь стихотворения «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», а от всей идейно-тематической и образной структуры «Персидских мотивов» с их гуманистической направленностью против человеческого рабства, против догм шариата и ужаса «черной чадры». В этом смысле образ «черной чадры» — один из важнейших в «Персидских мотивах» — в стихотворении Данилова обретает значение основного, опорного, как бы отодвигая на второй план и любовную тему, и привычный светлый абрис лирической героини Есенина — Шаганэ.

Исследование подобных контактов приводит к любопытным выводам: Есенин создает «Персидские мотивы», взаимодействуя с Востоком, испытывая поэтическое влияние восточной классики. Позже русский поэт использует его восточный цикл для развития новой идеи. Эта закономерная «цепочка», это свойство взаимодействия литератур и поэтов как сложного и многократно опосредованного процесса ощутимы и в «Акварели осенней» беззастенчиво ушедшего Николая Лукьянова, где автор, вспомнив страницы Корана, естественно приходил и к «Персидским мотивам» Есенина.

...Пряно пахнут шафраном
Листья старой джиды.
Как страницы Корана,
Эти листья желты...

Лирика передает настроение, переживание, эмоцию. Лирическое переживание поэта здесь пока еще зыбко, оно — как неясное ощущение без граней и пределов, но уже «опредмеченное» и тем самым смутно локализованное. Не березка, а джида, и эти желтые листья напоминают не пожелтевшую несторовскую летопись, а страницы ветхой мусульманской книги.

Зыбкость переживания пересекается с конкретной, вещной системой окружающих поэта обстоятельств, рождает не случайные, закономерные «восточные» ассоциации, ведущие к восточным стихам — и, конечно, к есенинским строкам, к которым «толкает» и образ Корана, и излюбленный шафранный цвет «Персидских мотивов»... И вот уже «есенинское» светлое, легкое женское имя «Шаганэ», как символ, как точка скрещения внутренних душевных ассоциаций, рожденных Азией, ее красками, запахами, поэзией воспевших ее гениев, появляется в стихотворении и завершает — словно венчает его:

Шепот,
шорох,
шушуканье...

И так же остро (и так же закономерно) звучит есенинская русская «музыка» в стихах узбекских поэтов, посвященных России. В этих произведениях они не могут, да и не хотят, уходить от той символики и ассоциативных связей, которые по сути стали уже традиционными образами национальной поэзии, вошедшей в наш мир под именем «есенинской Руси». Вот почему, может быть, и ненамеренно, спонтанно, но и вполне закономерно завершается «есенинским» образом великолепная строфа Уйгуна из стихотворения «Когда говорю «Россия»:

Когда говорю «Россия»,
мне чудится неспроста:
высокой небесной сини
коснулись мои уста...
И требует новой дани,
мечту мою в плен берет
белеющая сквозь дали
бредущая рать берез...

И Азиз Абдуразаков в стихотворении, точно названном «Ода русскому лесу», не уходит от привычных «есенинских» ассоциаций и образных рядов, от пластичности и зримой осязаемости восприятия человеческого в контурах живой природы — от того, что так пленительно зазвучало впервые в строке Есенина («Пригорюнились девушки-ели...»):

...Пленицы зимы — застыли ели,
серьги — серебро у них в ушах,
цепи — серебро у них на теле,
на ногах, на девичьих плечах...

В подобных стихотворениях о России удивительный мир самобытно-национальных — по сути, традиционных — есенинских художественных формул становится своеобразным духовно-эстетическим знаком родины Есенина, ее масштабным и цельным поэтическим символом.

Так, в стихотворении Раима Фархади «Россия начинается с берез...» уподобляемые девушкам березки (метафора чисто есенинская) делают центральным образом, главной темой, движущим нервом произведения:

Россия
начинается с берез,
когда за степью серо-желтоватой
они гурьбой, как сельские девчата,
спешат по склону
на песчаный плес,
пленя строгой прелестью волос,
сережек тонких редкостным
тиснением
и ситцем белым, что воспел Есенин...
Россия начинается с берез.

Фархади весьма тонко улавливает не столько есенинскую образную живопись, сколько корневой смысл и внутреннее движение поэзии Есенина от единичного к общему, от тоненькой березки к душе

человеческой, к народному восприятию красоты, жизни, родины.

Точно такое же «есенинское» движение образа улавливаем мы и у Шукрулло в поэме «Россия»:

...И верба, распутивши косы,
Над ним, как девушка, стоит...

Естественно, это национальный образный ряд, начатый есенинским: «Улыбнулись сонные березки, растрепали шелковые косы, шелестят зеленые сережки...» или «Зеленая прическа, девическая грудь, о тонкая березка, что загляделась в пруд?...» Это ведь не просто «природа» — это образ русской девушки-крестьянки, близкой к светлому миру красоты, к древней и прекрасной земле, ее небу, ветру, лесу, ее печальным сестрам — березам и рябинам, елям и вербам.

Думается, сегодня ни у кого не возникнет при чтении этих стихов мысли о заимствовании или подражании: это — постижение Руси через образно-стилистический мир Есенина, художника, воплотившего Россию, может быть, с наибольшей в русской поэзии национальной самобытностью и своеобразием. И вместе с тем это обогащение своей национальной эстетики в тех случаях и в тех закономерных возникающих связях, которые детерминированы всякий раз самим замыслом того или иного поэта Узбекистана, избранной им темой и адекватной поэтикой.

Это относится не только к названным здесь художникам. Есенинские интонации и лежащие в их основании лирико-философские порывы духа ощутили в поэтической стихии некоторых произведений Айбека из его книги «Прощание»; отзвуки эмоционального мира Есенина слышны в «Лирике» Тураба Тулы; о есенинских мотивах и образных рядах напоминают стихи из последних сборников Аскада Мухтара; ассоциативные связи, восходящие и к поэтическому строю художественной ориенталистики Есенина, улавливаются в лирических опытах Толепбергена Матмуратова, которому, кстати, принадлежат первые переводы «Персидских мотивов» на каракалпакский язык...

Круг «наследников» Есенина в поэзии Узбекистана (как и других народов нашей страны) имеет тенденцию к закономерному расширению, которое, очевидно, пропорционально все более ясно осознаваемым масштабам его таланта, его значения в развитии мировой литературы, так же как и растущей известности его творчества, все глубже и тоньше воссоздаваемого на языке Навои и Хамзы.

4

Внимание к имени и творчеству Есенина в Узбекистане не ограничивается переводами его стихов и влиянием его поэзии. Сам образ Есенина — поэта удивительного таланта и сложной судьбы — неоднократно возникал в творчестве различных художников нашей республики; эта тема представляется важным продолжением

разговора о месте и роли Сергея Есенина в эстетическом мире современного Востока.

Впервые образ Есенина появляется в узбекской поэзии, так сказать, опосредованно: через художественное восприятие стихотворения Маяковского «Сергею Есенину». Как известно, Маяковский использовал здесь мотив последнего трагического восьмистишия Есенина, переиначив есенинские слова и создав свой, контрастный вариант философской формулы жизни и смерти.

Именно эту афористическую формулу Маяковского и подхватывает в своем стихотворении «Нежданное» Алтай. Опубликованное в газете «Кизил Узбекистон» 16 апреля 1930 г., стихотворение Алтая, будучи непосредственным откликом на горестную весть о смерти Маяковского, вместе с тем воспринимается и как развитие тех идей, которые лежали в основе поэтического некролога Маяковского Есенину и были как бы продолжением борьбы за Есенина — за ясный и светлый дух есенинской поэзии, вечно живущей вопреки трагическим ноткам его «завещания».

В наши дни образ Есенина обладает огромной притягательной силой для каждого, кто видит в его поэзии глубочайшее выражение национального мира, позволяющее воспринять ее как символ России, а фигуру самого Есенина — как характер личности, слитой с родиной, живущей ее заботами, радостями и печалью. Отсюда — обращение к образу Есенина, например, в произведении, всецело посвященном Узбекистану, — в поэме Эркина Вахидова «Приют солнца».

Как для русского человека символом Руси всегда являлась колосщаяся нива, так и для узбекского труженика подобным идейно-художественным знаком родного края стало белое хлопковое поле.

Именно на такой переключке построена 13-я глава поэмы «Приют солнца». Поэма Вахидова (вернее, данная глава ее) привлекла наше внимание своим необычным зачином, дающим всей теме какой-то новый, неожиданный поворот и проливающим свет на то, какой глубокой ассоциативной энергией обладает сегодня для узбекского художника и читателя мир Есенина.

Как дорог
и ценен
для рязанского волшебника
ржаной колос.
так и для меня священна коробочка
хлопка...

(Подстрочный перевод)

Вспомним есенинские строки: «И в счастье ближнего поверить в звенящей рожью борозде...»; «Ты светишь августом и рожью и наполняешь тишь полей...»; «Колосья в поле, как лебязьи шеи...»; «Бьется эта рать, чтоб владеть землей, да весь век пахать, чтоб шумела рожь...». В обращении к Шаганэ, рисуя «рязанские раздолья», Есенин как символ родины вспоминает именно русское поле и «вол-

нистую рожь при луне», связывая с этим образом и национальные краски портрета героя («эти волосы взял я у ржи»), и картины родного края.

Как видим, уподобление узбекского поэта избрано не случайно, оно весьма точно отражает внутренний накал сыновнего чувства Есенина, восклицавшего: «О родина, мое русское поле...» Образ Есенина, с которого начинается глава поэмы Вахидова, дает ему возможность выразить через этот постигнутый им традиционно-символический мир есенинской поэзии и образ своей родной земли, взятой также в тех ее национально-художественных символах, которые являются наиболее существенными для человека труда. Подобная ассоциация, выходя за пределы темы произведения, расширяет его духовные горизонты, позволяет раскрыть в самих этих образах, поставленных рядом, мысль о внутреннем единстве народов России и Узбекистана.

Закономерность возникновения такой ассоциации подтверждается аналогичным развернутым уподоблением в поэме Шукрулло «Россия». Рисуя в одной из глав русского старика-крестьянина, с душевной болью глядящего на иссеченную ливнем рожь, узбекский поэт развивает тему в том же ключе, что и Вахидов в главе из «Приюта солнца».

Тревожно зашумев во мгле,
Пригнулась низко рожь к земле,
Как будто пряча от струи
Колосья спелые свои:
А ливень уж не ливень — шквал!

Он, стиснув кулаки, молчал,
Его будто бы не ливень — плеть
Его стегала по спине...
...Вот так же хлопок свой жалеть,
Бывало, приходилось мне,

Образный ряд «рожь — хлопок», хотя и без упоминания о Есенине и его эстетике, все же напоминает и о нем (очевидно, здесь — в соотноении с образом Есенина, введенным в свою поэму Эркином Вахидовым), ибо выражает ту же идею единства традиционных и столь дорогих для Есенина национальных символов, являющихся жизненно важными опорами бытия человека труда — русского крестьянина, узбекского хлопкороба, певца «рязанских раздолей» и поэтов края «белого золота».

Словно сотканый из образов самой есенинской лирики, из «тополиного лепета» и «березового шума», бирюзовой сини и облаков над Окой, возникает поэтический портрет певца Руси в стихотворении Сайяра «Сергей Есенин».

Думается, некрасовское: «Россия-мать! Когда б таких людей ты иногда не послала миру...» — получает в стихотворении Сайяра новое конкретно-личностное и художественно-индивидуальное наполнение, воплотившись в почти символическом для нас образе Сергея Есенина, в чьих глазах и душе живет «вся душа России». Это ее «улыбчивое небо» «рассветно занялось» в каждой строке его стихов, посвященных

Матери России, отразивших и ее косые дожди, и «разлив Оки»; это ее «мятежно-нежный» характер впитал он — «дитя страны с названьем кратким — Русь». Понятия «Есенин» и «Россия» в стихотворении Сайяра непрерывно переплетаются, сливаются, и в этом слиянии возникает зримый, юный, глубоко гражданственный образ Есенина. Как бы наполняя живым светом иной эпохи некрасовскую формулу, узбекский художник в емких строчках раскрывает точно схваченный им смысл прекрасных взаимоотношений поэта и Родины: «В его глаза глядится Мать-Россия, и, как о матери, печется он о ней».

Завершив последнюю строфу реминисценцией из известного есенинского шедевра «Русь советская», Сайяр в значительной степени расширяет и углубляет содержание своего стихотворения, в концовке которого словно звучит голос самого Есенина:

Но и тогда,
Когда по всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

Как вечная и нетленная частица России, русской природы, русского звонкого слова воспринимается Сергей Есенин поэтами Узбекистана. В их стихах он не просто изображен «на фоне» национального пейзажа — нет, его поэзия, как и эта природа, есть сама Россия, ее живая душа, ее гениальное творческое выражение. Вот почему Есенин в маленьком стихотворном наброске Р. Фархади ощущается как один из ликов Руси — как ее воздух, травы, росы, как светящаяся белизна ее берез.

...Внемля травам и растеньям,
Окуная кудри в росы,
Шел поэт Сергей Есенин —
Цыган золотоволосый...

Образ России как истока, родника, животворного ключа поэзии Есенина лежит и в основе стихотворения Фархади «Вода в ключе вдруг мутной стала...» с его прозрачной и ясной символикой. Ничто не может замутить «звонкой воды» неиссякаемого ключа, ибо он «с землею связан», «земле рождением обязан». Эта неразрывная связь в стихотворении Фархади утверждается как главная идея, вне понимания которой невозможно постичь смысл и значение есенинской поэзии. Используя многозначность и метафорическую гибкость русского слова «ключ», Фархади ведет читателя к мысли о том, что национальная стихия и национальный мир есть не только «материальное» основание творческого бытия большого художника, но и философская основа для осмысления его эстетического наследия в настоящем и будущем:

...И я заметил с удивленьем:
из-под земли он снова бил,
И наступало просветленье.

и снова ключ
прозрачным был.

Журчал он звонко,
по-весеннему
вокруг березок
и — к лугам...
Похожий чем-то
на Есенина,
он был ключом
к его стихам.

В поэзии Узбекистана мы наблюдаем и попытку постигнуть сложный, не поддающийся однозначным определениям, часто парадоксальный характер самой личности Есенина. Так, Сайяр весьма удачно выражает эту парадоксальность тонко найденным, сложным, внутренне контрастным эпитетом: «Он так мятежно-нежен от природы». Фархади, видимо, помня грустные есенинские строки о его «скитальческой судьбе», создает любопытную поэтическую характеристику, также по сути контрастную в ее внутреннем метафорическом «цветном» решении: «Цыган золото-волосый». Менее оригинальны, но также призваны передать сложность характера Есенина эпитеты Н. Буканова: «Ты и буйный, и грустный, и светлый...». Ощущая в Есенине (как и другие стихотворцы) прежде всего «синеокой России поэта», Буканов не стремится уйти от осмысления непростого жизненного пути своего героя (стихотворение «Когда вижу раздолье весеннее...»), находя штрихи для его поэтического портрета непосредственно в образной системе есенинской поэзии.

Вспокойного века ребенок,
Ты горел несказанным огнем...
Длинноногий скаун-жеребенок
Все бежит за железным конем...

Эмоциональный накал лирики Есенина вызывает порой стремление осознать и выразить в поэтической строке свое лирическое отношение к есенинскому творчеству, назвать те качества, которые, по мне-

нию того или иного автора, сделали поэзию Есенина столь дорогой и жизненно необходимой людям Запада и Востока, обусловили ее бессмертие. Помимо уже отмеченного в стихах поэтов Узбекистана есенинского национального своеобразия, связи с землей и народом, к числу таких кардинальных свойств поэзии Есенина относят глубокую человечность, «несказанную нежность», высокий лиризм, «божью искру» вдохновенья, стремление уловить «новый жизни рассвет»...

Светло и тонко сказал Гафур Гулям: «Я смотрю на горы вдали. Вчера они еще виднелись смутно, но вот ветер разогнал туман, ушли с неба облака, и горы словно приблизились ко мне — во всей своей чистой красе.

Так вот и ветер времени сдул все наносное с поэтического облика поэта, время словно протерло стекло его портрета, высветило все лучшее в его творчестве, сделало его для нас яснее, величавей, рельефней.

Сейчас я в Есенине сквозь все метания его искренней души вижу не только сердечного лирика, но и поэта-гражданина, советского патриота, человека, которого до боли волновало все, что совершалось вокруг. Вспоминаю его «Балладу о двадцати шести» — какие резкие и жаркие восточные краски, какой пыл революционной романтики, какой сплав лиризма и подлинной гражданственности!

Дружба с русской литературой приобщила нас к ее богатствам, помогла нам правильно понять, по достоинству оценить есенинскую поэзию. Очень русский поэт Сергей Есенин сделался родным и для нас, узбеков...»

Эти горячие слова Гафура Гуляма — не дань «юбилейному» величанию, так же как и проникновенные строки Николая Тихонова о Есенине: «Если бы он прожил дольше, он стал бы певцом дружбы народов, особенно народов Востока...»

Т. Назиров

Пейзаж в романах Шарафа Рашидова

Творчество Шарафа Рашидова — одно из крупнейших явлений современной советской многонациональной литературы. Его романы переведены на многие иностранные языки и языки народов Советского Союза, многократно переиздаются в нашей стране и за рубежом. Показателен и обостренный интерес к творчеству Ш. Рашидова литературной критики, историков советской литературы. Основательная библиография по творчеству Ш. Рашидова побуждает думать, что настала пора для обширных обобщающих монографических работ, всесторонне освещающих это замечательное явление современной литературы (первым опытом этого рода является вышедшая в 1979 году монография А. Хакимова «Творящие весну»).

В работах известных литературоведов В. Озерова, Г. Ломидзе, З. Кедринной глубоко исследуются героико-патриотический пафос романов выдающегося узбекского писателя, органическое единство в них национального и международного, новаторская природа их, опирающаяся на богатые традиции многонациональной советской литературы, глубина художественного изображения бытия как деяния, человековедческая суть их, масштабность художественных достижений.

Можно сказать, что в критической литературе основательно исследовано все многообразие идей и мотивов романов Ш. Рашидова. Однако некоторые существенные стороны его художественного мастерства и поныне остаются в тени. В частности, недостаточно исследованы особенности его пейзажной живописи словом.

Критики пишут о тенденциях, идеях, образах произведений писателя и гораздо меньше — о его художественном мастерстве, о той образной ткани, в которой идеи находят живое воплощение. Сказанное относится даже к отличной книге А. Хакимова

«Творящие весну», имеющей подзаголовок — «Заметки о художественных особенностях романов Шарафа Рашидова»¹.

В романах Ш. Рашидова пейзаж является важным элементом художественной структуры.

Нередко — и с основанием! — критикуют прозаиков за то, что они в своих произведениях рисуют картины природы, художественной логикой не мотивированные, дают, так сказать, «пейзажи для пейзажей». Вот уж кому подобный упрек не может быть адресован — так это Ш. Рашидову! Любый пейзаж у него — будь то картина природы, развернутая на полстраницы, или всего лишь одна фраза — всегда исполнен внутреннего значения, строго мотивирован, подчинен человеку в естественному содержанию произведения. А с этим важным свойством рашидовской пейзажистики прямо связано большое разнообразие пейзажных картин на страницах его дилогии («Победители», «Сильнее бури») и романа «Могучая волна».

Одни пейзажи здесь выделяются ярко выраженной лирической поэтичностью; другие отмечены искусным подчинением их выразительным задачам произведения, его идейным установкам; третьи — поражают замечательным органическим единством пейзажа и человека, раскрытием посредством пейзажа, через пейзаж духовных качеств героя.

Сама по себе тяга художника к пейзажной живописи проявляется уже в том, что каждый из трех романов открывается своеобразной пейзажной «интродукцией», задающей тон всему произведению.

Не будет лишним обратить внимание и

¹ Ахияр Хакимов. Творящие весну. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент, 1979.

на то, что в двух из трех романов даже заглавия «пейзажные»: «Сильнее бури», «Могучая волна»...

Подлинно художественным мастерством отмечен развернутый более чем на странице пейзаж, открывающий «Победителей»: «Удивителен восход солнца в горах. В Алтынсайской долине еще разлит предутренний сумрак, теснины и ущелья заполнены черной, сырой мглой, спят ветры, спят травы и цветы, озябшие за ночь,— кажется, и солнце еще спит где-то за горизонтом, но его уже видят орлы, парящие в рассветной, начавшей золотиться вышине, они первыми встречают солнце, первыми плещутся в его лучах, в его сиянье, вечно молодым, торжествующем, как сама жизнь... Удивительное это зрелище — восход солнца в горах! Есть в нем что-то волшебное, жизнеутверждающее, торжественное,— может быть, потому, что солнце здесь особенно щедрое, особенно ослепительное, и в час восхода лучи его брызжут неиссякаемыми золотыми фонтанами».²

Читатель еще ровным счетом ничего не знает об Айкизи, он впервые лишь услышал ее имя, но он увидел, почувствовал, как она воспринимает и эмоционально переживает восход солнца в ее родных горах, и еще до непосредственного знакомства с героиней проникается горячей симпатией к ней, к ее землякам — алтынсайцам. Как бы в последующем ни раскрывался образ девушки, в каких бы событиях она ни участвовала, в восприятии читателя все это будет связано с этим лирическим значимом.

Есть в этом пейзаже еще одна весьма существенная сторона: его место в общей композиции. Дело в том, что он открывает роман, предшествует первой главе, тем самым предваряя и все главы, всю книгу. Поэтому он играет роль своего рода пролога, в свете которого читатель видит все изображенное в книге.

Цветущее урюковое дерево во дворе одного из главных героев романа «Сильнее бури», Муратали, своим «бело-розовым облаком» будет словно бы сопровождать читателя до самого конца, хотя само это дерево погибло: оно точно бы перевоплотилось в те многочисленные колхозные деревья, которые устояли перед разбушевавшейся стихией, оказались, как и люди в своей дружбе, — «сильнее бури». Предстает же перед нами поначалу этот пейзаж в восприятии старика Муратали, ощущающего фруктовое дерево в цвету как бесценное наследство, завещанное ему предками.

Огромные трудности выпали на долю героев романа «Могучая волна» и на фронте, и в глубоком тылу. Но трудности эти не сломили их духа, не приостановили поступательного движения к великой цели. Пейзаж в романе служит не только эмоциональным фоном исторических событий, он оказывается созвучным мыслям и переживаниям людей, неразрывно связан он и с идейно-нравственной проблематикой произ-

ведения. Так, глубоко лиричный пейзаж весны на фронте 1943 года и весны в далекой Средней Азии несет в себе заряд оптимизма, жизнеутверждающих эмоций. Душевный настрой, возбуждаемый в читателе прекрасными картинами природы, создает контраст тому страшному, что принесла в жизнь людей война, и постоянно ассоциируется с горячим убеждением в решительной победе над врагом.

При создании широких пейзажных полотен Ш. Рашидов умело пользуется приемом контаминации. Весна на фронте и весна в тылу... Какие возможности для художника возникают при их сопоставлении!..

«Тысяча девятьсот сорок третий год. Весна... Она шла по земле уверенной поступью, в развевающихся под ветром нежно-зеленых одеждах, и все, к чему ни прикасалась, все оживало, цвело... На краю окопа зазеленела первая травка, напоминая солдатку, уставшему от боев, о наступлении весны».³

Подытоживая эту развернутую картину весны на фронте, автор восклицает: «Весна торжествует в самую горькую, самую тяжелую годину войны, ее не победить никаким черным силам!»

Если всепобеждающей силы и величия исполнена весна на войне, то какова же она должна быть на далеком юге, вдали от фронта!

«В том году и в Бахмале весна выдалась на редкость дружная, нарядная, ясная. Только что сошли подснежники — бойчичак, и степь, протянувшаяся от подножья горного хребта до самого горизонта, сделалась атласно-багряной от буйно расцветших тюльпанов. Чудилось, будто и небо усыпано тюльпанами — полыхало алым заревом. Тюльпаны горели на колхозных полях, языками яркого пламени взбегали по склонам гор». «Среди половодья цветов, изумрудных ковров пшеницы, начавшей тянуться к солнцу, нежной зеленой травы кишлак подходил на невесту в свадебном одеянии».

Доминирующий мотив пейзажа — праздничность. Он создается сочетанием ярких красок (атласно-багряная степь, небо, охваченное алым заревом, изумрудные ковры пшеницы, зеленая трава), сравнением кишлака с невестой «в свадебном одеянии». Но это пейзаж не мирный. Обилие алых, багряных цветов вносит в картину природы настроение тревоги, заставляет вспомнить о другой весне, весне на фронте.

Встречаются в романе Ш. Рашидова и пейзажные мотивы, имеющие «сквозной» характер. Таково миндальное дерево в «Победителях». Оно ассоциируется с наиболее лиричными душевными состояниями героини, прежде всего, — с ее любовью к Алимджану.

«Айкизи, ехавшая ясным февральским утром на ишаке в горы, к чабанам, первая увидела на небольшой скале облитое розовым цветом миндальное деревце. Оно чуть свисало вниз над крутым каменистым склоном, и снизу казалось, будто у скалы задержалось легкое прозрачное облачко».

² Шараф Рашидов. Победители. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент, 1977, стр. 7.

³ Шараф Рашидов. Могучая волна. Военное издательство Министерства обороны СССР, М., 1972, стр. 5.

Так впервые появляется в романе мотив цветущего миндаля. Здесь, под этим деревом, героиня случайно встречается с Алимджаном. Он вручает ей пяты — незабываемы минуты, когда вспыхнула первая искорка большого чувства, связавшего навсегда юных героев романа.

Какое-то время спустя, когда Алимджан находился на фронте и Айкиз писала ему письмо, «она все же не удержалась и, прощаясь с Алимджаном, передала ему привет от миндального деревца...» Одна только маленькая деталь, но она стоит многих страниц.

Прекрасной художественной находкой мастера является образ цветущего миндаля в сновидениях Айкиз. Любопытно, что во сне девушка видит ту самую первую сцену своей встречи с Алимджаном под цветущим миндалем: вновь Алимджан рвет цветы, вновь происходит между ними живой и веселый разговор...

Но вот война позади. Алимджан вернулся. Все как будто по-прежнему: и дерево прежнее, и цветы... Но герои уже иные, и взаимное чувство их стало другим, изменились их мысли, заботы.

Главная героиня романа «Победители» Айкиз стала инициатором обводнения Алтынсае. Девушка обнаружила разрушенное русло канала, следы прежде существовавшего источника воды. Однако эта, вроде бы случайная, находка в действительности-то произошла отнюдь не случайно: она обусловлена свойством характера Айкиз, ее страстной любовью к природе. С детства Айкиз вечно пропадала в горах, лазала по невероятным кручам, любовалась горными растениями и цветами, с замиранием сердца следила за полетом «гордых, смелых птиц» в «голубой заоблачной дали». Не раз приходилось матери тревожиться за блуждающую в горах дочку, опасаться нападения на нее хищных птиц; не раз строго отчитывала она ее за опасные прогулки в горах. Однако отличное знание местности, постоянные раздумья героини об окружающей природе дали благие всходы. Айкиз сумела силы природы сделать союзниками людей в их борьбе за счастливую жизнь.

В романе «Сильнее бури» немаловажную роль играет образ родника Ширинбулак, которому придается поистине символическое значение. Он воплощает в себе глубинные истоки чистых, прекрасных нравственных качеств человека. Щедро использует писатель прием переклички образов-символов. Так, образ родника Ширинбулак перекликается с образом миндального дерева в романе «Победители». Их функциональное сходство в произведениях обуславливается мыслями Айкиз о встречах с Алимджаном: «С Ширинбулаком могло соперничать лишь миндальное деревце в горах, где встречались они когда-то с Алимджаном. В детстве она играла у родника с подружками, позднее приходила сюда собирать цветы, читать, готовить уроки».

Родник становится как бы отражением души героини, ее вторым «я». Человек и природа, утверждает автор, связаны меж-

ду собою бесчисленными нитями... Светлый родник радует и утешает в несчастье. Подобно живой воде из волшебной сказки, он способен возродить душу, влить в нее новые силы. В этом плане чрезвычайно характерен эпизод, когда Айкиз, тяжело переживающая смерть отца, почти бессознательно приходит к роднику.

«Дойдя до Ширинбулака, Айкиз села на край большого камня и, словно припоминая что-то, провела ладонью по горячему лбу... Зачем она прибрела сюда? Или ей неведомо стало дома и хотелось рассеяться, глотнуть свежего утреннего воздуха? Она чувствовала себя бесконечно усталой. Она устала от горя, от людей, от их немного сочувствия, от кощунственной суевы последних дней. А здесь, у родника, всегда спокойно. Это покой живой, естественный, согревающий душу, навевающий светлые воспоминания... Айкиз вспомнилась юность... В те дни так же немолчно и успокаивающе журчала вода родника, шуршала галька на дне ручья. Казалось, звуки эти проникали в сегодняшний день из дальнего чудесного прошлого».

Пейзаж в романах Ш. Рашидова неразрывно связан с богатым и сложным человеческим миром, им обусловлен. Это проявляется и в одушевлении явлений природы, и в приемах психологического параллелизма и контраста.

В романе «Сильнее бури» есть такой пейзаж: «Вода в арыке лепетала и лепетала о чем-то своем, листья тополей доверчиво перешептывались друг с другом и ветром. У всех были свои тайны... Айкиз тоже думала сейчас о самом сокровенном, мысли ее текли в лад прозрачной струе арыка и, казалось, спешили вместе с ней далеко-далеко — к любимому, к Алимджану».

Принцип антропоморфизма в данном случае усилен психологическим параллелизмом: то, что происходит в природе, созвучно переживаниям героини.

Душевное состояние человека, его настроение в романах писателя чаще всего гармонирует с состоянием природы. Иногда явления природы возбуждают в человеке определенные эмоции, как бы заражают его ими. Но порой возникает и контрастное отношение между «настроением» природы и мыслями, чувствами, переживаниями человека.

Вот примечательные в этом плане эпизоды:

«Утро следующего дня было ясное, тихое. Природа, словно спеша заглядеть недавнюю вину, расщедрилась, она подарила людям безоблачное небо, спокойное сияние солнца, освежающий ветерок... Но Мураталы ничто сегодня не радовало — ни ветерок, ни солнце. С лица не сходила мрачная тень; он часто задумывался...»

Мы помним, как Айкиз воспринимала утреннюю зарю в Алтынсае. Но вот она бродит на заре в тех же местах после похорон отца. Художник в данном случае рисует картину утренней зари, не соотнося ее с переживаниями героини.

«Чудесные зори в Алтынсае! Днем не-

куда деваться от зноя, по вечерам камни, песок, глина дышат печным жаром, накопленным за день, а на заре ничто не напоминает о зное. С гор легкими прозрачными потоками стекает свежий утренний ветерок, лаская мирный, спящий кишлак, от трав и цветов веет росной прохладой. Хорошо на заре в Алтынае!»

Этот радостный, полный жизни пейзаж совершенно не соответствует настроению Айкиз, тяжело переживающей горе утраты. Пейзаж своим контрастом усиливает драматизм ситуации. Примечательно как воспринимает Айкиз красочный пейзаж. Мы видим, что для нее в этот час краски померкли.

«Мертвая тишина...— подумала она, зябко пожевываясь.— Все вокруг словно в ымерло».

Многие пейзажи раскрывают характер человека в процессе его трудовой деятельности, благодаря которой он преображает природу. Старый колхозник Муратали ухаживает за единственным в его дворе урюковым деревом, обязанным своим существованием исключительно каждодневным усилиям человека, уже немощного, но буквально одержимого мыслью сохранить фруктовое дерево, посаженное его отцом.

В этой связи любопытен и такой сюжетный ход. Всем обитателям кишлака предстоит переселение в другое место, в новые благоустроенные дома. Муратали упорно уклоняется от переселения, мотивируя отказ тем, что здесь могилы его предков, земля, орошенная их трудовым потом... Но когда дерево по вине Гафура погибает, Муратали без колебания переселяется. Далее следует изображение молодого колхозного сада, словно бы пришедшего на смену погибшей одинокой урючине Муратали.

Пейзажи в романах служат подчас средством выражения стойкости человека в борьбе с противостоящей ему стихией. По существу, этот мотив составляет центральную, ведущую тему всего романа «Сильнее бури» с характерным для него лейтмотивом: «Дружба сильнее бури».

Немало примеров, когда стихии противостоит сплоченный трудовой коллектив, дает и роман «Могучая волна». Грозна и мощна стихия, но неодолима воля советского человека, и потому он всегда — победитель, — таков идейно-художественный пафос всех сцен и эпизодов, в которых человек, либо в одиночку, либо, чаще, в коллективе, борется с разъяренной стихией (спасение входов хлопчатника после бури и града, восстановление прорванной паводком дамбы).

По ходу сюжетного действия писателю понадобилось дать связь времен — нынешнего, поры войны и довоенного. Как эту связь времен выразить языком искусства? Можно, допустим, от имени автора или героя порассуждать о том, что было прежде, что стало теперь... Ш. Рашидов решил эту задачу с помощью пейзажа: «Айкиз задумчиво глядела вокруг. Это были места, знакомые с детства. Вон внизу заросли арчи, в которых она когда-

то застряла. Вон глубокое каменистое ущелье. Айкиз любила стоять на самом краю пропасти, по спине у нее пробегал холодок, а она громко выкрикивала что-нибудь и слушала, как в таинственной мгле ущелья гулко перекатывалось эхо, — чудилось, что отзывался на ее окрик сказочный джинн... А вон в стороне, возле кустов боярышника, большой гладкий валун. Он наполовину врос в землю, его почти не видно за высокой травой... Айкиз когда-то подолгу на нем сидела».

Валун упомянут не случайно. С ним связана история кражи Гафуром колхозного зерна. Жулик спрятал под этим самым валуном украденное.

А через несколько глав Айкиз опять в этих привычных с детства местах, и тот же пейзаж как бы повернут перед читателем другой своей стороной: «Сколько раз в детстве Айкиз босиком пробегала по этой тропе, сколько раз в последние годы проезжала здесь на своем длинноухом!.. Наверное, если бы даже никто больше тут и не проходил и не ездил, то и одной Айкиз удалось бы вытоптать узкую тропинку через перевал. Ей все здесь было знакомо, каждый крутой поворот тропы, каждый камень, каждый куст... Казалось, вечно, из года в год, зеленел вот тут боярышник, а вон там желтела душистая полынь... А вот и валун, под которым она нашла краденое зерно...»

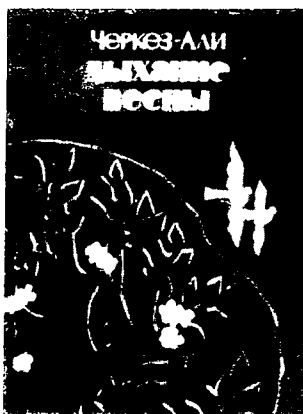
В романе «Сильнее бури» любопытен пейзаж, выступающий в роли развернутого сравнения, необходимого для обрисовки характера председателя колхоза Кадырова: «А люди говорили о нем по-разному, ведь людские толки — что степь: тут и колючка тебе попадет, и горькая полынь, и яркий, радующий глаз цветок, и мягкая трава, раболепно стелющаяся под ветром...»

В романе «Могучая волна» привлекает внимание своей возвышенной поэтичностью и такой пейзаж: «Было тихо-тихо. Утро шло по стройке неслышным шагом, словно обутое в мягкие ичиги. Небо было чистое, как озерная гладь, воздух прозрачен и недвижим: горный ветерок, видно, взял выходной и нежился где-нибудь неподалеку от стройки, в покрытых росой кустах...»

Наблюдения над пейзажами в романах Ш. Рашидова позволяют утверждать, что для писателя пейзаж никогда не служил просто украшением или чисто внешним дополнением к повествованию, а неизменно выполнял идейно-содержательную функцию. Средствами пейзажной живописи автор изображает то, что невозможно выразить другим путем.

В романах Ш. Рашидова пейзаж отличается высокой многофункциональностью: он в одних случаях помогает передать настроение персонажа, в других — картина природы отражает какую-то существенную грань характера человека, служит своеобразным аккомпанементом мыслям героя, придает лирико-романтическую окраску повествованию.

Зрелость поэта



В поэтический сборник Черкеза-Али «Дыхание весны»¹ вошли стихи разных лет, некоторые из них уже были включены в предыдущий сборник «Живые цветы». Ведущим мотивом нового сборника стал мотив творческой и человеческой зрелости.

Эта тема заявлена в стихотворениях «Мои мечты», «Хотя виски седеют...», «И ты, и я», «Мои глаза», насыщенных раздумьями о виденном и пережитом. Симптоматично, однако, что даже в стихах этого плана взгляд и мысль поэта неизменно устремлены в день грядущий. Характерна переключка начальных и финальных строк в стихотворении «Мои глаза»:

¹ Черкез-Али. Дыхание весны. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент, 1980.

Мои глаза,
Вы видели так много...

Мои глаза!
Ваш взгляд не смеет
 гаснуть.

Увидеть столько
Я еще хочу!

Но тема эта отнюдь не исчерпывается такими открыто исповедальными вещами — она сопрягает в одно целое разноплановые, разнохарактерные стихотворения, составившие книгу, придает им особую окраску.

Свой «долгий путь» поэт ощущает как частицу пути, пройденного страной:

Сколько лет иду по
 жизни?
Точный дам ответ
 вполне:
— Сколько лет моей
 Отчизне,
Ровно столько же и мне.
 («Я — сын Октября»)

Чисто лирическое начало властвует у него в стихотворениях, требующих, казалось бы, эпического настроения — стихотворениях с исторической проблематикой. Так, в «Белых ночах» ощущение лирической взволнованности создается самой интонацией, удачно примененным рефреном:

Белые ночи, белые ночи:
Шпили, колонны, мосты
 и ступени...
Сколько пришло и ушло
 поколений,
Белые ночи, белые ночи!

«Памятью сердца» продиктованы в книге и стихи о войне, хотя каждое стихотворение дано в своем стилистом ключе, далеко не всегда обнаженно-лирическом. Тут и элементы сюжетного повествования («У подножья Каратага»), и монолог («Письмо солдата»), и зарисовка («Тихий холмик»).

Зрелость художника сказалась в самом подходе к жизненному материалу, строгом его отборе. Для Черкеза-Али не характерно стремление идти вширь — ему свойственна скорее сосредоточенность на сравнительно небольшом круге тем.

Он пишет о явлениях простых и вечных, о неизменных ценностях человеческого бытия — о доброте, бескорыстном служении людям, труде как начале всех начал. Такие стихи, как «Хлеб и человек», «Запахи», цикл, посвященный матери («Матери не умирают», «Вернуть бы мать», «Прости меня», «О, родная»), принадлежат, пожалуй, к лучшим в сборнике.

Философская обобщенность в стихах этого плана порождает поэтическую символику, где в качестве символов, по давней традиции, выступают образы природы («Груша», «Отчего он шумит»). Обращается поэт и к форме притчи («Желание одинокого дерева»).

Глубина мысли успешно сочетается у Черкеза-

Али с эмоциональной раскованностью. Лирическое признание у него может быть окрашено мягким юмором («Почему я влюблен»), не чужда поэту и ироническая манера повествования («О, прекрасная!»).

Там же, где Черкез-Али отходит от этих принципов, его ждет неудача. Вещи бытового плана, жанровые зарисовки, например, «Гадалка», «Трутень», «Верю», ему, как нам кажется, не удаются.

Завершает сборник поэма «Живые цветы», в сокращении печатавшаяся в предыдущей книге. Произведение это сложно по замыслу: здесь прослеживается вся жизнь главного героя Асана и соответственно охватывается огромный отрезок времени. Действие начинается в пред-

дверии революции, финал отнесен к послевоенным годам:

Оставим трапезу друзей,
Оставим их в
 пятидесятом.

Построение поэмы своеобразно: она состоит из небольших, внутренне законченных глав, напрямую сюжетно не связанных. В «Живых цветах» есть удачные места, бесспорные находки, интересные штрихи, но повествование зачастую сбивается на пересказ. Причина этого, думается, в том, что поэтическое дарование Черкеза-Али — дарование лирика по преимуществу. Событийное начало подвластно ему в меньшей степени. Ведь в сущности стержневая мысль поэмы — мысль о долгом пути, пройденном героями, его трудностях и

победах, — перекликается с доминирующей, сквозной темой всей книги, главной лирической темой автора.

Эта «лирическая суть» дарования Черкеза-Али предопределила тяготение его к песенным интонациям. Для стихов сборника характерна особая мелодичность, не случайно мы здесь сталкиваемся с различными типами повторов («Без тебя», «И ты, и я», «Белые ночи»).

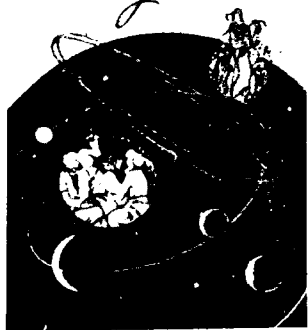
Сборник зрелого мастера не случайно назван «Дыхание весны». Знакомство с ним убеждает в том, что автору присущи свойства молодости творческой и человеческой — непосредственность и сила чувств, свежесть восприятия, острота поэтического зрения.

Е. ИСАЕВА.

Современное прочтение Хайяма

Омар Хайям

Рубаи



Совсем недавно внимание любителей поэзии привлекла небольшая книжка новых переводов Омара Хайяма. Раскуплена она была моментально, хотя вышла довольно солидным тиражом. Чем же объяснить такую исключительную

Омар Хайям. Рубаи. Перевод с фарси Николая Стрижкова. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент, 1980.

популярность древнеперсидского и таджикского поэта, жившего на рубеже XI—XII веков? Прежде всего — глубиной и изяществом мысли, отвечающей духовным запросам советских людей. Привлекает он и необычностью своей судьбы. Ведь до сих пор мы мало знаем о его полном драматизма жизненном пути. Хайям был человеком передовых убеждений, энциклопедических знаний, оставившим заметный след в астрономии, математике, медицине, философии. Но известен он современному читателю как автор бессмертных рубаи (четверостиший), своеобразного и короткого жанра лирической поэзии средневековой персоязычной и арабоязычной литературы.

Омар Хайям был открыт европейцами довольно поздно — в XIX веке, но зато быстро стал наиболее читаемым поэтом в западных странах. В России Хайям стал известен в конце XIX века, но широкую популярность приобрел

в советское время. На русский язык Хайяма переводили такие великолепные мастера, как О. Румер, И. Тхоржевский, в наши дни — В. Державин, Г. Плисецкий. И вот теперь рубаи поэта появились в переводах Николая Стрижкова, ташкентского поэта.

Нужно ли вообще вновь переводить Хайяма или любого другого классика, если уже существуют прекрасные переводы? На этот вопрос хорошо ответил в предисловии к переводам Н. Стрижкова известный советский поэт Лев Ошанин. Он пишет: «Казалось бы, достаточно иметь один эталонный перевод поэта, и нет смысла многим людям тратить время, а издательствам бумагу и типографскую краску, чтобы плодить новые издания. Но ко всему классическому наследию человечества в каждом новом столетии обращаются все новые и новые художники, и каждый из них вносит нечто свое, открывает новую сто-

рону поэзии своего избранника».

И в самом деле, каждая историческая эпоха, каждый переводчик предлагает свое прочтение классики.

В чем же проявилось своеобразие переводов Н. Стрижкова? В предисловии Льва Ошанина приводятся тонкое сопоставление одних и тех же рубаи, переведенных Стрижковым и предшествующими мастерами. Казалось бы, указывает автор, что можно прибавить к прекрасному переложению Тхоржевским одного из четверостиший Хайяма:

Живи, безумец. Трать, пока богат.
Ведь сам же ты не драгоценный клад.
И не мечтай — не сговорятся воры
Тебя из гроба вытащить назад.

И все-таки перевод Стрижкова вносит свое — мягкость красок и ироничность изречения:

Поскольку с тобой мы не вечные тут,
Скажи, дорогой, пусть вина принесут.
Не золото ты, о красавец беспечный,
Уж если зареют — отрыть не придут.

Н. Стрижков стремился в своих переводах отразить не только мир поэтических чувствований Хайяма, но и свою любовь к нему — философу-мудрецу, светло принимающему жизнь и смерть, весь сложный, исполненный стра-

тей и борьбы калейдоскоп человеческого бытия.

И такое прочтение Хайяма чувствуется во всех переводах Н. Стрижкова. В сборник вошла лишь часть наследия Хайяма — всего 222 рубаи. Но и они дают довольно полное представление о его основных мотивах и образах. Поэт последовательно выступал против мусульманского мракобесия, святош, ханжей, чванливых богатеев, сосущих кровь людей. Он воспеваеет земные радости, любовь, красоту и духовное величие человека и окружающей его природы. Это мироощущение поэта ярко отражено в переводах Стрижкова.

Мотив прославления вина, вопреки запретам Корана, тоже занимает большое место в поэзии Хайяма, и подчинен он прославлению радостей жизни:

Лучше с милой красавицей быть и с вином,
Чем молитвой себя изнурять и постом.
Если правда, что в ад отправляют влюбленных,
Что мне делать в раю, безнадежно пустом?

В переводах Стрижкова сохранена философская афористичность, тонкость и полнота поэтического чувства, изящество красок короткого жанра рубаи Хайяма.

Утром талый тюльпан серебрится росой,
И фиалка склоняет свой стан молодой.

Я люблю еще не расцветшим бутоном,
Что пленил мое сердце невинной красой.

Созвучность образного мира Хайяма духовным ценностям современного человека проявляется в умении переводчика выделить мысли о великом назначении человека, о его гуманистической миссии на земле:

Не сдавайся, мой друг, перед злом и коварством,
Оставайся в нужде и богатстве собой...

В сборник вошли различные рубаи Хайяма, порой выражающие его противоречивое мироощущение. И надо отдать должное переводчику — он не «выпрямляет» поэта, не делает его атеистом или последовательным материалистом. Хайям предстает в своей первозданной сложности.

Не все, конечно, четверостишия переведены выразительно и своеобразно. Можно говорить, очевидно, и о спорности передачи в ряде четверостиший интонационно-ритмического рисунка и даже смыслового звучания стиха. Но не они определяют значение книги. Новые переводы, несомненно, заинтересуют читателя богатством и оригинальностью прочтения бессмертных творений Хайяма.

Л. УСМАНОВ.

О кино, о времени, о себе...

Книга воспоминаний Камилы Ярматовой «Возвращения»¹ имеет эпиграф: «Вспоминать — значит возвращаться». И действительно: мемуары ныне уже покойного выдающегося кинорежиссера (они вышли

¹ К. Ярматов. Возвращения. «Искусство», М., 1980.

в литературной записи Владимира Ишимова) — это осуществленное силой памяти и художественного таланта возвращение во времена, овеянные революционной романтикой, насыщенные созидательным пафосом и энергией первостроителей и первооткрывателей.

Просто и захватывающе

автор рассказывает о своей человеческой и творческой судьбе. И страницы о боевой юности режиссера — это, пожалуй, лучшие страницы книги.

«Летом 1920 года из Самарканда наш полк и всю 6-ю Турквбригаду перевели в Катта-Курган, а затем подтянули к границам эмирской Бухары. И в со-

ставе войск под командованием Михаила Васильевича Фрунзе мы участвовали в штурме Бухары, в разгроме последней цитадели черной реакции в Туркестане.

Мог ли я, при самом большом разгуле фантазии, представить, что именно здесь, у старинной Бухары, я, красный конник Камилль Ярматов, буду спустя полвека снимать кинофильм об этом самом историческом штурме? Ни в коем случае, хотя бы потому, что тогда, в сентябре двадцатого года, я вообще еще не знал, что есть на свете такая штука — кинематограф».

Камилль Ярматов вспоминает о людях, с которыми сводила его судьба. Один из них — замечательный прозаик и киносценарист Леонид Соловьев — в своей «Книге юности» воссоздал образ молодого Ярматова, с которым познакомился в Канибадаме в 20-е годы. Пройдут десятилетия, и Ярматов напишет такие строки: «Нынче же не Леонид Соловьев, известный писатель, автор «Повести о Ходже Насреддине», «Солнечного мастера», «Севастопольского камня», неоконченной «Книги юности»... а я сам со светлой печалью смотрю в далекий уже след юному Камиллю Ярматову. Мне кажется, мы — Леонид Соловьев и я — занимались не такими

уж и бесполезными делами».

Встреча с Хамзой была для Ярматова не менее важной, чем с Л. Соловьевым. Ярматов выделяет в характере Хамзы главные черты, которые кажутся ему наиболее ценными для театрального деятеля и писателя. Кстати, будущий режиссер впервые поблал на подмостки сцены именно в труппе Хамзы.

Со страниц книги зримо встают фигуры выдающихся мастеров советского экрана — Льва Кулешова, Александры Хохловой, Сергея Эйзенштейна, Романа Кармена, Юлия Райзмана.

В главе «Мой «коронный» фильм» Ярматов очень подробно рассказывает об истории создания знаменитой историко-биографической ленты об Алишере Навои. С огромным уважением говорит режиссер о своих товарищах по кинематографу. Творческая деятельность многих из них (А. Исмаилов, Р. Хамраева, Р. Пирмухамедова) широко известна. Искусствоведческий интерес представляют собой факты, относящиеся к деятельности выдающегося художника кино В. Еремяна и старейшего оператора «Узбекфильма» М. Краснянского.

Ярматову — мемуаристу свойственны неповторимая авторская интонация, свой индивидуальный взгляд на движение времени и люд-

ских судеб. Отсюда — особый интерес, с которым читается книга. Это интерес не только к знаменательным страницам истории национального кинематографа, но и к личности художника.

В 1976 году К. Ярматов заканчивал съемки фильма «Далекие близкие годы» в Ургенче. Туда в это время приехал один из крупнейших режиссеров современности Микеланджело Антониони. Он искал натуру для нового своего фильма. В беседе Антониони сказал К. Ярматову: «Да, вы мудры, и ваша мудрость имеет своим источником Великую революцию, которой, как мне сказали, вы были свидетелем и участником, а теперь имеете счастье снимать о ней свои фильмы».

«Льщу себя надеждой, — заканчивает воспоминания К. Ярматов, — что толика такой мудрости есть в этой книге».

Книга К. Ярматова (а она сделалась содержательнее, богаче благодаря насыщенному иллюстративному материалу, включаемому в себя немало уникальных фотографий) уже нашла своего читателя. Она расширила и углубила наши знания об экранном искусстве Узбекистана и его мастерах.

Э. АМАШКЕВИЧ.



Абдуманнон Убайдуллаев

Что такое «табассум»

В отчетном докладе ЦК XXVI съезду КПСС вопросы литературы и искусства освещались в прямом контексте с задачами формирования нового человека. И это глубоко закономерно: партия всегда видела высшее назначение советского художника, его главную миссию в борьбе за коммунистическую нравственность, коммунистический идеал личности. Новый человек — это уже не высокая мечта, это — реальность нашего социалистического бытия. «Советский человек, — говорил Л. И. Брежнев, — это добросовестный труженик, человек высокой политической культуры, патриот и интернационалист. Он воспитан партией, героической историей страны, всем нашим строем. Он живет полноценной жизнью созидателя нового мира». Но, продолжал Л. И. Брежнев, «есть у нас и такие лица, которые стремятся поменьше дать, а побольше урвать от государства. Именно на почве такой психологии и появляются эгоизм, мещанство, накопительство, равнодушие к заботам и делам народа»¹.

В искоренении этих уродливых явлений, в борьбе с недостатками во всех сферах нашей жизни, без преувеличения, огромная роль принадлежит средствам массовой информации и в их числе радио.

Критика и самокритика, в которых партия видит одно из эффективных средств успешного достижения поставленных социальных целей, имеют в нашем обществе различные формы. И многие из них свя-

заны с осмеянием пороков и недостатков, избранных объектом критики.

Сатирическая литература имеет, вероятно, столь же древнюю историю, что и писательское творчество вообще. Но вот сатира радионная, телевизионная — искусство молодое.

Эти заметки — о сатире и юморе в эфире, о тех смеховых радиоформах, которые сумели за сравнительно короткое время занять прочное место в системе нравственно-эстетического воспитания республики.

Для узбекского радиотеатра издавна характерен повышенный интерес к «малым» сатирико-юмористическим формам драматургии. Естественно, интерес этот связывался в первую очередь с аскей — древним жанровым видом народной смеховой культуры, имеющим поистине огромную популярность в массах.

В начале 60-х годов литературно-драматическая редакция начала время от времени передавать в эфир отдельные юмористические рассказы узбекских авторов. Постепенно такие опыты сложились в передачу «На волне сатиры». В 1967 году при литературно-драматической редакции был создан отдел сатиры и юмора. В эфир вышла сатирическая передача «Табассум» («Улыбка»), превратившаяся в регулярный радиожурнал, который уже опирался не на случайные контакты литературно-драматического вещания с сатириками и юмористами, а на формирующееся новое ответвление радиотеатра — сатирико-юмористическое.

В первые годы поиски в этой области были осторожны. Осваивался многонациональный советский литературный материал, добротный, выдержавший испытания временем. На нем учились радиоинсцени-

¹ Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики. «Правда», 24 февраля, 1981 г.

ровщики, режиссеры и актеры. Режиссура — правда, на первых порах робко — старалась найти специфический «радиоключ» к сатире и юмору. Вставали проблемы жанровой интерпретации литературного материала, стилистики актерской игры, музыкально-шумового решения произведений. Главным выверенным ориентиром был один — народная потребность в смехе, в комике, имеющей серьезное общественное содержание и выступающей как врачеватель человеческих пороков.

Верное понимание социальной значимости смеха, чувство ответственности за качество материала, выходящего в эфир, обуславливали выбор репертуара: в эфир шли уже напечатанные, получившие общественную оценку произведения Гафура Гуляма, Абдуллы Каххара. Видное «репертуарное место» заняли чеховские рассказы. Роль инсценировщиков была поручена крупным мастерам сцены Наби Рахимову и Амину Турдыеву. Они же были исполнителями. Их уважительное, бережное отношение к литературному первоисточнику было очевидным. Но оно смыкалось с творческой робостью в радиодраматическом переосмыслении писательского текста. Неукоснительно сохранялась композиция. Авторская речь вкладывалась в уста ведущего. Диалоги поручались актерам.

Словом, приемы радиоинтерпретации литературного материала были такими же архаичными, как и в начальный период радиотеатра.

Постепенно ведущий стал «выпадать» из структуры радиовещания. Поиск новой емкой и действенной композиции произведения, опирающейся на органику выразительных средств радиоязыка, все более обнаруживал его ненужность. Впрочем, инерция привычных способов радиоинсценировки порождала у многих опасливые вопросы: не обедняется ли без ведущего смысл исполняемого произведения? Не создает ли его отсутствие путаницу в восприятии слушателей?

Практика, однако, показала, что эти опасения были безосновательными.

Отказ от ведущего имел серьезные творческие последствия. Выяснилось, что чисто диалогически, без «сторонних» комментариев, развернутая перед микрофоном картина сатирико-юмористического содержания при точно найденной сюжетно-композиционной структуре дает живой театрально-эстрадный эффект, если, разумеется, при этом соблюдено требование оптимальной длительности звучания произведения в эфире. Так, с середины 70-х гг. начался стремительный переход радиожурнала «Табассум» на новые рельсы: радиорепродукции сатирико-юмористической литературы энергично вытеснялись миниатюрами, скетчами, репризами, юморесками, написанными специально для эфира.

Весьма значительный вклад в становление смеховых национальных радиформ внес Саид Ахмад. Его произведения «Менинг дустим Боббоев» («Мой друг Баббаев»), «Ханка билан Танка» («Ханка и Танка»), «Келинлар кузголни» («Бунт невесток»)

положили начало узбекской сатирической радиоминиатюре. Интересно, что материал «Бунта невесток» впоследствии был развернут автором в колоритную современную комедию, с успехом поставленную в академическом театре драмы имени Хамзы.

В радиоминиатюрах «Олик-солик» («Приданое»), «Лампа-шиша» («Стекло для лампы»), «Киличчи-тукмок» («Меч и дубинка») С. Ахмад, используя средства сатирической гиперболизации, высмеивает отрицательные черты в человеческих характерах, те их свойства и качества, которые вступают в противоречие с принципами нашей нравственности, со здравыми представлениями о том, что составляет норму поведения на работе, в повседневном быту, в семье.

При этом смех писателя не уничтожающий, он добрый в своей основе, ибо сатирик верит, что дурное, наносное в его героях преодолимо.

Для С. Ахмада-сатирика характерна радиоминиатюра «Киличчи-тукмок». Молодожены никак не хотят уступить друг другу. В итоге — разрыв. Чтобы узаконить его, они призывают в судьи махаллинских аскакалов. Жена считает, что осудят мужа, он же убежден в обратном. Выслушав обе стороны, старики решают, что и муж и жена виноваты в равной степени. Они наставляют молодых словами: «Ни на земле, ни в космосе женщину, которая не занята своим домашним очагом, никто уважать и тем более любить не станет. А с таким мужем, который занят только друзьями, ни одна женщина жить не станет». Но эти наставления толкуются молодоженами по-своему. Им вдруг кажется, что их в самом деле хотят развести. Но это для них невозможно — ведь они любят друг друга. Истинные намерения аскакалов, конечно, выясняются, и звучащий в финале смех героев воспринимается как залог того, что они сумеют сохранить семью.

Став постоянным автором «Табассума», С. Ахмад, чьи радиопроизведения приобрели широкую популярность в немалой степени благодаря исполнительскому мастерству заслуженного артиста УзССР Эргаша Каримова, — продолжает развивать и совершенствовать найденную форму.

В сущности, сатирические опыты писателя на радио стали фундаментом, на котором в 70-е гг. утвердился в национальном эфире театр смеха. Характерный факт: такие миниатюры, как «Синовчи и чувчи» («Девичья бригада»), «Загс», «оторвавшись» от своей первоначальной формы, ушли в народ, став частью фольклора.

Великолепна «Девичья бригада». Весь юмор коллизии состоит в том, что в этом женском коллективе есть один трудный мужчина, успешно подвергаемый перевоспитанию. Именно у этого героя берут интервью, расспрашивают о жизни бригады. Прекрасно исполнил свою роль артист Хасан Юлдашев. Успех миниатюры был таков, что она получила драматургическое развитие в виде своеобразного радиосериала, в создании которого принимали участие разные авторы. В этом был свой

резон: хотя от подражания С. Ахмаду уйти не удалось (а, впрочем, может, такого намерения и не было), авторы прошли в этой работе неплохую школу сатирической радиодраматургии. И творческим ориентиром для них были произведения С. Ахмада с удивительно колоритными характеристиками, с необычайно сочным, истинно народным языком.

В сравнительно недавно прошедшей на страницах «Литературной газеты» дискуссии «Как живешь, комедия?» известный комедиограф Г. Горин справедливо утверждал: «Сатира не имеет права плестись в хвосте жизни, она всегда должна быть в авангарде общественной мысли, а не в обозе. Смелость, острый глаз — это профессиональные качества писателя, работающего в сатирическом жанре»². Эту точку зрения полностью разделяет С. Ахмад. Но его сатирической манере не свойственна лобовая открытость, он предпочитает без нажима выявлять в своих персонажах то, что достойно осмеяния. В диалоге с критиком Умарали Норматовым писатель сказал, что цель его сатиры — не уязвить человека (читателя, зрителя, слушателя), а исподволь заставить его узнать в самом себе те пороки и недостатки, над которыми смеется автор. Пусть это узнавание будет сопровождаться всего лишь снисходительной улыбкой (мол, намек понимаю), но и тогда цель будет достигнута.³

Однако узбекский сатирико-юмористический театр, несомненно, обеднил бы себя, если бы ограничил свою палитру лишь такими красками, которые лежат в «смеховом спектре» Саида Ахмада. К чести «Табассума», он привлек к работе писателей разных творческих манер и тематических направлений.

Так, миниатюры и интермедии молодого автора Фархада Мусаджанова, — «Узимзинг одам» («Свои люди»), «И хонимнинг найранги» («Проделки ханум И») отличаются ярко выраженным сарказмом. Писатель обличает умственную ограниченность, смыкающуюся с невежеством, пристрастие к накопительству, «вещизм». Социальная выпуклость сатиры Ф. Мусаджанова достигается тем, что его герои — люди, получившие современное образование. У них есть «идеи» и «идеалы». Но это именно идеи и идеалы в кавычках, потому что живут они согласно нравственному кодексу мещан. И заслуга актеров Наби Рахимова и Эркили Маликбаевой состоит в том, что они сумели раскрыть отталкивающие черты современного мещанства в образах жизненно точных и сатирически беспощадных.

Остра сатира и другого молодого автора — Сагдуллы Сияева. В его «Совук одам» («Холодный человек») обрисован тип личности, для которой не существует естест-

венных радостей бытия. Герой не понимает, как можно радоваться порханию птиц, восходу солнца. Для него непостижимо, что люди смеются: «Неужели у каждого из них в доме все в порядке?!» Актер Х. Умаров создал необыкновенно сильный образ холодного, внутренне как бы обесцвеченного человека. Он нелеп, смешон, но по-своему страшен.

С. Сияев, безусловно, даровитый автор со своим сатирическим видением, он наблюдателен, реалистически точен в деталях. И поэтому затруднительно объяснить, почему от живой жизни он порой уходит в сторону расхожего анекдота не очень высокого вкуса. Например, рассказ «В роддоме» откровенно «эксплуатирует» всем известную байку о том, как отец, ожидавший рождения сына, устраивает медикам скандал из-за того, что они-де «подложили» ему девочку, а мальчика отдали «по знакомству» другим. Даже если согласиться с тем, что инсценирование популярных анекдотов не противопоставлено сатирическому радиотеатру, то все равно нельзя не вспомнить, что точно такой же сюжет уже отыгрывается в сатирическом киножурнале «Фитиль».

Из старого анекдота выросла и «Лотерея» Джемалитдина Асамиддинова. Муж приносит домой лотерейный билет и вместе с женой начинает мечтать о выигрыше автомобиля. Как положено, возникает тема цвета будущей машины. Спор, скандал, жена требует, чтобы муж ей отдал ключи от несуществующего автомобиля...

Впрочем, было бы несправедливым умолчать о том, что общеизвестные сюжетные схемы оба автора сумели расцветить национально-колоритными красками, живыми черточками. Но как бы то ни было, путь «цитирования» анекдотов вряд ли перспективен для «Табассума».

Отряд радиосатириков и юмористов между тем численно растет. Появились новые интересные имена — Н. Аминов, А. Мукимов, П. Кузибаев, И. Закиров, Т. Рахимов, Т. Садыков, Э. Мусаев. Популярность «Табассума» ширится. Традиционными стали встречи работников радиожурнала со слушателями. В ташкентском парке культуры и отдыха им. Пушкина на такие вечера собираются порой до 18 тысяч человек. Начинаются они с демонстрации искусства аскиябазов, которые как бы дают настрой всем предстоящим выступлениям профессиональных сатириков и редакторов. Это очень интересная форма прямого воздействия импровизационного народного творчества на сатирико-юмористическую радиодраматургию. Дело не только в изощренном языковом мастерстве народных острословов, не только в тонкости и многообразии их смеховых приемов, что само по себе уже составляет великолепную творческую школу сатирического мастерства. Главное тут в активном вторжении аскиябазов в жизнь, в реальную сложность и многозначность человеческих взаимоотношений. Они будто развертывают перед зрителями радиожурнала богатство сюжетов и тем, рожденных самой действительностью.

² Г. Горин. Кем назначен главначлупс? «Литературная газета», 23 марта 1979 г., № 21, стр. 8.

³ С. Ахмад. У. Норматов. Кулги сеҳри («Волшебство смеха») «Узбекистон маданияти», 18 сентября 1975 г., № 75, стр. 3—4.

Встречи в парке им. Пушкина позволили «Табассуму» приблизиться к новому рубежу. В связи с этим газета «Советская культура» писала: «Стало ясно, что у сатирической передачи квалифицированный и заинтересованный слушатель, чутко отмечающий все интересное, полезное и, наоборот, неприемлющий пустозвонства, ухода от острых вопросов»⁴.

В повестку дня встало включение в радиожурнал критических материалов на строго документальной основе. Еще раньше была предпринята попытка создать радиодиффетон. Сделанный методом «скрытого магнитофона», он был посвящен одной из острых проблем обслуживания населения. Материал получился и хлестким, и действенным. Однако по разным причинам жанр радиодиффетона дальнейшего развития не получил. Полагая, что это следует «комбинировать» иными формами, редакция взяла на вооружение жанр репортажа из тех мест, которые становились объектом критики радиослушателей (рынки, магазины и т. п.). Но в целом следует признать, что материалы, выполненные на документальной основе, не заняли постоянного и прочного места в программах «Табассума». Интерес к ним у редакции носит характер вспышек. Это особенно заметно на фоне целеустремленного развития художественных сатирико-юмористических форм.

«Смех, — писал Н. В. Гоголь, — великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виноватых, как связанных заяц»⁵.

«Малые формы» узбекской радиодраматики показали, что им по силам не менее крепко «связывать виноватых», чем это могут ведущие комедийные жанры. И тут заслуга не только радиодраматических писателей, но и мастеров национальной сцены. Опыт актерской работы в «Табассуме» народных артистов СССР Н. Рахимова и Р. Хамраева, народных артистов УзССР А. Турдыева, Г. Агзамова, М. Якубовой, Д. Таджиева, Х. Умарова, Р. Болтаева, С. Ходжаева послужил фундаментом расцвета комедийного исполнительского искусства в узбекском радиотеатре.

Сегодня его ударную творческую силу составляют заслуженные артисты Узбекской ССР Э. Каримов, Б. Ихтияров, Т. Таджиев, Р. Ибрагимов, А. Юнусов, артисты Р. Каримова, Х. Шарипов, С. Зиявутдинов, Х. Юлдашев. Их комедийная палитра щедра, краски ее имеют множество градаций — от сарказма до тонкой, едва заметной иронии. Многие из названных актеров снимаются в сатирическом журнале «Наштар» киностудии «Узбекфильм», пос-

тоянно выступают в театре миниатюр Узбекского телевидения.

Еще один существенный момент в работе радиожурнала — это заметная интернационализация его репертуара. Прочное место на «страницах» «Табассума» заняли произведения болгарских, венгерских, польских, чешских сатириков и юмористов. «Своим» автором стал турецкий писатель Азиз Несин. Ну, и конечно, программы «Табассума» уже непредставимы без рассказов и интермедий ведущих юмористов братских литератур.

Однако время ставит перед узбекским сатирико-юмористическим радиотеатром новые задачи, повышаются требования к нему. Совершенно прав Р. Рахманов, когда в своей книге «Эфир и советский образ жизни» пишет: «Систематические научные исследования читательской и зрительской аудитории становятся необходимым условием повышения эффективности пропаганды, совершенствования радио- и телепрограмм»⁶.

Один из важных источников получения достоверной картины потребностей аудитории — анализ почты, писем слушателей. А в «Табассуме» пишут много — пишут горожане и сельские жители, военнослужащие, студенты, изыскатели, работающие в пустыне. Письма приходят даже из-за рубежа. Почта свидетельствует, что радиожурнал слушает практически вся Средняя Азия. Завидная популярность! Но именно она и обязывает неустанно совершенствовать программу. И на этом пути еще много неиспользованных возможностей.

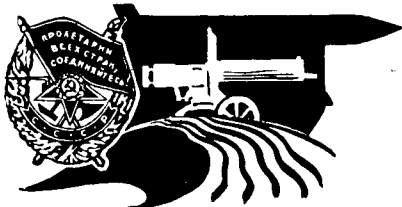
Так и остается не освоенным богатейший материал современной асии. Не нашел пока своего места в программе жанр сатирической сказки. Вероятно, есть смысл открыть рубрику типа «Впервые в «Табассуме»: она позволила бы дать постоянный выход в эфир встречающимся в почте журнала интересным литературным опытам начинающих авторов. А фрагменты из лучших комедийных спектаклей областных театров, самодеятельных сценических коллективов? Разве они не помогли бы разнообразить программу, внести в нее свежие краски и новые имена? Словом, резервы творческого роста у «Табассума» есть.

Воспитание смехом, имеющим точно выверенный прицел, это всегда воспитание нравственное, гражданское. Такова миссия тех, у кого в руках находится острое оружие сатиры и юмора. Журнал «Табассум», являющийся своеобразной сценой узбекского комедийного радиотеатра, доказал, что он научился им владеть. Но надо совершенствовать мастерство, идти вперед!

⁴ А. Несин «За каждым письмом — человек». «Советская культура», 7 ноября 1979 г., № 89, стр. 5.

⁵ Н. В. Гоголь. Собр. соч. в 14 т., т. 8, М., 1952, стр. 181

⁶ Р. Рахманов. Эфир и советский образ жизни. Ташкент, «Узбекистан», 1980, стр. 108.



БОЕВОЙ ПУТЬ ТУРКЕСТАНЦЕВ

Вали Гафуров

Далекие и близкие

В программе пребывания в городе Волжском, куда я приехал по приглашению комитета ветеранов войны и комсомольцев трубного завода, осталась последняя встреча. Я немного волновался. Сколько уже было их, таких встреч здесь! Казалось бы, давно привыкнуть пора. Но... не смог.

До самого вечера я не мог прийти в себя, освободиться от того состояния, какое обычно бывает при ожидании встречи с близкими, дорогими для тебя людьми.

Облегчение пришло только во Дворце культуры, когда началась запланированная встреча. На душе становилось все светлее и радостнее от выступлений, звучавших с трибуны. Звучавших, как рапорты о новых трудовых свершениях, новых победах на мирном фронте создания.

Но вот и этот интересный, волнующий вечер пришел к концу. Участники его разошлись. В зале Дворца культуры осталось лишь десять — пятнадцать человек. Все они были старыми фронтовиками, участниками Сталинградской битвы. Среди них была и одна женщина.

— Татьяна Миронова, — просто представилась она. Имя и фамилия показались мне очень знакомыми.

— Вы, случайно, не служили в Краснознаменном 36-м гвардейском полку? — спросил я Миронову.

— Да!... — живо и настороженно откликнулась она. — Вы угадали. Только...

— В батальоне капитана Белых, не так ли?

— Д-да... Уж не однополчанин ли вы, случайно?

— Да, Татьяна Ивановна, мы и в самом деле вместе воевали. Я вот до сих пор помню, что вас звали Королевой батальона.

Оживленный разговор, который бывает обычно, когда соберутся вместе фронтовые друзья, сразу смолк. Все стали прислушиваться к нашей беседе.

— Да, звали, действительно... Только так давно это уже было. Теперь меня можно называть с полным правом Бабушкой батальона.

— Нет! — вырвалось у меня взволнованно и искренно. — Вы всегда были, есть и будете нашей прекрасной Королевой.

— Конечно, — поддержал Иван Васильевич Суворов, ветеран вой-

ны, сопровождавший меня на волжской земле.— Наговаривает на себя Татьяна Ивановна. Она такая же красавица, как и была.

Вокруг вспыхнул дружный и добрый смех. Веселее и звонче, заразительнее всех смеялась сама Таня Миронова. Да, для меня она всегда останется юной Таней Мироновой.

— А вы из какой роты?..— спросила меня взволнованная неожиданной встречей с прошлым Татьяна Ивановна.

— Пулеметчиком я был в четвертом взводе. В том бою, в котором погиб Белых, тяжело ранило и меня.

— Что? Так вы и есть тот самый пулеметчик?.. А я слышала, что вы в госпитале умерли. Радость-то какая! Живой вы, живой, оказывается...

Долго еще вспоминали мы дни фронтовой жизни, долго не вставали из-за праздничного стола фронтовики. Да и удивительно ли это, когда собрался за столом люди, которых породнила война, которые не виделись с тех пор уже тридцать три года?

— А вам когда домой возвращаться?— поинтересовалась Татьяна Ивановна.

— Завтра вечером,— ответил я.

— Ну, тогда времени хватит,— обрадовалась она.— Если хотите, я свожу вас на могилу капитана Белых, на то место, где и вас ранило...

В гостиницу я возвращался под впечатлением этой встречи. Радовался тому, что представилась счастливая возможность побывать там, где треть века назад вел кровопролитные бои с врагом наш полк, где находится священная для меня и для всех, кто знал этого замечательного человека, могила капитана Белых, где ранен был я...

... Ночь. Я один в гостиничном номере. Все вокруг погрузилось в тишину. Спят уставшие от дневных хлопот люди. И только мне не спится. Да и как уснешь в такую ночь, когда память властно влечет тебя в прошлое, оживляет, снова заставляет видеть то, что и больно вспоминать и невозможно забыть.

... Я вижу тянущееся к волжскому берегу редколесье, у которого батальон капитана Белых держит оборону. Приданные батальону минометы на рассвете 19 октября открыли дружный огонь. В ответ на нашу часть ураганом обрушились снаряды вражеской артиллерии. Столбы черной земли, клубы пыли и едкой пороховой гари заволокли все вокруг. Стало темно, как в вечерние сумерки. Сколько это продолжалось, сказать трудно, только вдруг над моим ухом раздался звонкий девичий голос:

— Гвардии рядовой Гафуров — срочно к капитану!..

Это была Таня, наша Королева батальона.

Я взял пулемет и последовал за нею. Пока мы добрались до капитана Белых, показалось, что прошли все круги ада. По дороге выяснилось, что многих из минометчиков ранило еще в начале боя, а комбату заменить раненых было нечем. Между тем, показались вражеские танки, и капитан Белых вынужден был сам встать к одному из минометов, а Таню послал за мной.

Я уже был совсем рядом с капитаном Белых, когда заметил, что нас обходят два немецких танка. Затем с другой стороны показались еще два. И тут же с новой силой гневно зарокотали наши пушки и минометы.

Не мешкая, я бросился помогать комбату: дорога была каждая секунда. Я хватал из ящика мину за миной и, почти не глядя, подавал Белых. Миномет бил не умолкая. Вот вспыхнули один за другим четыре немецких танка. Но их обошли следовавшие сзади гитлеровцы и устремились прямо на наши позиции. Обстановка складывалась критическая, стрельба с обеих сторон усиливалась. В миномет, что рас-

полагался неподалеку от нашего, угодил снаряд, и он замолк. Прямым попаданием убило и всех минометчиков. Где упал второй снаряд, я так и не разобрал. Только услышал сначала все приближающийся вой, потом мощный взрыв и визг осколков.

... Капитана Белых унесли санитары, а потом я услышал, что он умер, не приходя в сознание.

А вот Таня, едва доведя меня до медсанбата, куда-то исчезла. Впрочем, так оно и должно было быть, ведь она служила в отделении связи.

Позже дошли до меня слухи и о ее гибели. Но, к счастью, как сегодня только выяснилось, всего лишь слухи. В том страшном бою переменчивая солдатская судьба пощадила ее.

... Назавтра Миронова появилась в гостинице вместе с Суворовым. Даже немного раньше назначенного срока. Она, оказывается, попросила на заводе машину и заехала за Иваном Васильевичем.

Мы проехали вдоль берега Волги и через некоторое время свернули к колхозному полю. Повеяло запахом пробуждающихся от зимней спячки деревьев. Значит, где-то рядом и тот самый лесок, в котором вел свой последний бой капитан Белых.

— Да, это тот самый лес,— будто угадав мои мысли, сказала Татьяна Ивановна.— Разросся, оправился от ранений. Жизнь берет свое... Жизнь всегда возьмет, должна брать свое...

— Остановите,— попросила Татьяна Ивановна водителя.— Вот мы и приехали...

Последние слова они почти прошептала. Голос перехватило от волнения.

Вышли из машины. Постояли, вслушиваясь в тишину, а потом пошли с Иваном Васильевичем вслед за Мироновой.

Вот она остановилась, помолчала и тихо сказала:

— Здесь окопы и траншеи еще сохранились. У этого окопа и был смертельно ранен капитан Белых.

Теперь узнать место боя мне было нетрудно, ведь каждый сантиметр его намертво запечатлелся в памяти. Конечно, окопы и траншеи сейчас осыпались, поросли травой. Они не те, что были тогда, и все-таки — те. Почему-то целее всех оказались два из них, там, где стоял наш с капитаном миномет.

— Я часто сюда прихожу,— снова заговорила Татьяна Ивановна.— Пока жива, вечно буду хранить память о своем командире. Это мой солдатский и человеческий долг. Как могу, поправляю каждый раз окопы. А здесь сержант Гусев дрался. Помните его?

... Помню, всех помню, Королева батальона. Солдату не дано забывать тех, с кем делил не только глоток воды из фляжки и ржаной сухарь, но и смерть. В тот раз смерть досталась капитану Белых, сержанту Гусеву да и многим другим. Мне тогда повезло — я остался жив, но лишился зрения.

— А ведь и вас тогда ранило, Татьяна Ивановна?

— Да, еще утром,— отозвалась она.

Потом мне послышались какие-то непонятные звуки, будто разгребали снег,

— Каска!— воскликнула Татьяна Ивановна.

Она и в самом деле, присев на бровку окопа, разгребала снег.

— Может быть, это капитана Белых?..

Я взял в руки каску. Холодный металл обжег пальцы. А вот ровное отверстие, какое бывает только от осколков. Комбата ранило осколком...

— Может быть,— так же тихо ответил я.

Мы прошли еще немного и снова остановились. Рука коснулась ограды. Это была могила капитана Белых. Нет, не одного комбата.

Это была братская могила таких далеких и таких близких, прославленных и безвестных пока защитников Волжской твердыни.

Мы сняли шапки и замерли в торжественно-скорбном молчании.

«Смертью товарищей жив...» — вспомнились мне строки поэта.

Помните, люди, эти простые и мудрые слова! И еще помните: мир жив не только смертью товарищей наших, но и мужеством, верностью солдатскому долгу. Такой, верной своему долгу, навсегда останется в моей памяти Татьяна Ивановна Миронова, наша Королева батальона...

Последний поклон отдали мы этой земле и пошли назад. Шли не оборачиваясь. Не надо часто оборачиваться на такое прошлое. Но помнить о нем надо всегда. Чтобы подобное не повторилось в будущем. Никогда!

Тетя Соня

В Янгиюле открывали памятник землякам, погибшим в Великую Отечественную войну. На церемонию собралось много народу: и убежденные сединой ветераны, надевшие по этому случаю боевые ордена и медали, пожилые женщины, молодежь, десятки мальчишек и девочек в красных галстуках.

У подножия монумента — клумбы, а вся окружающая площадь, словно роша, усажена деревьями. Было безветренно и очень жарко. Как будто сознавая значимость момента, цветы склонили свои бутоны, зеленые листочки.

Под торжественные звуки музыки медленно спадает покрывало, и перед взором встает величественное изваяние воина-освободителя. На митинге, посвященном открытию памятника, выступили участники сражений за свободу и независимость родной Отчизны, рассказавшие о героических подвигах советских людей в тяжелые годы войны, юноши и девушки дали клятву верности делу отцов.

Люди стояли молча, вспоминая родных и близких, отдавших свои жизни за счастье народа, их сердца сжимала боль незаживающих ран. Сколько лет минуло после победных залпов, а никогда не изгладятся в памяти обстановка военных дней, лица солдат и офицеров, с которыми ходил вместе в бой, кому отдавал последние почести!

Особенно взволновало меня появление на трибуне старенькой женщины. Годы сгорбили ее, посеребрили волосы, наложили печать на лицо. Она, видимо, хотела что-то сказать, но произнесла только одно слово: «Сыночки!» — и зарыдала. Многие женщины не выдержали и тоже заплакали. Да что там, у многих с более крепкими нервами на вернулись слезы на глаза.

Спустя несколько дней я проходил мимо памятника и встретился с этой женщиной. Она сидела на скамейке, понунив голову, с платочком у глаз. Какая, видно, большая беда обрушилась на хрупкие ее плечи, если прошедшие после войны многие годы все еще не осушили ее глаз!

Мне очень хотелось хоть словом утешить старушку, но я опасался бередить ее раны. И все же не выдержал, спросил: почему она не смогла тогда говорить. По дыханию женщины я сразу понял, что мой вопрос глубоко ее взволновал. Я готов был провалиться сквозь землю за свою нетактичность и встал, чтобы уйти. Но она дотронулась до моей руки и тихо сказала:

— Садитесь, я все расскажу...

Родом она из Гомельской области. Муж, Александр Петрович, работал в райкоме партии. У них было двое детей: дочь Клава, 18 лет, и 15-летний сын Коля. Жила семья дружно, в достатке. Счастье нарушила война.

Однажды муж вернулся из обкома партии и сказал, что на завтра назначена эвакуация. Он должен ею руководить, потому будет очень занят. Семью он хотел отправить первым эшелонам.

— Только вместе с тобой, только вместе,— отвечала жена, словно в бреду.

И вот уже последний поезд трогается на восток, а жена повторяет одно и то же:

— Только вместе с тобой...

Так на временно оккупированной врагом советской земле осталась семья партийного работника. Сам Александр Петрович и не мог эвакуироваться: по заданию обкома партии он оставался руководить партизанским движением. Раз уж семья не смогла выехать, он несколько изменил планы. По его совету Клава должна была поступить на электростанцию, а Колю отец взял с собой в отряд народных мстителей. Так мать осталась в доме одна.

На той же улице, по соседству, жил парень лет двадцати по имени Виктор. В селе хорошо знали, любили и жалели его. Юноша отличался удивительно кротким нравом, был добр и справедлив. Еще в детстве из-за какой-то болезни он лишился зрения, но это не мешало ему быть общительным, веселым и жизнерадостным.

Немцы не трогали слепого, и он свободно ходил с сумкой нищего, порой исчезая из села на несколько дней. Мать никогда не замечала, чтобы ее дети особенно дружили с Виктором, но теперь он стал изредка заходить в дом одинокой женщины. А однажды, громко попросив подавание, он шепотом добавил:

— Тетя Соня, надо поговорить.

На мгновение мать растерялась, предчувствуя недоброе. Но тут же овладела собой, пригласила:

— Входи, родимый, откушай горячей картошечки.

Войдя в комнату, юноша без предисловий рассказал, что встречался с Александром Петровичем, Колей, был у Клавы. У них все в порядке, и они просят ее не беспокоиться.

Вскоре по селу из уст в уста стали передаваться новости о том, что партизаны развертывают настоящую войну с захватчиками. То воинский эшелон пустят под откос, то разгромят комендатуру, то взорвут мост, то приведут в исполнение приговор изменнику. Эти вести и радовали, и усиливали тревогу за судьбу детей и мужа: что с ними, где они?

Теперь каждый приход Виктора был для матери праздником. Она с нетерпением ожидала его, чтобы услышать желанную весточку о самых близких. Увы, и эта ниточка оказалась непрочной. Поздним вечером раздался негромкий стук в дверь, и, когда она открыла ее, то ропливо вошел незнакомец.

— Тетка, уходите отсюда быстрее! Клаву и Виктора схватили фашисты,— сказал он и исчез в темноте.

Сердце, казалось, остановилось. Она не помнит, как собрала кое-какие пожитки и ушла из дому, как добралась до квартиры подруги. А утром в покинутый дом нагрянули гитлеровцы, разграбили все, что могли, а дом подожгли.

Еще несколько дней спустя все население согнали на площадь, где уже стояли две виселицы. Их казнили рядом: красавицу-дочку Клаву и слепого парня Виктора, которого мать успела полюбить, как родного сына.

Женщина, взволнованная воспоминаниями, вновь заплакала. Я молчал, не находя слов утешения. Да и есть ли такие слова, которыми можно облегчить ее боль?

Она сама находилась на площади, когда происходила казнь, и упала, как подкошенная, увидев избитую, в синяках, полураздетую свою девочку и столь же дорогого ей слепого парня, еле держащегося на ногах.

Сознание вернулось недели через две, а встать стала лишь спустя три месяца. Весна уже была в разгаре. Как-то к ней пришел тот же незнакомец. Он сказал, что должен проводить ее в партизанский лагерь. Таков приказ Александра Петровича.

Долго шли по лесу, пока не попали на дорогу. Там ожидала запряженная телега. К восходу солнца добрались до отряда.

Я могу только представить, какой радостной была встреча матери с сыном и мужем и какой она была горькой от сознания, что рядом с ними никогда не будет Клавы.

Партизанские будни суровы, распорядок дня — железный. Уже вечером большая группа партизан уходила в очередную боевую операцию. Среди них был Николай. Командовал группой Александр Петрович. И опять долгие часы тревожного ожидания.

Рано утром она услышала чей-то радостный крик: «Идут!» Вскочила, заторопилась навстречу. Увидела одного, второго. Следом несли носилки. Предчувствуя беду, женщина сделала несколько шагов и упала без сознания. А когда очнулась, то увидела стоящие рядом два гроба с телами дорогих ей людей. Последующие дни она была словно в бреду. Плохо помнит, как вместе с ранеными ее отправили на Большую землю, поместили в госпиталь. И только тут стала постепенно приходить в себя. Ухаживая за тяжелоранеными, она особенно привязалась к солдату по имени Ахмеджан. Потерявший зрение молодой воин напоминал ей слепого Виктора, и всю свою материнскую любовь она перенесла на него.

Когда же подошло время выписываться молодому солдату, начальник госпиталя предложил женщине сопровождать его до Янгиюля. Так три десятилетия назад она оказалась в этом узбекистанском городке, да и осталась здесь. Живет у своего сына Ахмеджана.

Прощаясь, она пригласила меня побывать у них в гостях. Старая женщина не ответила мне на вопрос, почему не смогла выступить на митинге. Но все и так было ясно.

... Стоит в Янгиюле памятник воинам. Часто можно видеть возле него старую женщину — тетю Соню. Люди, поклонитесь им до земли!



ПИСАТЕЛИ
ЗАРУБЕЖНОГО
ВОСТОКА

Лэсли Сибанда

ЗИМБАБВЕ

Памяти павших героев

Товарищи по оружию,
Стынет слеза на щеке.
К эху боев прислушиваясь,
Стою с автоматом в руке.

Только что отгремели
Сраженья на нашей земле,
Птицы побед прилетели
На свет, засиявший во мгле.

Первые дни свободы —
Первая память о вас.
Под голубым небосводом
Будете вы среди нас.

Рядом шагать молодыми,
Будущее растить,
Подвигами своими
Жизни продолжив нить.

В горле комок тяжелый,
Я не скрываю слез —

Помните, горы и доли,)
Время военных гроз.

Помните павших героев,
Их благородная кровь
Силы живых утроит,
Нам завещав любовь.

К родине, к жизни, к народу,
Что победил в бою
И навсегда свободу
Завоевал свою.

Павшие, спите спокойно,
В легендах вам молодеть —
Жизни прожившим достойно,
Достойно встретившим смерть.

Товарищи по оружию,
Стынет слеза на щеке.
К эху боев прислушиваясь,
Стою с автоматом в руке...

Перевод Феликса Бурташова.

Скарлэт Уитмэн

ЮАР

**Все было прекрасно тогда,
в двадцать первом**

К 50-летию Южноафриканской коммунистической партии.

За дело народа в сраженьи идем —
так мы поклялись тогда, в самом начале.
Полвека шагаем и ночью и днем
сквозь тюрьмы и пытки, сквозь боль и печали.

Все было — ломался движения строй,
Все было — моменты отчаянья, страхи,
но мы поднимались единой стеной,
презрев одиночки, расстрелы и плахи.

Охота за жизнью и битва за жизнь —
две линии, два направленья на свете,
в непримиримости схватки сплелись,
которая длится пять десятилетий.

Нет, наша борьба началась не в тот год,
в тот год к единению сил пришли люди;
о, сколько же крови отдал наш народ
в сраженьях, которые мы не забудем!

О павших товарищах будем скорбить,
их подвиг — наш флаг, наша воля и вера.
Нам есть чем гордиться, нам есть о чем петь,
все было прекрасно тогда, в двадцать первом.

Он с нами — ведь опыт тех пламенных лет,
он в нашем ученье, товарищ, с тобою,
он в отблесках молний грядущих побед,
в обоях винтовок, готовых для боя.

Перевод Феликса Бурташова.

Анк Кумало

ЮАР

Босоногий африканец

Я увидел его
с автоматом в руках
где-то там, в неизвестном районе, —
теледиктор вещал о последних боях
в день восстания в Лиссабоне.

Не звезда —
он случайно попал на экран,
проскочил сквозь цензуру и глянец.
Он спокойно взглянул
в лица множеству стран,
босоногий боец-африканец.

И опять
в темных джунглях сражение кипит —
в португальской Гвинее-Бисау...
Или, может, показывали Мозамбик...
Иль Анголу? — Он всюду по праву.

Мир
всей Африки новой увидел порыв
в босоногом простом человеке.
О могуществе «вечной» империи миф
в этот день развалился навеки.

Перевод Феликса Бурташова.



Жорж Сименон

Перевод с французского Н. Брандис и А. Тетеревниковой



Рисунки П. Воронкина

РОМАН

Глава первая

Шлюз номер четырнадцать

В воскресенье, 4 апреля, с трех часов дня дождь лил как из ведра. В порту, что выше шлюза номер четырнадцать, стояли две моторные баржи, которые должны были спускаться по течению, одно разгрузившееся судно и еще одно — для очистки канала.

Около семи часов, едва начало смеркаться, оповестило о своем прибытии и вошло в шлюзовую камеру наливное судно «Эко-111».

Смотритель шлюза вышел неохотно, потому что у него в гостях были родственники.

К шлюзу подошла баржа, которую медленно тащили две лошади, но смотритель отрицательно покачал головой и вернулся в дом. Почти сразу же вслед за ним вошел знакомый коновод.

— Можно пройти через шлюз? Хозяин хотел бы завтра быть в Жювиньи...

— Проходи, если хочешь, но только шлюз закрывай сам.

Дождь все усиливался. Через окно смотритель видел коренастую фигуру коновода. Он, тяжело ступая, переходил от одной двери шлюза к другой. Баржа понемногу поднималась. За рулем стоял не хозяин, а его жена, тучная бельгийка из Брюсселя с ярко-желтыми волосами и пронзительным голосом.

В семь часов двадцать минут баржа «Провидение» остановилась напротив кафе «Флотское», позади «Эко-111». Лошадей поставили в конюшню. Коновод и хозяин баржи направились к кафе, где уже сидели другие речники и два лоцмана из Дизи.

В восемь часов, когда совсем стемнело, буксир подвел к воротам шлюза еще четыре судна, шедшие вниз по течению.

Народу в кафе «Флотское» заметно прибавилось. Заняты были все шесть столиков. В зале царило оживление. Было душно. Обсуждали несчастный случай, произошедший у шлюза 8. Суда, идущие вверх по течению, могли из-за этого прийти с опозданием.

А в соседнем помещении, освещенном керосиновой лампой, женщины покупали провизию.

В девять часов хозяйка баржи «Провидение» пришла в кафе за своим мужем и коноводом. Они попрощались со всеми и ушли.

К десяти часам почти на всех баржах были погашены огни. Смотритель шлюза проводил своих родственников до главной дороги в Эперне, пересекавшей канал в двух километрах от шлюза.

Он не заметил ничего необычного. На обратном пути, проходя мимо кафе «Флотское», он заглянул туда, и его окликнул знакомый лоцман:

— Зайди выпить рюмочку! Ты же весь вымок!

Смотритель стоя выпил рюмку рома.

Два коновода, отяжелевшие от красного вина, поднялись и пошли в конюшню, принадлежавшую хозяину кафе. Там они спали на полу, на соломе, возле своих лошадей. Они были не совсем пьяны, однако же выпили достаточно, чтобы сразу уснуть тяжелым сном.

В четыре часа утра один из коноводов разбудил товарища, и оба они принялись чистить своих коней. Они слышали, как выводили и запрягали лошадей с баржи «Провидение».

В тот же час зажег лампу в своей комнате на втором этаже хозяин кафе «Флотское». Он слышал, как баржа «Провидение» пустилась в путь.

В половине пятого заработал дизель на наливном судне «Эко-111», но отошло оно не сразу. Хозяин его сначала выпил грога в кафе, уже открытом в этот ранний час.

Один из коноводов вывел лошадей, чтобы запрячь их на дороге, по которой идут лошади, когда тащат за собой баржу. Другой рылся в соломе, искал потерянный кнут, и вдруг — о, ужас! — рука его коснулась остывшего тела.

Это происшествие всколыхнуло все Дизи и нарушило спокойную жизнь на берегу.

Комиссар Мегрэ раздумывал об всех этих фактах, стараясь представить себе обстановку. Это было в понедельник вечером. В этот день утром прокуратура города Эперне выехала на место, где был обнаружен труп, и после осмотра сотрудниками оперативного отдела и судебными медиками тело перевезли в морг.

По-прежнему лил дождь — мелкий, частый, пронизывающий.

У ворот шлюза снова какие-то люди и чуть заметно поднималась баржа.

Комиссар прибыл сюда час назад и с тех пор только и думал о том, как бы поближе познакомиться с внезапно раскрывшимся перед



ним миром, о котором он до сих пор имел смутное представление.

Смотритель шлюза сказал ему, что в бьефе¹ судов почти не было: две моторные баржи шли вниз по течению, одна прошла через шлюз после полудня, потом прошла баржа для очистки канала и две «Панама». Потом прибыл шодрон и привел еще четыре баржи.

Мегрэ узнал, что «шодрон» означает «буксир», а «панама» — баржа, не имеющая ни мотора, ни лошадей, поэтому ее хозяину приходится нанимать коновода с лошадьми на определенный рейс, это называется навигацией с малой скоростью.

¹ Бьеф — пространство между шлюзами.

Прибыв в Дизи, комиссар увидел деревушку возле каменного моста.

Ему пришлось шлепать по грязи всю дорогу, по которой идут лошади до самого шлюза, а это в двух километрах от Дизи. Здесь он нашел дом смотрителя шлюза, выстроенный из серого камня, на дверях надпись — «Проверка судовых документов».

Комиссар зашел в кафе «Флотское» — второе здание в этой местности. Других домов здесь не было.

Слева довольно бедный зал со столиками, покрытыми коричневой клеенкой, и стенами, выкрашенными наполовину коричневой, наполовину грязно-желтой краской. Но по особому, характерному запаху легко было отличить этот зал от любого деревенского кафе. Здесь пахло конюшней, дегтем, керосином и машинным маслом.

На двери справа висел звоночек, а на стеклах окон были наклеены рекламы. Там навалом лежали дождевые плащи, сабо, холщовая одежда, мешки с картошкой, бочонки с растительным маслом, ящики с сахаром, горохом, фасолью и овощами вперемежку с фаянсовой посудой. Но в лавке не было ни одного покупателя.

В конюшне стояла только одна лошадь, ее хозяин запрягал, когда собирался ехать на рынок. Лошадь была приручена, как верный пес. Ее не привязывали, и она время от времени свободно разгуливала по двору среди кур.

Все вокруг было влажное от дождя. Это создавало соответствующий фон. Промокшие прохожие шли ссутулясь.

В ста метрах отсюда маленький грузовой поезд двигался по верфи, а его машинист пристроил в конце миниатюрного локомотива зонтик, под которым он сидел, дрожа от холода и втянув голову в плечи.

Одна из баржей отошла от берега, ее багром тащили к шлюзу, а оттуда уже выходила другая баржа.

Как эта женщина попала сюда? Этот вопрос с удивлением задавали себе и представители полиции Эперне, и прокуратура, и судебные медики, и технические работники из оперативной бригады. Над этим вопросом ломал голову и Мегрэ.

Женщина была задушена, это не вызывало сомнения. Смерть наступила в воскресенье вечером, вероятнее всего — около половины одиннадцатого.

А труп был обнаружен в конюшне утром в понедельник.

Возле шлюза нет ни одной дороги. Человеку, не связанному с навигацией, здесь делать нечего. Дорога для конной тяги слишком узка, чтобы по ней мог проехать автомобиль. А тому, кто решился бы идти пешком, в эту ночь пришлось бы месить грязь и утопать по колено в лужах.

Эта женщина, судя по всему, принадлежала к разряду людей, которые редко ходят пешком и чаще разъезжают в роскошных машинах или спальнях вагонах.

На ней были кремовое шелковое платье и белые замшевые туфли, пригодные скорее для пляжа, чем для города. На платье не было ни пятнышка грязи.

В ушах у нее были серьги с настоящими жемчужинами, стоившие не менее пятнадцати тысяч франков. На браслете из золота и платины выгравировано имя ювелира с Вандомской площади.

Волосы были темные, волнистые, коротко подстриженные на висках и на затылке. Ногти красиво подпилены и покрыты лаком.

— Женщине лет тридцать восемь — сорок! — заключил судебный медик после осмотра.

Это была, несомненно, блестящая женщина.

Полицейские из Эперне, Реймса и Парижа с самого утра тщетно пытались установить личность потерпевшей.

А дождь лил не переставая над этим и без того унылым пейзажем. Слева и справа по горизонту высились меловые горы, а виноградники напоминали мрачные деревянные кресты на военном кладбище.

Смотритель шлюза, которого без труда узнаешь по фуражке с серебряными галунами, с озабоченным видом ходил вокруг своего водоема, где вода начинала бурлить всякий раз, как он открывал подъемные затворы шлюза. Пока судно, зайдя в шлюз, поднималось или опускалось, он каждому речнику рассказывал о том, что здесь произошло.

Иногда хозяину судна и коновод, получив положенные подписи на официальных бумагах, направлялись в кафе «Флотское», чтобы выпить там рюмку рома или стакан белого вина.

А смотритель шлюза непременно указывал легким движением головы на, казалось, растерянного Мегрэ.

На самом деле так оно и было. Мегрэ действительно был растерян. Дело представлялось совсем не обычным. Невозможно допросить ни одного свидетеля, потому что местная прокуратура, предварительно допросив смотрителя шлюза, не перекрыла пути. Оба коновода уехали последними около полудня. Каждый из них сопровождал «панаму».

Поскольку расстояние между шлюзами не превышает трех-четырех километров и между ними существует телефонная связь, в любую минуту можно было узнать местонахождение любого судна и преградить ему путь. Более того, комиссар полиции Эперне допросил всех, но из протоколов его допросов ничего нельзя было заключить, кроме того, что действительным стало невероятное.

Всех, кого накануне можно было видеть в кафе «Флотское», знал либо хозяин, либо смотритель шлюза, а чаще всего — знали оба.

Коноводы не реже чем раз в неделю ночевали в той самой конюшне, и всегда в состоянии, близком к опьянению.

«Понимаете, возле каждого шлюза они выпивают рюмочку... Почти все смотрители шлюзов продают вино», — объяснил хозяин конюшни.

Наливное судно «Эко-III», прибывшее в воскресенье днем и ушедшее в понедельник утром, перевозило бензин и принадлежало крупной компании В Гавре. Что до баржи «Провидение», капитан которой был одновременно и ее хозяином, то она проходила здесь не менее двадцати раз в год, неизменно с двумя лошадьми и старым коноводом. То же самое можно сказать и о других баржах!

Мегрэ насупился. Он то и дело заходил в конюшню, потом в кафе или в лавку.

Видели, как он шел до каменного моста — сосредоточенно, будто считает шаги или ищет что-то оброненное. Раз десять присутствовал он при прохождении баржей через шлюз.

Все ждали его мнения, но, в сущности, он пока не составил себе никакого мнения. Впрочем, он пока и не спешил составить мнение. Он хотел понять жизнь канала, так не похожую на все, что он знал до сих пор.

Он проверил, сможет ли он одолжить велосипед, если ему понадобится добраться до той или иной баржи.

Смотритель шлюза вручил ему «Официальный справочник для плавания по внутренним путям». Судя по нему, никому не известные места, вроде Дизы, по топографическим причинам — из-за слияния рек, пересечения путей, наличия поблизости какого-нибудь порта, подъемного крана или, например, «Бюро по проверке судовых документов» — неожиданно приобретают важное значение.

Он пытался мысленно проследить за баржами и коноводами.

Эйл — Речная пристань — Шлюз № 13.

Марей-сюр-Аи — судоверфь — речная пристань — Поворотный бассейн — Шлюз № 12 — Береговая полоса 74,36...

Биссей — Тур-сюр-Марн. Кондэ, Эньи...

Оказаться в конюшне, с жемчужинами в ушах, с таким стильным браслетом, в туфлях из белой замши, по другую сторону плоскогорья Лангр, на которую баржи взбирались, проходя через ряд шлюзов, и спускались с противоположной стороны Сона-Шалон-Макон-Лион! Что здесь понадобилось этой женщине?

Она, конечно, попала сюда еще живой, раз преступление совершилось после десяти часов вечера. Но как? Зачем? И никто ничего не слышал! Она не кричала, иначе коноводы проснулись бы.

Если бы не потерянный кнут, ее могли бы найти неделю, две недели или месяц спустя.

Лил холодный дождь, в воздухе ощущалось что-то тяжелое, неумолимое. А ритм жизни был здесь замедленный.

Вдоль прибрежной дороги тащились люди в сапогах или сабо. Мокрые лошади покорно ждали, пока баржа пройдет через шлюз и они смогут пуститься в путь.

Наступил вечер. Как и накануне, баржи, идущие вверх по течению, пришвартовались на ночь, а продрогшие речники группами направились в кафе.

Мегрэ поднялся взглянуть на комнату, которую ему только что приготовили, — рядом с комнатой хозяина. Пробыл он там минут десять — сменил обувь и почистил трубку. А когда спускался вниз, увидел: вдоль берега медленно проплыла яхта, управляемая матросом в дождевике. Он управлял яхтой один, без чьей-либо помощи. Яхта немного подалась назад и остановилась между двумя кнехтами.

Вскоре из каюты вышли двое мужчин, со скучающим видом огляделись и направились в кафе «Флотское». Они были во фланелевых рубашках с большими вырезами на груди и в белых брюках и выглядели несколько странно и непривычно.

Речники разглядывали вновь прибывших, но их это нисколько не смущало. Напротив! Казалось, они привыкли к подобному вниманию.

Один из них, высокий, толстый, седеющий, с кирпично-красным лицом, мутным взглядом окидывал людей и предметы, словно смотрел и не видел.

Он развалился на соломенном стуле, другой стул подвинул себе под ноги и шелкнул пальцами, — так он позвал хозяина.

Его спутник, молодой человек лет двадцати пяти, говорил с ним по-английски с небрежностью и почти снобизмом.

Он спросил у хозяина по-французски без акцента:

— Есть у вас натуральное шампанское?

— Есть!

— Принесите бутылку!

Они курили турецкие сигареты.

Разговоры речников, на минуту прекратившиеся, возобновились.

Едва успел хозяин принести бутылку шампанского, в кафе вошел матрос. На нем были тоже белые брюки и полосатая тельняшка.

— Подходи, Владимир!

Толстый зевнул, явно скучая. Он осушил свой бокал с гримасой, свидетельствующей о том, что вино ему не по вкусу.

— Еще бутылку! — шепнул он своему молодому спутнику.

А тот, видимо привыкший передавать приказания, повторил погромче:

— Еще бутылку!

Мегрэ вышел из своего угла, где сидел за столиком и пил пиво.

— Простите, господа... Могу я позволить себе задать вам вопрос?

Старший указал на своего спутника жестом, означавшим: «Обращайтесь к нему!»

В его жесте не было ни удивления, ни интереса. Матрос налил себе бокал.



— Вы пришли сюда по Марне?

— Ну, конечно, по Марне!

— Где вы швартовались в прошлую ночь?

Толстый повернул голову к своему другу и сказал ему по-английски:

— Скажи ему, что это его не касается.

Мегрэ сделал вид, что не понял, и, не сказав больше ни слова, вынул из бумажника фотографию и положил ее на стол.

Речники, сидевшие за столиками и стоявшие у прилавка, наблюдали за происходившим.

Яхтсмен лишь слегка повернул голову, чтобы посмотреть на фото. Потом окинул взглядом Мегрэ и со вздохом спросил:

— Полиция?

Говорил он усталым голосом и с сильным английским акцентом.

— Уголовная полиция! В прошлую ночь здесь было совершено преступление. Личность потерпевшей не установлена.

— Где она находится? — спросил молодой, вставая и указывая на фото.

— В морге... В Эперне... Вы ее знаете?

Лицо толстяка было непроницаемо. Однако Мегрэ заметил, что его апоплексическая шея стала лиловой. Он взял свою белую фуражку, натянул на лысеющую голову и ворчливым голосом произнес по-английски, повернувшись к своему спутнику:

— Опять осложнения!

Потом, непринужденно затянувшись сигаретой, объявил:

— Это моя жена!

Воцарилась тишина, словно вся жизнь остановилась. Стало слышно, как дождь барабанит по стеклам окон и скрипят лебедки шлюза.

— Вы заплатите, Вилли.

Англичанин накинул на плечи свой дождевик и проворчал, обращаясь к Мегрэ:

— Пройдемте на яхту.

Матрос, которого он назвал Владимиром, допил бутылку шампанского и вышел вместе с Вилли.

Первый, кого увидел комиссар, поднявшись на борт яхты, была женщина в халате, босая, с растрепанными волосами. Она спала на диване, обитом гранатовым бархатом.

Англичанин тронул ее за плечо и флегматично, весьма нелюбезным тоном приказал:

— Уходи-ка на палубу!

Он окинул взглядом стол, где стояла бутылка виски, полдюжины грязных рюмок и пепельница, наполненная окурками.

Потом он машинально налил себе рюмку и толкнул бутылку в сторону Мегрэ. Это означало: «Если желаете...»

Совсем близко прошла баржа. В пятидесяти метрах от яхты коновод оставил своих лошадей. Слышалось позвякивание бубенцов.

Глава вторая

Хозяева яхты «Южный крест»

На набережной Орфевр ходили легенды о невозмутимости комиссара Мегрэ. Однако же на этот раз спокойствие англичанина выводило его из терпения. Казалось, что спокойствие было девизом яхты. Начиная от матроса Владимира и кончая женщиной, которую только что

так грубо разбудил хозяин, каждый здесь казался равнодушным или отупевшим, как после страшной попойки.

Вот, например, одна подробность из многих. Встав с дивана и ища пачку сигарет, женщина заметила на столе фотографию, которая за короткий переход от кафе «Флотское» до яхты успела вымокнуть.

— Мэри? — спросила она, слегка вздрогнув.

— Мэри!

На этом все кончилось. Она тут же вышла в дверь, которая вела в носовую часть яхты.

Вилли поднялся на палубу и склонился над люком. Салон был крошечный, переборки из полированного красного дерева тонкие, и с носовой части, вероятно, все было слышно, потому что владелец яхты, нахмутив брови, посмотрел в ту сторону и сказал:

— Ну, что ж, входите, Вилли.

И, повернувшись к Мегрэ, резким голосом представился:

— Уолтер Лэмпсон, полковник Индийской армии в отставке!

Представляясь, он сухо поклонился и указал комиссару на банкетку.

— А мсье? — спросил комиссар, повернувшись в сторону Вилли.

— Мой друг Вилли Марко.

— Испанец?

Полковник пожал плечами. Мегрэ всматривался в лицо молодого человека явно восточного типа.

— Грек по отцу, венгр по материнской линии.

— Я вынужден задать вам ряд вопросов, сэр Уолтер Лэмпсон. — сказал Мегрэ.

Вилли с развязным видом сидел на спинке стула и, покачиваясь, курил сигарету.

— Я слушаю вас.

Но в тот момент, когда Мегрэ собрался что-то сказать, хозяин яхты произнес:

— Кто же это сделал? Вам известно? — Он указал на фотографию.

— Пока нет. Но вы можете помочь расследованию, если проинформируете меня кое о чем.

— Вербка? — снова спросил полковник, коснувшись рукой своей шеи.

— Нет! Убийца действовал руками. Когда вы видели миссис Лэмпсон в последний раз?

— Вилли...

Вилли, очевидно, был не последним человеком в жизни полковника. Он заказывал напитки и отвечал на вопросы, заданные полковнику. Он знал все.

— В Мо, в четверг вечером, — сказал он.

— И вы не сообщили об ее исчезновении в полицию?

Сэр Лэмпсон налил себе виски.

— Она была вольна делать, что ей хотелось. Не так ли, Вилли?

Вилли кивнул.

— И часто она исчезала таким образом?

— Иногда.

Дождь барабанил над их головами. Сумерки уступили место ночи, и Вилли зажег электричество.

— Аккумуляторы заряжены? — спросил у него полковник по-английски. — А то еще получится как в тот раз.

Мегрэ старался уточнить многое, но ему все время мешали как-то новые впечатления. Он невольно присматривался ко всему, думая одновременно обо всем, и от этого голова его была переполнена какими-то неясными мыслями.

Он был не столько возмущен, сколько стыдился за этого человека, который в кафе «Флотское», бросив взгляд на фото, заявил, даже не вздрогнув: «Это моя жена...»

Потом представлял себе незнакомку в халате, так спокойно спросившую: «Мэри?..»

А теперь еще этот Вилли Марко раскачивается с сигаретой во рту, а полковник тревожится из-за аккумулятора.

В своем кабинете он чувствовал бы себя уверенней. Здесь же он начал с того, что снял без приглашения пальто, потом взял со стола фотографию, мрачную, как все снимки такого рода.

— Вы живете во Франции?

— Во Франции, в Англии, иногда в Италии. Я путешествую на своей яхте «Южный крест».

— Вы сейчас прибыли из...

— Из Парижа, — ответил Вилли, которому полковник знаком велел отвечать. — Мы пробыли там две недели, а до этого — месяц в Лондоне.

— Вы жили на борту?

— Нет! Мы яхту оставили в Отейе, а остановились в гостинице «Распай». Это на Монпарнасе.

— Полковник, его жена, вы и особа, которую я видел сейчас?

— Да! Эта дама — вдова чилийского депутата. Мадам Негретти.

Сэр Лэмписон раздраженно вздохнул и снова перешел на английский:

— Объясните ему побыстрее, иначе он просидит здесь до завтрашнего утра.

Мегрэ даже бровью не повел, только теперь его вопросы стали звучать чуть-чуть грубее.

— Мадам Негретти вам не родственница? — спросил он у Вилли.

— Нет, что вы!

— Значит, она вам совсем чужая — и вам и полковнику. Не угод ли вам будет объяснить, как расположены каюты?

Сэр Лэмписон отпил глоток виски, кашлянул и зажег сигарету.

— В носовой части есть каюта для экипажа, там ночует Владимир. Это бывший русский гардемарин.

— У вас есть еще матрос? Или слуга?

— Нет. Со всем справляется Владимир.

— А дальше?

— Между каютой для экипажа и этим салоном — направо дверь в кухню, налево — в туалет.

— Значит, вы все четверо ночевали в этой каюте?

— Не удивляйтесь. Здесь четыре спальных места. Видите эти две банкетки... Их можно превратить в диваны. А потом... — Вилли подошел к переборке, вытянул что-то похожее на ящик, там оказалась постель.

— По одной с каждой стороны... Видите?

Мегрэ и в самом деле начал видеть яснее и понял, что скоро ему откроются все тайны этого странного мира.

Глаза у полковника были мутные и влажные. Казалось, его совсем не интересовал этот разговор.

— Что произошло в Мо? И прежде всего, когда вы туда прибыли?

— В Мо мы прибыли в среду вечером, прихватили там двух приятельниц с Монпарнаса.. Погода была прекрасная... Мы слушали музыку, танцевали на палубе... Около четырех часов утра я проводил наших приятельниц в отель, а наутро они должны были уехать в Париж поездом.

— Где пришвартовался «Южный крест»?

— Возле шлюза.

— Что было в четверг?

— Мы проснулись поздно, нас разбудил подъемный кран, который грузил камни на баржу, совсем рядом с нами. Мы с полковником выпили аперитив... Затем, после двенадцати... Минутку... Сейчас вспомню... Полковник спал... Я играл в шахматы с Глорией... Глория — это мадам Негретти. Да... Мне помнится, что Мэри пошла прогуляться.

— Она больше не возвращалась?

— Как же! Она обедала здесь, на борту. Полковник предложил провести вечер в дансинге, но Мэри отказалась. Мы вернулись около трех часов ночи, ее здесь уже не было.

— И вы не стали ее искать?

Сэр Лэмпсон барабанил кончиками пальцев по полированному столу.

— Ведь полковник уже сказал вам, что его жена вольна была уходить и приходить, когда ей заблагорассудится. Мы ждали ее до субботы, а потом пошли дальше. Ей был известен маршрут, и она знала, где сможет догнать нас.

— Вы отправились на Средиземное море?

— Да, на остров Поркероль, где мы проводим большую часть года. Полковник купил там бывший форт — «Маленький лангуст».

— А в пятницу в течение дня все оставались на борту?

Вилли, поколебавшись, ответил живо:

— Я ездил в Париж.

— Зачем?

Он засмеялся, губы его как-то неестественно скривились.

— Я говорил вам о наших двух приятельницах... Мне захотелось их повидать. Во всяком случае, одну из них. Славная бабенка.

— Можете ли вы назвать их фамилии?

— Могу назвать имена... Сюзи и Лия... Они каждый вечер бывают в «Куполе». Живут в отеле на углу улицы Гранд Шомьер.

Дверь открылась. Вошла мадам Негретти в зеленом шелковом платье.

Полковник к этому времени уже выпил третий бокал виски.

— Вилли, спросите относительно формальностей.

Мегрэ понял без переводчика. Его начинала раздражать эта дерзкая и небрежная манера беседовать.

— Само собой разумеется, вы прежде всего должны опознать групп... После вскрытия вы, конечно, получите разрешение на похороны...

— Можно ехать сейчас? Здесь есть гараж, чтобы нанять машину?

— Только в Эперне.

— Вилли, позвоните и закажите машину... Сейчас же!

— Телефон есть в кафе «Флотское», — заметил Мегрэ, пока молодой человек с явной неохотой надевал дождевик.

— Где Владимир?

— Я сейчас слышал, как он вернулся.

— Скажите ему, что мы будем обедать в Эперне.

Мадам Негретти, полная, с черными блестящими волосами и светлой кожей, сидела в углу и, подперев рукой подбородок, с отсутствующим видом слушала разговор.

Мегрэ и так был раздражен, а следующий вопрос полковника привел его в негодование.

— Как вы думаете, сколько дней потребуется на все это? — спросил Лэмпсон.

Комиссар злобно отозвался:

— Вы имеете в виду похороны?

— Трех дней достаточно?

— Если судебные медики дадут разрешение на похороны, а сле-

дователь не будет возражать, думаю, что вы сможете все это проверить за двадцать четыре часа.

Почувствовал ли полковник горькую иронию в этих словах?

А Мегрэ вдруг захотелось еще раз внимательно рассмотреть фото.

— Выпьете чего-нибудь?

— Нет, спасибо.

— Ну, тогда... — Сэр Уолтер Лэмпсон поднялся, давая этим понять, что он считает разговор оконченным, и крикнул: — Владимир! Костюм!

— Я, конечно, сожалею, но мне придется задать вам еще кое-какие вопросы, — сказал спокойно комиссар. — Быть может даже тщательно осмотреть яхту.

— Ну, это уже завтра. А сейчас — в Эперне. Сколько времени придется ждать машину?

— А я останусь здесь одна? — испугалась мадам Негретти.

— С Владимиром... А можете ехать с нами.

— Я не одета.

В каюту ворвался Вилли, на ходу снимая мокрый дождевик.

— Машина будет здесь через десять минут.

— Итак, комиссар... — полковник указал на дверь, — нам надо одеться.

Мегрэ был взбешен, он охотно разбил бы сейчас кому-нибудь физиономию. Уходя, он услышал, как за ним захлопнулся люк.

Снаружи виден был лишь свет восьми иллюминаторов и сигнального фонаря, прикрепленного к мачте. Метрах в десяти вырисовывалась широкая кормовая часть какой-то баржи, а слева на берегу — большая куча каменного угля.

Может быть это только казалось Мегрэ, что дождь лил с удвоенной, утроенной силой и что никогда он еще не видел такого черного неба и так низко нависших облаков.

Он направился в кафе «Флотское». Голоса там разом смолкли, как только он вошел в зал. Речники сидели вокруг чугунной печки. Смотритель шлюза пристроился у стойки возле дочки хозяина кафе, высокой рыжей девицы в сабо.

На столиках, покрытых клеенкой, в беспорядке стояли бутылки и рюмки.

— Это действительно его жена?

— Да! Пива мне, пожалуйста! Впрочем, нет! Чего-нибудь горяченького! Грога выпил бы я.

Речники мало-помалу разговорились. Служанка принесла стакан с горячим грогом и при этом слегка задела плечо Мегрэ своим бюстом.

Мегрэ мысленно побывал на шлюзе в Мо. Он, так же как шлюз в Дизи, соединяет Марну и канал в том месте, где расположен порт, всегда забитый тесно стоящими баржами.

Представилось, как там, среди баржей, сияя огнями, стоит яхта «Южный крест», а на ней две девицы с Монпарнаса, тучная Глория Негретти, мадам Лэмпсон, Вилли и полковник танцуют на палубе под звуки патефона и пьют вино...

В углу кафе «Флотское» двое мужчин в синих блузах ели колбасу и запивали красным вином.

Кто-то рассказывал о несчастном случае, произошедшем утром у «свода» — так называлось место, где канал, пересекая самую высокую часть плоскогорья Лангр, уходит под землю и течет там на протяжении восьми километров. Какой-то речник запутался в веревке, которую тащат за собой лошади. Он кричал, но коновод не услышал, и когда кони двинулись в путь, речник упал в воду. В тоннеле не было света. На судне горел только сигнальный фонарь, и на воде мерцали едва заметные блики.

Брат речника прыгнул в воду — баржа называлась «Два брата». Нашли только одного, но он был уже мертв. Другого еще ищут.

— Лишь через два года они погасили бы долг за судно, но теперь, кажется, согласно договору, их жены не будут платить.

В зал вошел шофер в кожаной фуражке, он искал кого-то глазами.

— Кто заказывал машину?

— Я! — сказал Мегрэ.

— Мне пришлось оставить ее на мосту... У меня нет желания свалиться в канал...

— Вы будете обедать здесь? — спросил хозяин у комиссара.

— Пока не знаю.

Он вышел вместе с шофером. Яхта «Южный Крест», выкрашенная в белый цвет, выделялась молочным пятном, и двое мальчишек с соседней баржи, несмотря на ливень, с восхищением разглядывали ее.

— Жозеф! — раздался женский голос. — Приведи-ка брата сюда! Сейчас тебе попадет!

— «Южный Крест», — прочел шофер на носу яхты. — Это, что, англичане?

Мегрэ прошел по сходням и постучал. Дверь открыл Вилли, уже готовый к поездке, очень элегантный в темном костюме. Полковник с багровым лицом сидел еще без пиджака, а Глория Негретти завязывала ему галстук.

В каюте пахло одеколоном и бриллиантом.

— Машина подъехала? — спросил Вилли. — Она здесь?

— На мосту, в двух километрах отсюда.

Мегрэ в каюту не вошел. До него доносились обрывки английской речи — это полковник о чем-то спорил с молодым человеком.

Наконец Вилли вышел и сказал:

— Он не хочет шлепать по грязи... Владимир спустит сейчас шлюпку... Мы подойдем к вам туда.

— Ну и ну! — проворчал шофер.

Через десять минут он и Мегрэ уже ходили взад и вперед по каменному мосту возле машины с притушенными фарами. Прошло около получаса, прежде чем послышалось урчание маленького двухтактного мотора.

Раздался голос Вилли:

— Вы здесь? Комиссар?

— Да, здесь!

Лодка со съёмным мотором описала круг и причалила. Владимир помог полковнику сойти на берег и условился о встрече.

В машине сэр Лэмпсон не произнес ни слова. Несмотря на свою тучность, он был удивительно элегантен. Очень ухоженный, флегматичный — настоящий английский джентльмен, какими их изображали на гравюрах прошлого века.

Вилли Марко курил сигарету за сигаретой.

— Ну и колымага! — вздыхал он на каждом ухабе.

Мегрэ заметил, что у него на пальце платиновый перстень с огромным бриллиантом.

Когда въехали в город на сверкающие улицы, шофер спросил:

— Куда едем?

— В морг, — ответил комиссар.

Все произошло очень быстро. Полковник почти не раскрывал рта. Все двери были уже заперты. Послышался скрип замков. Пришлось зажечь свет.

Мегрэ подошел первый и откинул простыню.

— Yes!

Вилли был взволнован, казалось, сильнее всех.

— Вы ее узнаете?

— Конечно, это она.

Он не закончил фразы, он заметно побледнел. Губы у него вдруг высохли. Если бы комиссар тут же не вывел его на воздух, ему, конечно, стало бы плохо.

— Вы не знаете, кто это сделал? — спросил полковник.

Лишь теперь комиссар уловил тревогу в его голосе. А может быть, причиной тому были бесчисленные бокалы виски?

Они стояли на тротуаре в скудном свете единственного фонаря.

— Вы пообедаете с нами? — спросил сэр Лэмпсон у Мегрэ, даже не повернувшись в его сторону.

— Спасибо... Раз уже я здесь, я лучше займусь делами.

Полковник поклонился и не стал настаивать.

— Пойдемте, Вилли, — сказал он.

Мегрэ постоял еще минуту на пороге, а молодой человек, посоветовавшись с полковником, наклонился к шоферу. Он решил узнать, какой ресторан в городе считается лучшим.

Глава третья

Ожерелье Мэри

Мегрэ очень устал за день, но долго не мог уснуть. Разные картины представлялись ему будто бы в полусне.

Вот он смотрит через освещенные окна «Бекасса», лучшего в Эперне ресторана, и видит, как чинно восседают за столом полковник и Вилли, окруженные респектабельными метрдотелями.

А ведь менее получаса прошло после их визита в морг. Сэр Уолтер Лэмпсон держался несколько натянуто, и его кирпично-красное лицо, окаймленное редкими седыми волосами, было до невероятности бесстрастно.

Рядом с ним, таким элегантным, а точнее говоря, породистым, манеры Вилли, хоть и держался он свободно, казались плебейскими.

Мегрэ пообедал на ходу, связался по телефону с префектурой и полицией Мо.

Потом прошел всю длинную ленту дороги пешком в одиночестве. Он видел освещенные иллюминаторы яхты «Южный Крест». Из любопытства решил зайти туда под тем предлогом, что забыл трубку.

В облицованной красным деревом каюте Владимир, по-прежнему в полосатой тельняшке и с сигаретой в зубах, сидел напротив мадам Негретти.

Они играли в карты. Произошло замешательство, но лишь на мгновение.

Владимир тут же поднялся и пошел за трубкой, а Глория Негретти заискивающе спросила:

— Это и в самом деле Мэри!?

...Когда постучали в дверь, в окно комнаты уже проникал скудный свет утренней зари.

Ночью Мегрэ спал беспокойно, ему мешали конский топот, какие-то неясные крики, шаги на лестнице, звон стаканов внизу. А сейчас он почувствовал запах кофе и горячего грога. Страшно захотелось выпить чашечку кофе.

— Что случилось?

— Это Люка! Можно войти?

Инспектор Люка, почти всегда работавший вместе с комиссаром Мегрэ, толкнул дверь и пожал влажную руку шефа.

— У вас уже есть что-нибудь? Не очень устали, старина?

— Не очень, шеф! Сразу же после вашего звонка я отправился в указанный вами отель, он на углу улицы Гранд-Шомьер. Малюток там не оказалось. На всякий случай я записал их имена. Сюзанна Вердье, по кличке Сюззи, родилась в Онфлчре, Лия Лаувенштейн родилась в герцогстве Люксембург. Первая приехала в Париж четыре года назад и сначала работала служанкой, потом некоторое время позировала художникам. Вторая жила главным образом на Лазурном берегу. Ни та ни другая — я это проверил — не фигурируют в списках полиции нравов. Но это не имеет значения.

— Скажите, старина, не могли бы вы заказать кофе?

Люка, конечно же, мог заказать кофе, и заказал.

Слышно было, как у шлюза бурлила вода и какой-то дизель замедлял ход. Мегрэ встал с постели и подошел к умывальнику.

Ну, и что дальше?

— Я пошел в «Купол», как вы мне сказали. Девиц там тоже не было, но все официанты их знали. Они послали меня в «Динго», потом в «Аист». Наконец я нашел их в маленьком американском баре, название которого я забыл, на улице Вавен. Они были одни и держались не очень-то уверенно. Лия в самом деле недурна собой. У нее свой стиль. Сюззи — славная, добродушная блондиночка. Если бы она жила в провинции, то могла бы стать прекрасной матерью семейства.

— Вы не видите полотенца? — спросил Мегрэ. Он зажмурился, по лицу его струилась вода. — Кстати, дождь идет по-прежнему?

— Когда я приехал, дожда не было. Но он может пойти с минуты на минуту. В шесть часов утра стоял такой туман, что дышать было невозможно. Итак, я предложил девицам выпить. Они тут же попросили сэндвичей, что меня сначала не удивило. Но потом я заметил на шее у Лии Лаувенштейн жемчужное ожерелье... Прикинул, на сто тысяч франков потянет. И вот, когда подобные дамочки предпочитают сэндвичи и шоколад коктейлям...

Мегрэ, раскуривавший свою первую трубку, пошел открыть дверь девушке, которая принесла кофе. Потом поглядел в окно на яхту, где еще не было признаков жизни. Мимо «Южного Креста» прошла баржа. Речник, прислонившись спиной к рулевому колесу, разглядывал своего соседа с восхищением и завистью.

— Ну, дальше... я слушаю.

— Я отвел их в спокойное кафе. Там я показал им свою полицейскую медаль, потом посмотрел на ожерелье и спросил: «Жемчуг Мэри Лэмпсон, не так ли?» Мои дамы, наверное, не знали, что ее нет в живых. Во всяком случае, если и знали, то отлично сыграли роль. Несколько минут они молчали. Потом Сюззи посоветовала подруге: «Скажи правду, раз он уже так много знает!» И это, оказалось, интересная история... Помочь вам, патрон?

Это Мегрэ старался поймать подтяжки, которые висели у него на бедрах.

— Сначала основное: обе они поклялись, что Мэри Лэмпсон сама отдала им жемчужное ожерелье в прошлую пятницу, в Париже, куда приехала повидать их. Вам должно быть все это понятнее, чем мне. Ведь я знаю о деле только то, что вы сказали мне по телефону. Я спросил, не приезжала ли мадам Лэмпсон в сопровождении Вилли Марко. Они заверили меня, что не видели Вилли с четверга, когда уехали из Мо.

Спокойнее! — прервал его Мегрэ, завязывая галстук перед зер-

калом, которое страшно искажало лицо. — Значит, так. В среду вечером «Южный Крест» пришел в Мо. Наши две девицы на борту. Ночь проходит весело в компании с полковником, Вилли, Мэри Лэмпсон и Глорией Негретти. Очень поздно девиц отвозят в отель, а в четверг утром они уезжают в Париж поездом... денег им дали?

— По их словам, пятьсот франков.

— Они знали полковника прежде?

— Познакомились за несколько дней до этого.

— А что происходило на борту яхты?

Люка улыбнулся.

— Англичанин ничего не признает в жизни, кроме виски и женщин... Мадам Негретти его любовница...

— А жена об этом знала?

— Черт возьми! Она сама была любовницей Вилли. Но это не помешало им привезти на яхту девиц. Понимаете? На рассвете они поспорили. Лия Лаувенштейн возмущалась, говорила, что пятьсот франков — жалкая подачка. Сам полковник не ввязывался в спор, предоставив это Вилли. Все были пьяны...

Мегрэ стоял у окна и смотрел на черную ленту канала.

Небо было серое, с нависшими темными облаками, но дождь еще не пошел.

— И что дальше?

В общем, это все. В пятницу Мэри Лэмпсон, кажется, приезжала в Париж и встретила в «Куполе» с нашими двумя девицами. Она отдала им свое ожерелье.

— Вот как!? Ничего себе подарок!

— Она поручила им продать ожерелье и оставить ей половину суммы. Сказала, что ее муж не дает ей денег.

Мегрэ видел, как в кафе торопливо зашел смотритель шлюза в сопровождении какого-то речника и коновода. Они выпили у стойки по рюмке рома.

— Это все, что мне удалось из них вытянуть! — закончил Люка. — Я расстался с ними в два часа ночи, поручив инспектору Дюфуру следить за ними. Потом, согласно инструкциям, пошел в префектуру навести справки по картотеке. Я нашел карточку Вилли Марко, высланного четыре года назад из Монако за не слишком честную игру. Его в прошлом году в Ницце задержали из-за жалобы какой-то американки, у которой пропали драгоценности. Но потом жалобу, неизвестно по какой причине, взяли обратно, а Марко оставили на свободе. Вы думаете, и сейчас он имеет отношение?

— Я этого не думаю. Могу поклясться, что говорю с вами искренне. Не забывайте, что преступление совершено в воскресенье, после десяти часов вечера, когда «Южный крест» стоял на причале у Ла-ферте-су-Жуарр. Так как же я могу об этом думать?

— А что вы скажете о полковнике?

Мегрэ пожал плечами и указал на Владимира, который только что выскочил из переднего люка и направился к кафе «Флотское» в своих неизменных белых брюках, свитере, туфлях на веревочной подошве и надвинутом на ухо американском берете.

— Мсье Мегрэ просят к телефону, — крикнула подошедшая к двери рыжая девица.

— Спуститесь вместе со мной, старина! — попросил Мегрэ.

Аппарат находился в коридоре, рядом с вешалкой.

— Алло! Это Мо? Что вы говорите? Да, «Провидение». Ее грузили весь день, в четверг, в Мо? Отосла в пятницу, в три часа ночи? Больше никаких «Эко-111» — это баржа-цистерна, не так ли? В пятницу вечером в Мо? Отправилась дальше в субботу утром. Благодарю вас, комиссар. Да, допросите на всякий случай. Да, по прежнему адресу.

Люка слушал разговор, не понимая его смысла. Не успел Мегрэ открыть рот, чтобы объяснить, как в дверях показался приехавший на велосипеде полицейский.

— Сообщение из отдела Судебной Экспертизы! Срочно!

Сапоги и брюки полицейского были в грязи.

— Пойдите немного просушитесь и выпейте за мое здоровье грога, — посоветовал Мегрэ.

Он распечатал конверт и прочел вполголоса.

«Отчет о первой экспертизе, осуществленной по делу в Дизи. В волосах потерпевшей обнаружены следы смолы и рыжий конский волос.

Пятна на платье — керосиновые.

Желудок содержит красное вино и консервированную говядину, что продается в лавках под названием „Corned beef“.¹

— Ничего себе — улики! Восемь лошадей из каждого десятка — рыжей масти, — вздохнул Мегрэ.

Владимир вошел в кафе и справился, где поблизости можно купить какой-нибудь еды. Ему давали советы одновременно трое, включая полицейского, прибывшего на велосипеде из Эперне.

А Мегрэ вместе с Люкой пошли к конюшне, где со вчерашнего вечера, кроме серого коня, принадлежавшего хозяину, стояла еще только больная кобыла, которую собирались забить.

— Здесь она не могла запачкаться в смоле, — заметил комиссар.

Он дважды прошел расстояние от канала до конюшни.

— Вы продаете смолу? — спросил он у хозяина кафе, который вез тачку с картофелем.

— Это не совсем смола... Мы называем это норвежским дегтем. Им покрывают деревянные баржи выше ватерлинии. Для нижней части используют газовый деготь, он значительно дешевле.

— У вас он есть?

— В лавке всегда имеется в запасе десятка два бидонов. Но он не продается. Речники будут красить свои баржи, когда появится солнце.

— А «Эко-111» — деревянная баржа?

— Железная, как большинство моторных судов.

— А «Провидение»?

— Из дерева. Вы уже что-нибудь выяснили?

Мегрэ не ответил.

— А знаете, что они говорят? — продолжал хозяин кафе, бросив свою тачку.

— Кто это — о ни?

— Люди с канала, речники, лоцманы, смотрители шлюзов. Они считают, что машина едва ли могла бы проехать по конной дороге. Ну, а мотоцикл? Мотоцикл мог проехать, оставив не намного больше следов, чем велосипед.

На «Южном кресте» открылась дверь из каюты, но никто не вышел.

Мегрэ и Люка молча ходили вдоль канала.

Не прошло и пяти минут, как подул сильный ветер, а еще через минуту начался ливень.

Мегрэ протянул руку. Люка понял шефа, вынул из кармана пачку табака и подал ему.

Они остановились перед шлюзом, который готовили к работе, так как вдалеке три раза просвистел пока еще не видимый буксир, а это означало, что он тянет за собой три судна.

¹ Corned beef — солонина (англ.)

— Как вы думаете, где в данное время может находиться баржа «Провидение»? — спросил Мегрэ у смотрителя шлюза.

— Минутку! Марей... Кондэ... Близ Эньи друг за другом идут десять баржей, они ее задержат. У шлюза Вро сейчас работают только два подъемных затвора... Пожалуй, они теперь должны быть в Сен-Мартене.

— Это далеко?

— Ровно тридцать два километра.

— А «Эко-III»?

— Эта баржа должна быть сейчас в Ла-Шоссе. Но один речник сказал вчера вечером, что она сломала винт, когда проходила через шлюз двенадцать. Сами виноваты, что сломали. По правилам, запрещено грузить на баржу двести восемьдесят тонн, а они все упорно это делают. Так что вы встретите ее в Тур-сюр-Марне, это в пятнадцати километрах отсюда.

Было десять часов утра. Садясь на велосипед, Мегрэ заметил расположившегося на палубе в кресле-качалке полковника. Он просматривал принесенные почтальоном парижские газеты.

— Никаких особых поручений! — сказал он Люке. — Оставайтесь здесь и не выпускайте их из виду.

Дождь утих. Когда он был у третьего шлюза, выглянуло солнце и засверкали на тростнике капельки воды.

Время от времени Мегрэ приходилось сходить с велосипеда, чтобы обогнать лошадей, тянущих баржу. Запряженные парами, они занимали всю дорогу.

Двух коней вела девочка в красном платье с куклой в руке. Ей было лет восемь-десять.

Жилые массивы в основном располагались в некотором отдалении от канала, и прямая полоса спокойной водной глади, казалось, протянулась среди полного безлюдья. Лишь кое-где можно было увидеть склонившихся людей, холящих свои посевы.

Но чаще всего дорога шла вдоль леса. А тростник, поднимавшийся над каналом на полтора-два метра, создавал ощущение покоя и умиротворенности.

У шлюза Сен-Мартен стояло судно, но это не была баржа «Провидение».

— Они, должно быть, позавтракают в бьефе выше Шалона, — сказала жена смотрителя, переходившая от одних дверей шлюза к другим, в то время как двое малышей цеплялись за ее юбку.

Мегрэ хмурился, хотя вокруг цвела весна и воздух трепетал от солнца и тепла. И отблески на тихой воде такие яркие!

На полпути поперек канала стояла баржа. Две распряженные лошади жевали траву.

На корме баржи под тентом — стол, накрытый голубой в клеточку клеенкой. Комиссар видел, как вышла светловолосая женщина и поставила на середину стола дымящееся блюдо.

Прочитав на закругленном блестящем корпусе слово «Провидение», он сошел с велосипеда.

Продолжение следует.

● Указом Президиума Верховного Совета Узбекской ССР за большие заслуги в области художественной литературы почетное звание «Народный писатель Узбекской ССР» присвоено тов. Аймурзаеву Джолмурза Мурзаевичу — писателю.

● Известному узбекскому писателю Мирмухсину исполнилось шестьдесят лет. Этому событию был посвящен состоявшийся в Государственном академическом узбекском театре драмы имени Хамзы вечер. Поздравить юбиляра пришли деятели литературы и искусства, представители общественности Ташкента. Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Г. М. Орлов вручил Мирмухсину орден Дружбы народов, которого он удостоен за заслуги в развитии советской литературы и в связи с шестидесятилетием со дня рождения, а также удостоверение о присвоении почетного звания «Народный писатель Узбекской ССР» и соответствующий нагрудный знак.

● Секретариат правления Союза журналистов СССР подвел итоги Всесоюзного конкурса на лучшее освещение социалистического соревнования в печати, по телевидению и радио в 1980 году.

Денежными премиями и почетными грамотами Союза журналистов СССР награждены редакции газет: «Сельская жизнь», республиканских газет «Коммунист» (Армянская ССР), «Правда Востока» (Узбекская ССР), «Советская Латвия», «Соплис Цховреба» (Грузинская ССР), Государственный комитет Украин-

ской ССР по телевидению и радиовещанию, журнал «Социалистическое соревнование».

● Восьмидесятилетие со дня рождения народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Абрара Хидоятова был посвящен торжественный вечер, состоявшийся в Государственном академическом узбекском театре драмы имени Хамзы.

Выступившие на вечере деятели литературы и искусства республики говорили о том, что творчество юбиляра является образцом служения советскому театральному искусству, делу партии и народа. Коллектив театра имени Хамзы, в котором трудился А. Хидоятов, артисты других ташкентских театров подготовили специальное юбилейное представление.

● По инициативе ЮНЕСКО во Франции осуществлено издание на французском языке «Бабурнаме» — главного литературного труда средневекового узбекского писателя и мыслителя Захиреддина Мухаммеда Бабура, 500-летие со дня рождения которого по решению ЮНЕСКО будет отмечаться через два года.

«Бабурнаме» представляет собой бесценный источник для изучения политического и социально-экономического уклада, этнографии и культуры народов Средней Азии, Афганистана, Ирана и Индии эпохи Средневековья. В осуществлении перевода этого труда на французский язык, по приглашению специальной комиссии ЮНЕСКО, участ-

вовали советские, афганские и индийские ученые.

● Торжественно отметила общественность Ташкента шестидесятилетие теоретического и политического журнала ЦК Компартии Узбекистана «Узбекистон коммунисти» («Коммунист Узбекистана»). Все эти годы журнал неизменно выступал и выступает как страстный пропагандист бессмертных ленинских идей, разъясняет внутреннюю и внешнюю политику КПСС и Советского государства. Заслуги журнала в пропаганде марксизма-ленинизма, в плодотворной работе по коммунистическому воспитанию трудящихся, мобилизации их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства отмечены орденом Дружбы народов.

● 15 мая в Государственном академическом Большом театре имени Навои состоялась встреча партийного и советского актива с деятелями литературы и искусства. В ней приняли участие члены и кандидаты в члены Бюро ЦК Компартии Узбекистана.

На встрече были высказаны предложения, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности творческих коллективов республики.

Подобные встречи — «Пятницы искусств» — решено проводить регулярно.

● В Ташкенте проходило IX заседание совета по детской литературе Госкомиздата СССР. Был обсужден вопрос: детская литература и задачи патриотического и интернационального воспитания подрастающего поколения в свете решений XXVI съезда КПСС.

Литературные журналы Узбекистана

В и ю л е

Шарк юлдузи

Июльская книжка журнала открывается публикацией нового романа Ибрагима Рахима «Дарю тебе солнце». Печатаются повесть Ч. Якубова «Старый председатель», заключительные главы документального по-

вестования Г. Марьяновского «Книга судеб», рассказы Тулкина «Тетя» и У. Мухаммадиева «Мраморная плита».

В номере публикуются стихи и поэтические подборки У. Атаевой, Х. Ризо, О. Шукуровой, Г. Джураевой.

В разделе публицистики помещен очерк О. Джуманазарова «О друге моем хлопко-робе».

Среди материалов отдела критики и библиографии статья Г. Муминова «Пушкин и народное творчество», критические заметки И. Гафурова, М. Кушмакова, Б. Имамова, Н. Юлдашева, О. Сабирова.

Цветная вкладка знакомит читателей с творчеством молодых художников Узбекистана.



Проза представлена повестью Н. Кабула «Сонгзор», рассказом А. Асимова «Смель-

чак», лирическими миниатюрами М. Худайкулова.

В номере публикуются стихи Шухрата, М. Мурадовой, Т. Каххара, Э. Охуновой.

В разделе очерка и публицистики помещены очерк Ш. Сиддикова «Песнь степей» репортаж О. Хусанова «Полет».

Статьи Х. Данияра, С. Мирзы, Т. Одилбекова, Т. Кадыровой, затрагивающие различные аспекты современного литературного процесса, представлены в разделе литературной критики.

В номере — сатирическое приложение и цветная вкладка: «Натюрморт».



Саodat

Очередной номер журнала открывается передовой статьей «Дорогу инициативе».

Читатель ознакомится с подборкой стихов Х. Абдухакимовой.

Печатается продолжение повести У. Хашимова «Дела мирские», рассказ Д. Саидовой «Мамочка».

Под рубрикой «Рассказы о коммунистах» дан очерк О. Ходжиевой «Труд — источник счастья».

В разделе «Искусство» помещен репортаж Ш. Исахановой из кокандского театра музыкальной драмы.

Разнообразные материалы напечатаны под рубриками «Трибуна родителей», «Советы врача», «Хозяйке на заметку».